

**ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЦЕНТР ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ И ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**ГЕНДЕР ПО-РУССКИ: ПРЕГРАДЫ И ПРЕДЕЛЫ**

**Материалы международного семинара**

**Тверь, 10-12 сентября 2004 г.**

**ТВЕРЬ 2004**

**«ГЕНДЕР ПО-РУССКИ: ПРЕГРАДЫ И ПРЕДЕЛЫ».** Материалы международного научного семинара, организованного Финской Академией наук и Тверским государственным университетом в рамках международного и интердисциплинарного проекта “Contrasting Russian Others: Gender and Nationality in Cultural, Historical and Literary Discourses of the 20th Century“, Тверь, 10-12 сентября 2004 г.

Редакционная коллегия:

Ирина Савкина (отв. ред.), Григорий Успенский, Валентина Успенская

© ФЕМИНИСТ ПРЕСС

в Тверском государственном университете, 2004

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Савкина И.</b> «Гендер по-русски: преграды и пределы»<br>Международный семинар, организованный Финской Академией наук и Тверским<br>государственным университетом, Тверь, 10-12 сентября 2004 г..... | 5   |
| <b>Раздел 1. "Методологические и методические проблемы гендерных<br/>исследований в российском контексте"</b> .....                                                                                     | 17  |
| <b>Муравьева М.</b> Гендер, сексуальное насилие и государство: методологические<br>проблемы изучения сексуального насилия в России и на Западе.....                                                     | 17  |
| <b>Блохина Н.</b> Об исторической ограниченности «гендера».....                                                                                                                                         | 37  |
| <b>Барчунова Т.</b> Перевод и дискурсивное конституирование научного сообщества (на<br>примере гендерных исследований).....                                                                             | 49  |
| <b>Ярская-Смирнова Е., Романов П.</b> Гендер и этничность в дискурсе учебной<br>литературы по социальной работе .....                                                                                   | 75  |
| <b>Павлова Н.</b> «Terminological trouble»: литература в дискурсе феминистской критики ..                                                                                                               | 91  |
| <b>Козлова Н.</b> «Женщина является совершенно несоциальной», или опыт гендерного<br>анализа российской учебной литературы по социологии .....                                                          | 98  |
| <b>Литовская М.</b> «Жизненная опытность» против «гендерных исследований»: проблема<br>«чувствительности» аудитории.....                                                                                | 116 |
| <b>Раздел 2. "Патриотизм/национализм как гендерный проект"</b> .....                                                                                                                                    | 125 |
| <b>Вальке А.</b> Gendered war-memory – гендер и национальная память о войне .....                                                                                                                       | 125 |
| <b>Oushakine S.</b> Replacing the loss: local wars and private traumas in a Russian province...                                                                                                         | 136 |
| <b>Фролова И.</b> Национализм. культуры. гендер .....                                                                                                                                                   | 147 |
| <b>Темкина А.</b> Национальный гендерный порядок: постсоветские трансформации.....                                                                                                                      | 163 |
| <b>Кулик В.</b> «Признать за русской женщиной без различия национальности все<br>политические и гражданские права...» .....                                                                             | 187 |
| <b>Раздел 3. "Русский гендер как "герой" кино/теле экрана":</b> .....                                                                                                                                   | 199 |
| <b>Рыгина Л.</b> Гендер(ы) российского шоу-бизнеса: модели рекрутирования не-<br>нормативной сексуальности .....                                                                                        | 199 |
| <b>Сарсенов К.</b> Брачная миграция на ТВ-экране: сказка и «реалити».....                                                                                                                               | 202 |
| <b>Раздел 4. "Гендер по-русски: литературный контекст"</b> .....                                                                                                                                        | 214 |
| <b>Parnell C.</b> Дина Рубина: "высокая вода венецианцев"- женский ответ на смерть? .....                                                                                                               | 214 |
| <b>Савкина И.</b> Феминизм по-русски: случай А. Марининой .....                                                                                                                                         | 222 |

|                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Воробьева С.</b> Повесть М.С. Жуковой «Падающая звезда» в психоаналитическом аспекте .....                                                                  | 241 |
| <b>Розенхольм А.</b> Женское, животное и национальное в творчестве Светланы Василенко.....                                                                     | 247 |
| <b>Екопел К.</b> Жизнетворчество и конструирование авторской идентичности авторов-женщин русского раннего модернизма (Зинаида Гиппиус и Нина Петровская) ..... | 261 |
| <b>Белецкая Е.</b> Гендерные отношения в кавказских произведениях Л. Н. Толстого .....                                                                         | 271 |

Ирина Савкина

## **«Гендер по-русски: преграды и пределы»**

**Международный семинар, организованный Финской Академией наук и  
Тверским государственным университетом, Тверь, 10-12 сентября 2004 г.**

Если луну, как известно, делают в Гамбурге, то «гендер по-русски» – в определенном смысле сделали в Финляндии. Идея провести научный семинар «Гендер по-русски: преграды и пределы» возникла в рамках международного (Финляндия-Россия-Германия) и интердисциплинарного проекта Финской Академии наук “Contrasting Russian Others: Gender and Nationality in the Historical, Cultural and Literary Discourses of the 20th Century”. Проведение конференции должно было стать своего рода подведением «предварительных итогов» названного научного проекта.

Еще на стадии формулирования исследовательских задач участники проекта Финской Академии вкладывали в понятие «Russian Others» несколько смыслов. С одной стороны, так определялся объект изучения: маргинальные или маргинализированные по отношению к господствующим дискурсам социальные группы и их культурные репрезентации (прежде всего речь идет о женщинах, но также и этнических и др. рода меньшинствах). С другой стороны, участники проекта стремились актуализировать и проблематизировать представления о России как «другом» по отношению к Западу (и наоборот) и включить понятие «другого» в методологию исследования, в частности, сделать предметом научной рефлексии «местоположенность» исследователя. Проще говоря, участники проекта задавались вопросом – в какой степени результат изучения «Russian Others» зависит от исследовательской перспективы («русское» изнутри или извне, «русское» как «свое» или как «другое»/«чужое» и т.п.).

Ощущение важности подобных сопоставлений и вызвало к жизни идею провести запланированный в рамках проекта семинар не в Финляндии и не в жанре научного «междусобойчика», а в России и – чтобы сделать категорию «Russian Others» еще более многозначной – в каком-либо нестоличном русском городе.

Тверь была выбрана местом проведения форума не только из-за своего удачного географического положения, а, прежде всего потому, что Тверской университет – один из пионеров гендерных исследований на русской почве. Решающую роль в выборе места проведения конференции сыграла хорошая международная репутация Центра женской истории и гендерных исследований ТвГУ, возглавляемого Валентиной Успенской, и то, что на кафедре истории русской литературы филологического факультета под руководством

профессора Евгении Строгановой формируется своеобразная научная школа по изучению русской женской литературы XIX века.

В замысел организаторов семинара входило обсудить два блока вопросов. Первый был связан с проблемой «национальный гендер и гендер нации» и предполагал обсуждение следующих тем: как идея и образ нации влияют на структурирование гендера? каковы национальные особенности гендерных репрезентаций? как соотносятся символика гендера и символика нации? Второе направление, которое организаторы конференции предлагали для дискуссии можно было назвать «гендерные исследования по-русски: стратегии и перспективы», и здесь предметом дискуссии должны были стать вопросы о соотношении феминистских и гендерных исследований, о достижениях и «вызовах» гендерных исследований в России; о возможностях и границах применения западных методологий в русском контексте.

Программа конференции была в основном составлена из докладов, присланных на «конкурс тезисов», объявление о котором организаторы семинара разместили на различных Интернет-сайтах. Сразу надо заметить, что конференция в своем реальном формате не полностью воплотила «идеальный» замысел устроителей, не преодолев некоторых «преград» и обнаружив явные «пределы» возможного, что, впрочем, означает только то, что семинар со всеми своими слабыми и сильными сторонами отразил достаточно адекватно картину «национальных особенностей» русских гендерных исследований (ГИС).

Одним из сильных и позитивных моментов ГИС является их междисциплинарный и кросскультурный характер (что, впрочем, создает очевидные трудности для пишущего отчет). В семинаре принимали участие социологи, историки, филологи, социальные антропологи и философы. Все они работали на своем материале, но в некоем общем методологическом поле.

Ряд докладов был посвящен анализу актуальных процессов, происходящих на постсоветском пространстве.

*Елена Гапова* (Минск) говорила в своем докладе «От гендера к нации с остановкой на классе» о том, как в происходящий в Белоруссии (и других странах бывшего СССР) процесс классообразования легитимируется с помощью национального и гендерного дискурсов. С ее точки зрения, именно гендер как категория наиболее элементарной социальной стратификации позволяет увидеть, каким образом взаимосвязаны класс и нация. Характерные для сегодняшней ситуации сексуализация и «одомашнивание» женщин происходят не сами по себе, а внутри процессов «воображения» нации. Однако, в конечном счете, национальная идея оправдывает складывающуюся систему классового и гендерного неравенства, прикрывая истинные цели господствующего режима социальных отношений более «благородными».

Доклад социолога *Анны Темкиной* (Санкт-Петербург) назывался «Национальные гендерные порядки: постсоветские трансформации» и на сравнительном материале России, Таджикистана и Армении анализировал изменения гендерного порядка и сферы сексуальных отношений постсоветских обществ. Докладчица представила некоторые «промежуточные итоги» продолжающегося научного проекта биографических исследований сексуальности, которые позволяют утверждать, что в России в постсоветский период произошла смена этакратического гендерного порядка на неолиберальный и вследствие этого сексуальность выделилась в автономную (от репродукции) сферу жизни. Это привело к ослаблению контроля над женской сексуальностью, хотя патриархатные компоненты в ее интерпретации очевидно сохраняются. В Северном Таджикистане и (в меньшей степени и более противоречиво) в Армении напротив доминирующей тенденцией является патриархатная традиционализация гендерного порядка – в первую очередь, усиление экономической роли систем расширенного родства и его значимости для национальной самоидентификации – в результате чего усиливается и контроль над сферой (женской) сексуальности.

Доклад *Сергея Ушакина* (Нью-Йорк) «Локальные войны и личные травмы: о месте утраты в частной жизни» был посвящен анализу деятельности солдатских матерей в провинциальном городе. Используя в качестве основного исследовательского материала тексты проведенных интервью, архивные документы и любительские видеофильмы митингов памяти, исследователь привлек внимание к тому, что в условиях отсутствия социальной и идеологической поддержки со стороны общества, матери, потерявшие своих сыновей в армии (во время войн в Афганистане и Чечне, а так же в результате неуставных отношений), справляются со своей утратой, прежде всего, при помощи постоянного воспроизводства эмоционально окрашенного дискурса о памяти. Утрата в итоге, оказывается не столько пережитой и прожитой, сколько «вписанной» в структуру повседневной жизни. Как отметил исследователь, важным в процессе этой локализации утраты стало осознанное использование «политики жалости» (Х.Арендт), т.е. специфически структурированный коммуникационный обмен, целью которого является координация эмоциональных состояний собеседников. Как продемонстрировал антрополог, обратной стороной такой нацеленности матерей на эмоциональную поддержку и стала предельная деполитизация их деятельности.

Ряд докладов, перекликаясь отчасти по тематике с отрецензированным выше сообщением С. Ушакина, сосредоточивался на гендерной составляющей и ее функциях при конструировании общей национальной памяти или концепта советского (российского) патриотизма.

«Давайте прыгать, девушки! или советский патриотизм через призму гендера» – так назывался доклад *Ольги Никоновой* (Челябинск), в котором обращалось внимание на то, как советская власть, исходя из своих (прежде всего военных) целей, пыталась навязать женщинам новое понимание женственности и новую роль активной (вооруженной) женщины-бойца, в частности, через Осоавиахим, через разного рода милитаризованные праздники. Но, как показала докладчица, из-за культурных барьеров и стереотипов, с одной стороны, и из-за непоследовательности власти, сдерживавшей свои же решения огромным количеством запретов и ограничений, с другой стороны, на Урале, например, только пятая часть женщин откликнулась на предложение власти изменить традиционному гендерному стереотипу.

Очень близким по теме к вышеназванному оказался доклад *Тимоти Пайнича (Timothy J. Paunich)* (Калифорния, США) «Смерть и апофеоз: Советский патриотизм как гендерный проект», предметом рассмотрения в котором также был Осоавиахим – организация, с точки зрения выступавшего, призванная произвести на свет «комсомолку-парашютистку» как некое «внегендерное Другое». Этот замысел не был осуществлен, потому что за милитаризованным фасадом общества, творились иные дела: женские его члены постоянно превращались в «козлов (коз?) отпущения» при возникновении каких-либо проблем, становились объектом взысканий и сексуальных домогательств. При приближении войны возобладал старый миф о природном материнстве, хотя некоторые осоавиахимки и стали активными участницами и героями войны.

*Аника Валке (Anika Walke)* (Ольденбург, Германия) в своем докладе «Гендер и национальная память о войне» на основе проведенных ей в Санкт-Петербурге и Минске интервью, анализировала вопрос о совмещении гендера и нации в контексте коллективной национальной памяти о Великой Отечественной войне. Докладчица подчеркнула, что, если активная военная борьба, закодированная как «мужская», стала легитимированной частью официальной памяти, то формы участия в войне женщин, которые не вменялись в традиционные рамки представлений о женственности и материнстве, оказались целиком или частично табуированными.

В сообщении Марианны Лильестрем (*Marianna Liljeström*) (Турку, Финляндия) «Гендерное сообщество виновных и невинных: память о Гулаге в России» демонстрировалось, амбивалентность и двойственность, связанная с созданием общей памяти о Гулаге. Особенно проблематизированной в докладе оказалась категория «жертвы», связанная с фигурой страдающей женщины.

Близким по тематике к размышлениям о взаимосвязи гендерного и национального измерения в патриотическом дискурсе был доклад *Ольги Шабуровой* (Екатеринбург) «Война,

*солдат и песня: реконструкция русского парня*». Докладчица говорила о том, как через гендерные репрезентации – и, прежде всего через маскулинные концепты типа «русский мужик или «русский парень» – оформляется современная идеологическая концепция русского. Например, анализ проекта государственного телеканала «Россия» «Народный артист», где победителем стал А. Гомон с финальной песней «Русский парень», позволяет увидеть, как соединение традиционных идеологических схем и базовых стереотипов маскулинности (солдат, война, песня) с технологиями современной массовой культуры позволяет моделировать нужные в данный момент власти гендерные конструкторы в молодежной среде.

Совсем иным аспектам презентации гендера в российском шоу-бизнесе был посвящен доклад *Лики Рыгиной* (Саратов) «Гендер(ы) российского шоу-бизнеса: модели рекрутирования ненормативной сексуальности». Автор выделила несколько подобных моделей: *элитизация* (создание образа элитарного гея), *эмансипация* (гомосексуальность или ее поведенческие атрибуты как одна из подчеркнутых форм нонконформизма) и *имитация* (сглаживание в облике и поведении исполнителя специфичных биологически обусловленных черт и стремление к уподоблению иной сексуальности). При этом, по замечанию автора доклада, репрезентация гомосексуальности как символа элитарности (высокого статуса) характерна лишь в отношении мужской гомосексуальности, а рекрутирование женской гомосексуальности репрезентируется скорее как механизм преодоления ограничений, налагаемых на женщину традиционным обществом, либо как способ их избегания через миграцию в иную гендерную позицию.

Несколько докладов семинара было посвящено вопросам так или иначе связанным с процессами миграции уже в прямом смысле этого слова. *Карин Сарсенов* (Karin Sarsenov) (Лунд, Швеция) в сообщении «Миграция русских женщин на экране» продемонстрировала, как вопросы, связанные с брачной миграцией русских женщин, изображаются в документальном кинематографе, проанализировав три документальных ленты, снятые в США, и российский кинотриптих («География русской любви») на данную тему. Авторы американских фильмов, сопровождающие американских мужчин, отправляющихся в Россию в поисках жены, изображают потенциальных русских невест как молчаливых красавиц, суесящихся под приторную музыку на кухне, в то время как мужчины отвечают на вопросы журналистов. Русский документальный сериал представляет русских жен иностранцев более разнообразно, но все изображенные героини поддерживают национальные стереотипы идеальной женственности («муза», «декабристка», «героическая женщина, не боящаяся трудностей»). Таким образом, все названные фильмы скорее не исследуют проблему, а как бы «подгоняют» решение под заранее известный ответ.

В своем сообщении «Брак по-почте: эксплуатация гендерных и национальных стереотипов» *Анна Бородина* (Тверь) показала, как и в этой области через противопоставление Западного мужчины и Восточной женщины ретранслируются стереотипы мужчины как кормильца, спасителя и прекрасного принца и женщины как Золушки-домохозяйки и/или товара. При этом экономические различия подменяются гендерными. Все мужчины из экономически развитых стран (условный Запад) представляются как активные спасители пассивно покорных, находящихся в жалком положении всех женщин из экономически неразвитых стран или стран с переходной экономикой (условный Восток).

В докладе *Анны Роткирх* (Anna Rotkirch) (Хельсинки, Финляндия) «В России – матриархат – постсоветские мигрантки о формах семьи» на материале проведенных автором опросов женщин-мигранток из России, Молдовы, Армении и Украины во Францию и Финляндию обсуждался вопрос о том, почему рассуждения респонденток о своей этнической или национальной идентичности (обостренные в «пограничной» ситуации миграции) всегда в высшей степени гендерно маркированы, связаны с представлениями о формах семьи и семейных отношений. Согласно предположениям исследовательницы, это зависит от мотивов и целей миграции (межнациональные браки или работа в качестве домашней услуги). Респондентки имеют опыт наблюдения за новой страной жительства по преимуществу со стороны семейной и повседневной жизни и на этой основе делают выводы о национальных различиях. Кроме того, модель семейной жизни стран, из которых они уехали, заметно иная, чем в странах их сегодняшнего пребывания (например, более ограничивающая семейную власть женщин и, в частности, матерей по сравнению с российской/советской традицией). Подобные различия форм семьи также оцениваются респондентками как этнические.

В отдельную секцию были выделены доклады исторической тематики. *Анна Белова* (Тверь) в своем докладе «Гендерные и национальные аспекты истории повседневности русских провинциальных дворянок конца XVIII – начала XIX века» замечает, что в российской этнологии, считающей крестьянство носителем национальной культурной традиции, дворянство никогда не изучалось с точки зрения сохранения традиционного русского быта, хотя именно укорененность в нем, несмотря на внешнюю европеизированность и наряду с последней, составляет важную социокультурную характеристику дворянской общности. При этом, по наблюдениям автора доклада, материалы частных архивов провинциальных дворян и мемуарные свидетельства фиксируют непосредственное участие женщин в передаче и репродуцировании различных форм социокультурного опыта, включая хозяйственный, религиозно-нравственный, коммуникативный, их решающую роль в социализации детей обоего пола, что позволяет

интерпретировать дворянскую культуру конца XVIII - первой половины XIX в. как традиционный тип культуры. Гендерная специфика русской провинциальной повседневности обуславливалась обстоятельством неизменного и преобладающего присутствия женщин.

Доклад *Татьяны Любиной* (Тверь) «Межконфессиональные браки в среде провинциального чиновничества конца XIX – начала XX в. (по материалам Тверской губернии)» исследовал разного рода исторические материалы о семьях тверских чиновников указанного периода, состоявших из представителей разных вероисповеданий. Докладчица пришла к выводу, что законодательство о смешанных браках, призванное способствовать слиянию русских с представителями других народностей, другой религии, зачастую достигало прямо противоположного результата. Количество препятствий (правовых, социальных, религиозных) либо отталкивало от вступления в подобный союз, либо (реже) заставляло искать различные стратегии преодоления и обхода стоящих перед ними преград. Эти стратегии, как подчеркнула автор доклада, были разными у мужчин и женщин.

*Вера Кулик* (Тверь) в своем выступлении «Основные партии Российской империи о положении нерусских соотечественниц» пришла к выводу, что в 1900-1917 гг. названный вопрос более всего учитывался в программах и партийной деятельности кадетов, которые, например, уделяли серьезное внимание положению мусульманок. Рабочие партии рассматривали национальный вопрос – как и женский – сквозь призму поиска союзников в предстоящей революции.

Ряд секций, работавших на семинаре, имели филологический характер. Надо отметить, что, в отличие от социологии или исторической науки, применение методологии ГИС в области литературоведения, уже несколько десятков лет продуктивно развивающееся на Западе (в США, Великобритании, Франции и т.д.), в России еще не получило широкого распространения.

Именно рассмотрению инновативного потенциала гендерных исследований для изучения русской литературы посвятила свой доклад «Изучение женского писательства в России XIX века: западный и российский опыт» *Евгения Строганова* (Тверь). С ее точки зрения, опыт западной феминистской критики в анализе творчества женских авторов и женской литературной традиции, в исследовании проблем женского письма, гендерной интерпретации текста, изучении вопроса о литературном каноне и создании гендерно корректной истории литературы может продуктивно использоваться в работе с женскими текстами в реальных условиях русской академической и университетской науки. Наиболее перспективными направлениями в контексте истории русской литературы автор считает, например, изучение репутаций и судеб русских писательниц, исследование мотивов и сюжетов русской литературы XIX века в гендерной парадигме (неравный брак, семейное

счастье, возрождение падшей женщины и т.п.), анализ гендерной типологии персонажей, корректирующий существующую типологию («маленький человек», «лишний человек» и т.п.), исключая женщин. Одним из основных тезисов доклада было то, что, поспешая за западными методологиями, российское литературоведение не должно «проскочить» первую фазу феминистской критики – работу по собиранию сведений о русских писательницах, составлению словарей, библиографий, публикации текстов, критических антологий. Усилия самой Е. Строгановой и ее учеников частично восполняют существующий пробел. Так в 2004 году были изданы пособие для факультативных занятий в 10 классе «Русские писательницы первой половины XIX века», включающее как художественные, так и критические тексты (Тверь, Золотая буква, 2004) и а также сборник статей «Гендерные аспекты изучения русской литературы XIX века», содержащий в частности библиографию соответствующих работ на русском языке (143 наименования).

В докладах аспиранток Тверского университета были продемонстрированы результаты применения феминистской критики к русскому материалу. *Светлана Воробьева («Повесть М. С. Жуковой «Падающая звезда» в психоаналитическом аспекте)* продемонстрировала, как использование идей Н. Чодоров, Дж. Бенджамин и др. позволяет по-новому интерпретировать повесть М. Жуковой «Падающая звезда». Благодаря такому прочтению, повесть, традиционно считавшаяся эпигонским романтическим произведением, оказывается во многих смыслах новаторской.

*Надежда Павлова («Terminological Trouble: литература в дискурсе феминистской критики»)* говорила о чрезвычайно актуальном и болезненном моменте гендерного литературоведения: проблемах адаптации терминологического аппарата феминистской критики к русским исследовательским условиям. Речь идет не только о проблемах неумеренного калькирования или искажающего перевода (о чем еще не раз заходила речь на конференции), но и сложности использования принципиально многоуровневых и многозначных терминов часто философского или социологического дискурсов к задачам конкретного литературоведческого анализа текста.

В центре доклада *Елизабет Шоре* (Фрайбург, Германия) «*Свое и чужое в повести Е. Ган «Джеллаладин»*» стояла проблема соотношения и взаимосвязи этнической и гендерной маргинальности. На примере повести Е. Ган докладчица показала, как в жанре романтической повести понятие «Своего» выстраивается через противопоставленное ему «Чужое»; при этом в женской повести использование концепта «дикого, нецивилизованного, естественного» происходит несколько иначе и с иными последствиями, чем в мужской романтической традиции (например, у Бестужева-Марлинского). Значению гендерно-окрашенных

этнических различий в повести Л. Толстого «Казачья» был посвящен доклад *Екатерины Белецкой* (Тверь).

*Кирсти Эконен* (Тампере, Финляндия) в сообщении «*Жизнетворчество, гендер и формирование авторской идентичности женских авторов русского раннего модернизма*» на примере Зинаиды Гippiус и Нины Петровской показала, как символистская доктрина житнетворчества по-разному и даже противоположным образом могла влиять на формирование женской творческой идентичности в зависимости от того, выбирали ли женщины стратегии в согласии с традиционными представлениями о мужественности и женственности (Петровская) или пытались играть этими моделями и ставить их под вопрос (Гippiус). Если во втором случае, с точки зрения автора доклада, это становилось стимулом к развитию собственного авторского Я, то «пассивная» позиция Петровской привела к тому, что она не смогла осуществиться как автор, а осталась лишь «брюсовским персонажем».

Несколько докладов литературоведческих секций были построены на материале современной литературы. В сообщении *Арьи Розенхольм* (Тампере, Финляндия) «*Женское, животное и национальное*» развивалась мысль о том, что дискурсы о культуре так или иначе, используют и конструируют *животное*, чтобы создать *человеческое*. При этом концепции животного и образы животных играют важную роль в *гендерной* самодефиниции советского/русского человека. Образы идентичности, которые встречаются у многих современных писательниц последних лет, доказывают, что аналогия между женщиной и животным предполагает объединяющий их опыт инаковости: акцент на связи тех и других с природой определяет их как (в)неразумных а, значит, менее ценных. Исследование «животного вопроса» в современной культуре и литературе может, по мнению А. Розенхольм, помочь понять самоощущение русских женщин постсоветского периода: то, как они «чувствуют себя», перестав быть частью понятия «советский человек», которое, по мнению автора доклада, конструировалось через категории разумности, антропоцентризма и андроцентризма. Названные вопросы А. Розенхольм обсуждала на материале произведения С. Василенко.

Задачей доклада *Ирины Савкиной* (Тампере, Финляндия) «*Феминизм по-русски: случай А. Марининой*» был анализ эволюции образа главной героини детективной серии романов о Каменской А. Марининой в связи с проблемой специфики и границ русского феминизма (или «феминизма»). Для того чтобы отделить национальную специфику от жанровой и т.п., автор сравнивала детективный «сериал» А. Марининой с серией романов о женщине-полицейском Марии Каллио финской писательницы Леены Лехтолайнен. Если в романах последней обнаруживается сознательный «феминистский вызов», то в текстах Марининой, которую критика и всерьез и иронически причисляла к феминисткам, попытки показать в первых

романах свою героиню нарушительницей патриархатных норм мотивируются тем, что Каменской просто «повезло». Опекаемая со всех сторон мужчинами-патронами, она – счастливое «исключение из правил». В последних романах «серии» через страхи, травмы и опыт взросления/старения Каменская обретает себя, и это оказывается ничем иным, как возвращением в хорошо известные границы «женской сущности» и «женской природы» – со всеми ее апробированными незатейливыми чертами. Докладчица ставит вопрос: почему непоследовательный и противоречивый, «зародышевый» русский феминизм терпит «историческое поражение» в одной, отдельно взятой детективной серии? Что является определяющим: социальные условия, культурные традиции, советская идеологизация пола, на фоне которой рождается (или не может родиться) постсоветский русский феминизм?

*Марья Рюткенен* (Тампере, Финляндия) в докладе *«Ее зовут феминистка. О русской феминистской автобиографии»* анализирует автобиографический роман Марии Арбатовой «Мне сорок лет», опираясь на теорию феминистской автобиографии Риты Фельски и находя, что стратегия письма Арбатовой чрезвычайно напоминает стратегию письма западных феминисток, описанную Фельски. В чем же проявляет себя русская специфика в автотексте Арбатовой? Как предполагает автор доклада – в том, что конструкция женского опыта у Арбатовой определяется не по признаку стиля, а по признаку пола: женское репрезентируется как биологическое, телесное, даже физиологическое, тогда как в западной женской литературе преобладает желание преодоления биологического.

Ряд докладов (как и названное выше сообщение Е. Строгановой) был посвящен проблемам адаптации ГИС в российской академической науке и университетской преподавании, в сопоставлении с западным опытом.

*Марианна Муравьева* (Санкт-Петербург) в докладе *«Гендер, насилие и нация: методологические подходы к изучению насилия в России и на Западе»* задалась вопросом, почему при столь интенсивно развивающемся изучении сексуального насилия на Западе, в России эта область исследований практически не существует. Автор называет несколько видимых причин, например, «преграды и пределы» лингвистического характера: о сексуальном насилии, исключая собственно юридический дискурс, всегда говорится либо патриархатно, либо эротизированно. Кроме того, все еще довлеет традиция советского времени, где вообще не принято было говорить о сексуальном насилии и связанных с ним проблемах. Однако, как замечает автор сообщения, до революции 17-го года (особенно в конце XIX - начале XX в.) России существовала развитая научная традиция обсуждения проблем сексуального насилия. Изучение и написание истории этой исследовательской традиции становится, таким образом, актуальной аналитической задачей наряду с применением к русскому материалу наработок западной методологии.

Доклад *Сергея Рассадина* (Тверь) *Аристотель: между полом и политикой* был посвящен проблемам, связанным с освещением вынесенного в название вопроса в учебном курсе.

Два доклада представляли аудитории результаты гендерной экспертизы учебников. В докладе *Елены Ярской-Смирновой* (Саратов) *«Гендер и этничность в дискурсе учебной литературы по социальной работе»* на основе анализа 41-го пособия по социальной работе было показано, что авторы подавляющего большинства из них представляют половые различия биологическими сущностями, а социальные условия их конструирования не принимаются в расчет. Например, устойчивым приемом являются частые морализаторские сетования по поводу «правильных» и «неправильных» матерей вообще, и одиноких матерей, в частности. Последние показаны аморальными, неблагополучными и опасными как для своих собственных детей, так и для общества в целом. Что касается аспекта этничности, то этнические персонажи квалифицируются как особые клиенты системы социального обслуживания, в принципе способные к интеграции, но выступающие источником реальной или потенциальной социальной опасности. В проанализированных учебных пособиях отсутствует язык расизма и исламофобии, однако, в некоторых изданиях происходит символическое утверждение доминирующих этнических атрибутов – конфессии, традиций, культуры, истории. Технологии недискриминационной или мультикультурной социальной работы, активной толерантности, позиции социальной критики пока что в учебной литературе не раскрыты. К похожим (и, может, еще более резким) выводам приходит и *Наталья Козлова* (Тверь) в своем докладе *«Гендерный анализ вузовских учебников по социологии»*.

Наиболее оживленное обсуждение вызвала специальная сессия семинара, которая целиком была посвящена вопросу о границах и ограничениях применения гендерных исследований на отечественной почве. *Татьяна Барчунова* (Новосибирск) в своем сообщении *«Нужны ли космосу Платона придатки, или как переводить англоязычную гендерную и феминистскую литературу на русский язык?»* продемонстрировала, как переводы текстов феминистской критики, осуществленные переводчиками, не включенными в этот дискурс, искажают и подменяют понятия, иногда принципиально важные с методологической точки зрения, и как использование этих переводов в качестве «первоисточников» становится причиной недоразумений, иногда катастрофических по своим последствиям. *Наталья Блохина* (Рязань) в своем выступлении *«Об исторической ограниченности гендера»* пыталась показать, что отставание России по отношению к гендерным исследованиям, может иметь и свою позитивную сторону – например, в исторически конкретной русской ситуации возможно еще использовать критический и революционизирующий запал понятия «гендер», полезность которого западная наука на сегодняшнем этапе по разным причинам ставит под

вопрос. Галина Брандт (Екатеринбург) (*«Гендер» в российских исследованиях, или о преграде как подмене*) говорила о том, что, используя термин «гендер» как тактическое оружие, помогающее провести феминистские идеи в российские академические исследования, русские исследователи расплатились за это «подменой» термина, ставшего абсолютно аморфным и «пустым» (гендер» сегодня у нас – это все, что «про мужчин и женщин», «про любовь», «семью»), что сделало его по меньшей мере бесполезным. Сегодня употребление понятия «гендер» в российских исследованиях, по мнению автора доклада, принципиально двусмысленно. Оно выражает одновременно и то, *что* исследуется и то, *как* это делается, то есть, понятие отражает и предмет, и метод. Между тем, по мнению Г. Брандт, «гендер» – это не объект исследования, а важный методологический ключ, позволяющий открывать новые перспективы. Мария Литовская (Екатеринбург) попыталась в своем сообщении *«Жизненная опытность» против гендерных исследований: проблемы чувствительности аудитории* показать, почему при определенной научной легализации гендерных исследований, они остаются предметом интереса достаточно узкого и относительно замкнутого круга исследователей. Докладчица отметила, что, как академическая среда, так и более широкая аудитория (журналисты, педагоги, социальные работники) создают, по выражению М. Литовской, «полосу глухой обороны» выводам, к которым приходят работающие в рамках ГИ. Кроме определенных предубеждений (отождествление ГИС с радикальным феминизмом, мужененавистничеством, идеологической диверсией Запада и т. п.), преградой на пути распространения знания становится и установка на элитарность в самом сообществе гендерных исследователей, замкнутость среды «посвященных», их нападки на невежество неофитов. Усложняет адекватное восприятие результатов ГИС и существующая в России до сего дня «закрытость» в публичном разговоре о вопросах тела и пола, проявляющаяся, в частности, в неготовности найти общепотребительный язык для подобных обсуждений.

Продолжительная дискуссия, которая завершала каждый день работы конференции, касалась в основном следующих вопросов: границы и проблемы переноса западных методологических стандартов» ГИС на русскую почву, степень жесткости (определенности) или лабильности категорий ГИС, вопрос о том, необходимо ли ГИС обретать «академическую респектабельность» или им это, по определению, противопоказано; нужно ли «нести гендерные знания в широкие массы» и в каких формах и т.д.

Пестрота и некоторая разнонаправленность и разноуровневость докладов семинара, заметная каждому, прочитавшему этот отчет, может быть интерпретирована по-разному: как недоработка организаторов, как прекрасное многообразие точек зрения и подходов или как неизбежная черта всех междисциплинарных собраний.

## Раздел 1

### "Методологические и методические проблемы гендерных исследований в российском контексте"

Марианна Муравьева, С.-Петербург

#### **Гендер, сексуальное насилие и государство: методологические проблемы изучения сексуального насилия в России и на Западе**

«Имеет ли сексуальное насилие исторический смысл?» - такой вопрос поставил Рой Портер в 1986 году и вновь возбудил временно поутихшие дискуссии по поводу методологических подходов к изучению сексуального насилия в историческом аспекте. В результате своего анализа Портер пришел к выводу, что сексуальное насилие не должно рассматриваться в качестве трансисторического, универсального понятия, ибо в таком случае это приводит нас к эссенциализму и простому объяснению сексуального насилия посредством «присущих мужчинам особенностей анатомии»<sup>1</sup>. Здесь конечно же Портер критиковал традицию, заложенную Сьюзан Браунмиллер в ее знаменитой книге «Против нашей воли»<sup>2</sup>, которая кстати так и не переведена на русский язык. Радикальное крыло феминизма всегда рассматривало сексуальное насилие как нечто универсальное, характерное для *всех* культур и исторических периодов. Лозунг «патриархат есть религия насильников», сформулированный Мэри Дейли в 1978 году<sup>3</sup>, точно отражает феминистскую критику данного гендерного порядка. Тем не менее, несмотря на силу и вдохновение радикального феминизма, несмотря на огромную практическую работу, проделанную различными организациями по защите женщин от сексуального насилия, историки и антропологи все больше склонялись к идее о том, что такое понятие как «сексуальное насилие» не имело универсального значения и существования в историко-антропологическом контексте, ибо каждое отдельно взятое общество в отдельно взятый период истории разрабатывало свои собственные представления о власти, теле и сексуальности, а эмпирические данные антропологических исследований показывали, что уровень сексуального насилия является различным в разных обществах<sup>4</sup>. Используя антропологическую методологию и исходя из посылки примата культуры над биологией, историки, тем не менее, установили очевидную

---

<sup>1</sup> Porter, Roy, "Rape - Does It Have a Historical Meaning?" in Tomaselli, Sylvana, Porter, Roy (eds.) *Rape: an Historical and Social Enquiry* (Oxford, 1986), pp. 229-230.

<sup>2</sup> Brownmiller, Susan, *Against Our Will. Men, Women and Rape* (New York, 1975).

<sup>3</sup> Daly, Mary, *Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism* (Boston, 1978).

<sup>4</sup> См. концепцию Пеги Ривз Сендей, по которой все общества делятся на «склонные к сексуальному насилию» и «свободные от сексуального насилия» (rape prone и rape-free): Сендей П. Р. Социально культурный контекст насилия: кросс-культурное исследование// Гендерные исследования. – 2002. - № 6. – С. 88-113. (оригинальная публикация: Sanday, Peggy Reeves, "The Socio-Cultural Context of Rape: A Cross-Cultural Study," *Journal of Social Issues* 37 (1981): 5-27.

связь между зарождением национальных государств на Западе и формированием дискурса сексуального насилия как преступления против морали и нравственности (а не собственности), а также как преступления, совершаемого на *биологической почве как правило неменяемыми маньяками*. С другой стороны, волна сексуального насилия, захлестнувшая западные общества, подпитывалась идеологией политических и властных отношений, базирующихся на практике и теории разного рода завоеваний и экспансий, побед и поражений, излагающихся часто через дихотомию женского/мужского и легитимирующих насилие в любой сфере. Завоеватель и победитель превратился в героя, тем более в сфере сексуальных отношений. Женщины были виктимизированы и объективизированы до такой степени, что даже гинекология превратилась в XIX веке в исключительно мужское занятие.

Несмотря на очевидную важность данного понятия, явления и преступления для изучения современного гендерного порядка и источников формирования одного, библиографию по этому поводу вряд ли можно назвать обширной даже в западной историографии. Ситуация же в отечественной историографии выглядит более чем плачевно. Не считая буквально двух-трех статей история сексуального насилия в России остается полем, которое возделывают западные историки-слависты (Ева Левина, Лора Энгельштайн, Нэнси Коллман, Стефен Френк и даже Дэвид Кайзер). В чем причина такого пренебрежения столь важной темой? В недостатке источников для исследования? В отсутствии релевантной методологии? Культурной идее молчания об «этом»? Просто пренебрежении очевидным? В связи со сложившейся ситуацией мы считаем необходимым решение двух основных проблем: 1) выяснении причин отсутствия исследований по истории сексуального насилия в современной российской историографии; и 2) разработке некоторых направлений и методологических комплексов для начала такого рода исследований.

Отсутствие исследований по истории сексуального насилия не есть специфически российская черта. На Западе только благодаря женскому движению и вызванной им реформе образования, то есть организации программ женских исследований в университетах, стало развиваться изучение сексуального насилия и его истории. Основной проблемой стал поиск параметров и путей изучения сексуального насилия в обществах прошлого. Вопросы, которые ставились специалистами на повестку дня (что произошло? с кем? почему?), в целом интерпретировались в рамках сугубо хронологических, то есть в рамках трансформации европейского общества от средних веков через создание индустриального общества к современности, концептуальное же объяснение так или иначе касалось социальных и/или экономических отношений в той или иной форме. Но данный способ изучения сексуального насилия оказался труден по причине сущности и разрозненности источников, поэтому эта тема чаще всего является субъектом дискурса о сущностных характеристиках и

интерпретации дошедших до нас источников, а не простого изложения того, что произошло. Лидерство в этой области остается за культурными репрезентациями сексуального насилия как посредством текста, так и визуальных источников изображения.<sup>5</sup> Обратимся к зарождению исследований о сексуальном насилии на Западе.

Одна из ведущих исследовательниц этой проблемы – Анна Кларк – целью своих работ поставила изучение взаимосвязи и взаимовлияния властных отношений, дискурса сексуального насилия и восприимчивости общества к женскому историческому опыту на примере исследования сексуального насилия в Англии между 1770 и 1845 годами, то есть период, который обозначен в английской истории как рождение индустриального общества и долгое время определялся (и определяется некоторыми категориями историков до сих пор) как время скалывания классовых отношений. Ее главной гипотезой в процессе скрупулезного анализа классово-гендерных отношений становится утверждение о том, что сексуальное насилие изменило свою функцию в процессе нарастающей динамики обретения мужчинами власти и усиления женского сопротивления этому. Идеология нарождавшегося среднего класса конструировалась вокруг понятия женской невинности, что на практике означало низведение существования женской сексуальности до того уровня, когда она могла контролироваться мужчинами (в том числе, супружеский секс), прежде всего отцами и мужьями. Женщины, потерявшие невинность, переходили в разряд «падших» и вне зависимости от внешних приведших их к этому состоянию причин несли ответственность за свое «падение». «Рыцарский» же кодекс поведения по отношению к женщине получил причудливое возрождение в рамках идеологии «либертинства», санкционировавшей неконтролируемую канализацию мужской сексуальности, что, с одной стороны, все еще сохраняло битву за женщину по правилам «честной игры», но не обязательно устанавливало ответственность за последствия завоевания.<sup>6</sup>

Кларк отмечает, что указанные выше изменения лишили женщин возможности говорить о сексе и о сексуальном насилии. Суды на практике относились к женщинам как виновницам свершившегося над ними сексуального насилия просто потому, что те смели заявить в суд об оном. Дома же от женщин требовалось полное подчинение мужу или отцу в обмен на защиту, но оба этих мужчины в рамках традиционной патриархатной системы были наделены возможностью использовать насилие или, по крайней мере, угрозу применением

---

<sup>5</sup> См., например, статьи Ф. Цейтлинг, Нормана Брайсона и Кристофера Фрейлинга в: Tomaselli, Sylvana, Porter, Roy (eds.) *Rape: an Historical and Social Enquiry*; а также: Thompson R. *Unfit for Modern Ears: a Study of Pornographic, Obscene and Bawdy Works Written or Published in England in the Second Half of the Seventeenth Century* (London: Macmillan, 1979).

<sup>6</sup> Clark A. "Rape or Seduction?: a Controversy Over Sexual Violence in the Nineteenth Century," in: London Feminist History Group (ed.), *The Sexual Dynamics of History: Men's Power, Women's Resistance* (London: Pluto Press, 1983), pp. 13-27; Clark A. *Women's Silence, Men's Violence: Sexual Assault in England, 1770-1845* (London: Pandora Press, 1987).

насилия в качестве средства контроля и воспитания. Кларк же выводит перед своим читателем целую галерею примеров сопротивления женщин такого рода угнетению. В качестве примера Кларк использует знаменитое дело об убийстве Мэри Эшфорд (1817 год), молодой работницы, чье тело со следами синяков и насильственного полового акта нашли в поле недалеко от таверны, в которой накануне она танцевала на вечеринке, а затем отправилась домой в сопровождении Абрахама Торнтон. Торнтон судили по подозрению в убийстве и...оправдали. В последующем изображении газет и затем романов Торнтон превратился в «Торнвилля», аристократа-либертина, а Эшфорд – в чистую и невинную героиню.<sup>7</sup>

Торнтон оказался в центре классово-гендерных отношений, обильно сдобренных проблемами формирования гендерной идентичности, трансформации рыцарского кодекса поведения в джентльменский и рождением новой сексологии и психиатрии.<sup>8</sup> Газеты превратили его в некоего монстра, абсолютно невменяемого маньяка. Не могу удержаться от цитирования следующего отрывка: «Участники спора изображали его «неестественным», «безумным», «ужасным зверем, совсем не похожего на нормальных мужчин». Над всеми ими гремел голос ее (Мэри Эшфорд. – М. М.) ярого защитника почтенного Люка Букера: «Мэри Эшфорд была захвачена диким Сабинянином, и после того, как он самым жестоким образом обошелся с ней, сей грязный извращенец бесчеловечно принес ее в жертву своей ненасытности!»<sup>9</sup> Все эти определения: зверь, извращенец, насильник, маньяк, выскочивший из кустов, использовались для объяснения самого факта сексуального насилия. Апофеозом этого образа стал Джек Потрошитель, чьи убийства в 1888 году потрясли не только Англию, но и всю Европу, а также Россию.<sup>10</sup> В этот дискурс также вплетался и расовый вопрос: Потрошитель представлялся евреем, «Торнвилль» - сабинянином, рождая конструкт «чужака-насильника со звериным оскалом», что было тесно связано с проблемой определения данного поведения как девиантного.

Концепция девиантности последовательно излагается Роем Портером в неоднократно нами цитированной статье «Имеет ли сексуальное насилие исторический смысл?» По его мнению, сексуальное насилие (в особенности помещенное в контекст строительства

---

<sup>7</sup> Clark A. *Women's Silence, Men's Violence: Sexual Assault in England, 1770-1845*, pp. 113-116; 124-126.

<sup>8</sup> См. об этом: Муравьева М. Г. Лорд или джентльмен: к эволюции английских маскулинностей в раннее Новое время // Социальная история. Ежегодник, 2003. Женская и гендерная история. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 109-130; Муравьева М.Г. Гендерный и национальный аспекты идентичности политической элиты (на примере британской политической элиты) // Идентичность в контексте глобализации: Европа, Россия, США: Сб. науч. тр./ Под ред. В.Н. Брюшинкина. - Калининград: Изд-во КГУ, 2003. - С. 205-218

<sup>9</sup> Clark A. *Women's Silence, Men's Violence: Sexual Assault in England, 1770-1845*, p. 114.

<sup>10</sup> Frayling C. "The House Jack Built: Some Stereotypes of the Rapist in the History of Popular Culture," in Tomaselli, Sylvana, Porter, Roy (eds.) *Rape: an Historical and Social Enquiry*, pp. 174-215; WALKOWITZ, Judith R. "Jack the Ripper and the Myth of Male Violence," *Feminist Studies* 8 (1982): 543-574.

патриархатных европейских национальных государств) является социально разрушительной деятельностью отдельных маргинальных элементов и именно поэтому не входило в интересы тех, кто поддерживал патриархатную власть. Маргинальными же элементами являются мужчины (особенно молодые), которые «еще не втянулись в патриархат, где были распространены классические роли отца и мужа; ...[которым таким образом]...не доставало перманентных оснований зрелого патриархата – богатства, собственности, должности, «положения».<sup>11</sup> Как бы подтверждая идею Портера, Жак Руссо обнаружил 125 дел об изнасиловании, произошедших в Дижоне между 1436 и 1486 гг., 80% из которых представляли из себя групповые нападения (от 2 до 15 человек), около 85% дижонских насильников составляли «молодые горожане», многие из которых были еще и к тому же холостяками. Периодичность таких атак составляла одно или два нападения в месяц, а жертвами становились незамужние или овдовевшие женщины, или те замужние женщины, чьи мужья находились в отъезде. Обычно женщину похищали из дома, затаскивали внутрь крепостных стен и осуществляли групповое изнасилование.<sup>12</sup> Дижонская модель сильно напоминает ту, которую использовали братства в американских университетах 80-90-хх гг., что прекрасно было описано Пегги Р. Сейндей.<sup>13</sup> Но можно ли считать дижонскую молодежь или элитные американские братства – маргинальным элементом? Да, они молоды и неженаты, ходят группами и озабочены сексом, выносит ли это их на поля общества?

Руссо связывает поведение дижонских парней с определенного рода демографическими моделями, в рамках которых пожилые мужчины часто женились на молодых женщинах или быстро вступали во второй брак в случае смерти первой жены. Молодые жестко конкурировали с ними из-за жен. В некоторой степени, таким образом, эти нападения являлись борьбой за статус между молодыми и пожилыми мужчинами, статус, подтверждавшийся обладанием женским телом. Однако Руссо прекрасно демонстрирует, что местные патриархи мало волновались по поводу поведения молодежи. Городской совет практически ничего не предпринимал с целью поставить это поведение под контроль. Автор считает, что «сексуальное насилие составляло норму и являлось постоянным явлением городской жизни» и что изнасилование «должно было составлять ритуал подлинной инициации или вирилизации для местных юношеских банд».<sup>14</sup> В действительности поведение молодежи наоборот помогало поддерживать патриархатный социальный порядок (которым

---

<sup>11</sup> Porter, Roy, "Rape - Does It Have a Historical Meaning?", p. 235.

<sup>12</sup> Rossiaud J. "Prostitution, Youth and Society in the Towns of Southeastern France in the Fifteenth Century," in R. Foster & O. Ranum (eds.), *Deviants and the Abandoned in French Society* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1978), pp. 1-46.

<sup>13</sup> Sanday P. R. *Fraternity, Gang, Rape. Sex, Brotherhood and Privilege on Campus* (New York, New York UP, 1990).

<sup>14</sup> Rossiaud J. "Prostitution, Youth and Society in the Towns of Southeastern France in the Fifteenth Century," p. 12.

им предстояло контролировать по мере взросления) посредством подчинения женщин, то есть сексуальное насилие являлось необходимым аспектом сохранения патриархатной власти.

Английский историк Эдуард Шортер несколько по-иному интерпретирует сексуальное насилие в преиндустриальной Европе: по его мнению изнасилование являлось своего рода сдерживателем мужской сексуальной фрустрации, которая как правило наступала после продолжительного нахождения в браке.<sup>15</sup> Он считает, что большинство мужчин-европейцев раннего нового времени оставались относительно невинными, девиантные же желания они не могли держать по контролю. Тем не менее, выводы Руссо на примере Дижона конца XV века показывают, что это совсем не так. Проституция практиковалась открыто, в большинстве городов этого региона существовали общественные бордели, спонсировавшиеся городскими советами. Местные власти выдавали специальное разрешение на занятие проституцией «аккредитованным» проституткам – публичным женщинам. Другими способами канализации сексуальных желаний могли являться публичные бани и публичные дома, проститутки обслуживали мужчин всех возрастов и состояний, однако сексуальное насилие оставалось постоянным явлением. Все эти данные показывают совершенную бесполезность попытки объяснения сексуального насилия через простые «сексуальные фрустрации». Дэвид Лизак считает, что за объяснениями мотивации поведения насильников следует обратиться к состоянию социокультурного контекста гендерной системы, нежели к проблемам биологии пола или сексуальности.<sup>16</sup> Изучая культурные и психологические перспективы, Лизак связывает «дистанцированное от отца воспитание ребенка и культуру насилия», используя данные психологических исследований, где отсутствие отца или наличие отца-агрессора является общим местом в биографии насильников. В его представлении подавление женских черт характера, необходимых в процессе становления мужественности, особенно трудно в отсутствии отца, что переносит весь гнев на мать. Роль же матери, культурно детерминированная в качестве нормативной для практик воспитания ребенка, но одновременно связанная с высоким уровнем гендерного неравенства, в конечном итоге лишается своей культурной автономии и мать оказывается неспособной бросить вызов такого рода практикам. Ненависть, преследующая растущего мальчика, обретает общие формы направленности против *всех* женщин или *других* женщин, и может, таким образом, создать мотивацию сексуального насилия.<sup>17</sup>

Тесно связана с идеей Лизака концепция «сексуальных сценариев» (sexual scripts), разработанная Стеви Джексон. Главная цель концепции – описать те роли и ситуации, которые бы «предоставили мотивацию сексуального поведения». Сама идея «сценария», по

---

<sup>15</sup> Shorter, Edward, "On Writing the History of Rape," *Signs* 3 (1977/1978): 471-482.

<sup>16</sup> Lisak D. "Sexual Aggression, Masculinity and Fathers," *Signs* 16 (1991): 238-262.

<sup>17</sup> Ibid., p. 259.

мнению автора, позволяет интерпретировать, формировать или санкционировать определенные типы сексуального поведения, которое по сути своей постоянно меняется. Поэтому в каждом сценарии существует свое собственное описание «нормы», что является стержнем сценария, которое затем выступает в качестве оправдательного мотива поведения, позволяя интерпретировать оное как «нормальное». Таким образом, рассматривая сценарии насильников, мы можем обнаружить и мотивацию их поведения, главным моментом в таких сценариях будет момент оправдания, соответствия норме, часто превентивная нейтрализация вины. Это означает, что не существует специальных типов мужчин, которые склонны к насилию, а лишь доступность определенных сценариев, специфика окружающей социальной среды, особенности отношения насильника и жертвы приводят к сексуальному насилию. Изнасилование, таким образом, не является девиантным или маргинальным поведением, это «просто крайнее проявление принимаемых в нашей культуре паттернов взаимоотношения мужчины и женщин...некий неофициальный базис для нашего *status quo*».<sup>18</sup>

Следуя концепции Джексона, Николь Уорд Джув описывает дело йокришского Потрошителя – Питера Сатклифа, в период между 1975 и 1980 годами убившего и изуродовавшего 13 женщин и искалечившего еще семерых. Автор подробно описывает мизогинистский агрессивный сценарий маскулинности, насаждавшийся отцом, братьями и сверстниками Сатклифа, который и обеспечил для самого Сатклифа достаточное объяснение его поведения. С другой стороны, неэффективность полицейского расследования, где также этот сценарий сыграл влиятельную роль, только подливали масла в огонь и провоцировали Сатклифа на новые действия, так как он видел поощрение своему поведению со стороны властей. Он называл всех женщин «проститутками», показывая, что они заслуживали того, что получили.<sup>19</sup>

Шейни Д'Круз, анализируя концепции, разработанные историками в конце 70-х-80-е гг., пришла к заключению, что для объяснения и изучения мотиваций сексуального насилия необходимо связать воедино патриархат, властный дискурс и социальные отношения. Только здесь сексуальное насилие сможет рассматриваться как критически важная точка одновременно пересечения и разграничения властных отношений в соответствии с гендерными, классовыми и возрастными характеристиками. Она считает необходимым инкорпорирование основных идей в методологию любого историка, что означает поиск доказательств мужской насильственной культуры в специфически исторической обстановке и локализацию сексуального насилия в контекст насилия против женщин в целом. С ее точки

---

<sup>18</sup> Jackson, S. "The Social Context of rape: Sexual Scripts and Motivation," *Women's Studies International Quarterly* 1 (1978): 29-37.

<sup>19</sup> Ward Jouve, N. "*The Streetcleaner*": the Yorkshire Ripper Case on Trial (London: Marion Boyars, 1986), esp. ch. 12.

зрения, прекрасным примером может служить изучение популярной культуры британского рабочего класса XIX века.<sup>20</sup>

Мы подробно остановились на изложении основных концепций 80-х гг., так как именно они стали теми методологическими рамками, внутри которых продолжилось развитие исследований сексуального насилия в 90-х гг. Последнее десятилетие дало большое количество конкретных исследований сексуального насилия в отдельных странах и регионах. Хотя сейчас мы опять же остановимся подробнее на англоязычной историографии, тем не менее, следует отметить, что французские, немецкие, а в особенности, скандинавские специалисты внесли огромный вклад в исследование истории сексуального насилия.

Основная тенденция историографии 90-х – это «удревнение» истории сексуального насилия. Исследователи 80-х акцентировали свое внимание больше на XIX-XX вв., пытаясь обнаружить непосредственную связь со всплеском сексуального насилия и насилия против женщин 70-х гг. Женское движение, дав мощный импульс к развитию изучения сексуального насилия, нуждалось в четких, а главное непосредственных исторических объяснениях данного негативного феномена. Последнее десятилетие открыло перед историками новые перспективы изучения насилия: в рамках постмодернистской критики истории и анализа источника стало возможным изучение раннесредневековых источников с новой, непривычной точки зрения. Более того, применение новой методологии коснулось не только литературных текстов (как, например, изучение проблемы сексуального насилия в ренессансной литературе или литературе XVII века<sup>21</sup>), но и традиционных исторических источников, таких как хроники и юридическая литература (варварские правды, своды законов, комментарии юристов). Изменение исследовательской методологии довольно точно выразили Лори Финк и Мартин Шихтман в своем исследовании взаимодействия сексуального насилия и формирования концепции империализма в хрониках Васа и Лайамона.<sup>22</sup> Взяв на

---

<sup>20</sup> D'Cruze, Shani, "Approaching the History of Rape and Sexual Violence: Notes Towards Research," *Women's History Review* 1 (1992): 385-387.

<sup>21</sup> Bamford, Karen, *Sexual Violence on the Jacobean Stage* (Basingstoke: Macmillan, 2000); Barnett, Pamela E. "'And Shortly for to Seyn They Were Aton': Chaucer's Deflection of Rape in the 'Reeve's' and 'Franklin's Tales'", *Women's Studies* 22 (1993): 145-162; Boebel, Danby, "In the Carnival World of Adam's Garden: Roving and Rape in Behn's Rover," in Katherine M. Quinsey, ed., *Broken Boundaries. Women and Feminism in Restoration Drama* (Lexington, The University Press of Kentucky, 1996), pp. 55-70; Dinshaw, Carolyn, 'Rivalry, rape, and manhood: Gower and Chaucer', in: Roberts, Anna (ed.): *Violence Against Women in Medieval Texts* (Gainesville: University Press of Florida, 1998), pp. 137-160; Douglas Canfield, J. "Tupping Your Rival's Women: Cit-Cuckolding as Class Warfare in Restoration Comedy," in Katherine M. Quinsey, ed., *Broken Boundaries. Women and Feminism in Restoration Drama* (Lexington, The University Press of Kentucky, 1996), pp. 113-128; Eggert, Katherine, 'Spenser's Ravishment: Rape and Rapture in "The faerie Queene"', *Representations* 70 (2000): 1-26; Weisl, Angela, "Quiting" Eve: Violence Against Women in the *Canterbury Tales*, in: Roberts, Anna (ed.): *Violence Against Women in Medieval Texts* (Gainesville: University Press of Florida, 1998), pp. 115-160; Williams, Carolyn D. 'Silence, Like a Lucrece Knife: Shakespeare and the Meanings of Rape', *Yearbook of English Studies* 23(1993): 93- 110.

<sup>22</sup> Finke, Laurie, Shichtman, Martin, 'The Mont St. Michel Giant: sexual violence and imperialism in the chronicles of Wace and Layamon', in Roberts, Anna (ed.): *Violence Against Women in Medieval Texts* (Gainesville: University of Florida Press, 1998), pp. 56-74.

вооружение концепцию Славоя Жижека, они менее озабочены конкретной историей сексуального насилия в Англии XII в., больше их интересует воображаемый конструкт, складывающийся при начертании истории, выступающий в качестве симптома, который функционирует как «объединяющий момент» (*point de capiton*), связывающий воедино изменчивые элементы, из которых состоит идеологическое пространство, таким образом создавая и поддерживая определенный идеологический формат. В центре их изучения «Роман о Бруте» Васа, англо-норманнского поэта конца XI века и его переложение Лайамоном, английским монахом-отшельником, жившем в конце XII в. Авторы концентрируются на эпизоде похищения и насилия над Элейн и мести Артура за надругательство над ней. Они подчеркивают, что дискурс сексуального насилия в данном случае маркировал определенное недопустимое поведение для аристократа, то есть был исключительно социально окрашенным. Элейн является воплощением красоты, нежности, достоинства, аристократизма и асексуальности, что особенно подчеркивается сравнением с ее кормилицей, также пережившей сексуальное насилие, но в ее случае дозволимого, так как она не принадлежала к аристократическому кругу. С другой стороны похититель-насильник к тому же еще и пришелец, чужак (великан Сен-Мишель, некий экзотический аутсайдер, родом вроде как из Испании с намеком на мусульманские корни), что не делает ему чести. Так сексуальное насилие становится «объединяющим моментом», создающим особое идеологическое поле, внутри которого происходит попытка разграничения границ между теми, кто рожден в богатстве, и теми – кто в бедности, теми, кто обучен воевать и всеми остальными, но, прежде всего, между «своими» и «чужими».

Правда короля Альфреда (конец IX- начало X века) подверглась детальному исследованию Кэрол Хаф. Изучив язык и сравнив различные переводы Правды с древнеанглийского языка, проведя сравнительный анализ с другими правовыми документами (правдами Инэ и Эгберта, Салической и Лангобардскими правдами, а также более поздними комментариями Брактона и других юристов), она делает вывод о том, что источник демонстрирует преданность делу защиты женщины от посягательств сексуального характера, что тесно связана с легальным статусом женщины в англо-саксонском обществе IX в. О достаточно защищенном положении говорит то, что женщина получала денежную компенсацию за насилие лично, что говорит об определенной степени автономности.<sup>23</sup> На наш взгляд, выводы автора слишком оптимистичны, ибо в 11 главе Правды все равно указывается разница между высокорожденными и рабынями, а также штраф снижается до

---

<sup>23</sup> Hough, Carole: 'Aelfred's "Domboc" and the Language of Rape: a Reconsideration of Alfred Ch. 11', *Medium Aevum* 66 (1997): 1-27.

половины, если женщина не является девственницей, что, в конечном итоге, сводит положение женщины до уровня «движимого имущества» мужчины.

Изучение юридических документов, кодексов, уголовных кодексов, комментариев юристов, наконец судебных дел является практически центральным для исследователя сексуального насилия, более того, более того, западная традиция предоставляет достаточно сохранившихся источников для этого. Ева Левина и Лора Энгельштейн в своих работах убедительно показали возможность такого подхода и на примере отечественных материалов.<sup>24</sup> Но факт остается фактом – кроме западных исследований история сексуального насилия в России остается невозделанной нивой и это при условии, что источниковая база позволяет осуществлять качественные и интересные исследования. Еще парадоксальнее ситуация выглядит на том фоне, что исследование сексуального насилия в контексте современного общества в рамках гендерных исследований и юридических наук ведется весьма активно.

В целом всю литературу о проблемах сексуального насилия можно поделить на три направления: 1) криминологическая и юридическая литература, изучающая изнасилование как преступление в рамках современного уголовного права (сюда же относится и поток специальной судебно-медицинской литературы); 2) социокультурный анализ насилия как категории современной культурологии и философии; 3) гендерный и феминистский анализ<sup>25</sup> насилия против женщин, включающий по большей части работы по домашнему насилию. Все эти направления достаточно хорошо представлены, особенно первое, имеющую очень устойчивую традицию русской криминологии, уходящей корнями в середину XIX века, с тем лишь отличием, что криминологи XIX столетия и даже 20-30-х гг. XX столетия уделяли повышенное внимание истории складывания дискурса сексуального насилия в современном им обществе, чего не увидишь в современных криминологических работах. Исследования второго направления очень редко говорят о сексуальном насилии, также следуя глубоко укоренившейся традиции относить изнасилование и сексуальное насилие к мотивациям сексуального характера, но не к форме проявления агрессии или насилия. Литература третьего направления относительно молода и у нее еще не было возможности для создания серьезных аналитических работ, посвященных сексуальному насилию. В основном она

---

<sup>24</sup> Engelstein, Laura, *The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia* (Ithaca and London, Cornell UP, 1992), cha. 2 (см. русский перевод: Энгельштейн Л. Ключи от счастья. – М., 1996.); Engelstein, Laura, "Gender and the Juridical Subject: Prostitution and Rape in Nineteenth-Century Russian Criminal Codes", *The Journal of Modern History* 60 (1988): 458-495; Levin, Eve, *Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900-1700* (Ithaca and London, Cornell UP, 1995), cha. 5 (см. русский перевод: Левина Е. Секс и общество в мире православных славян, 900-1700 // «А се грехи злые, смертные...» Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (X- первая половина XIX в. – М., 1999. – С. 349-385).

<sup>25</sup> Мы вынуждены разделять эти подходы к анализу в отечественной литературе, т.к., как парадоксально это не звучит, гендерный анализ здесь не всегда является феминистским.

концентрируется на домашнем насилии – не столько изнасиловании или принудительном сексе, сколько на рукоприкладстве и насилии над детьми, хотя многочисленные кризисные центры уже публикуют результаты специальных исследований и case-studies на основе своих данных. Судя по литературе, происходит активизация выпуска специальной литературы по криминологической сексуальности, напротив, что касается феминистского и социокультурного блока, мы замечаем сокращение количества публикаций. При этом криминология дает нам теперь уже монографии и фундаментальные исследования (разговор об их качестве - вопрос отдельный), блок феминистских и социокультурных исследований ограничивается сборниками статей, тезисов, материалов конференций или отчетов о работе кризисных центров.

Тем не менее, сексуальное насилие – не есть основная проблема для современного женского движения в России (если мы принимаем на веру то, что оно существует). Именно слабость женского движения является необходимым отсутствующим стимулом для развития такого рода исследований. Кризисные центры для женщин часто находятся в ужасном состоянии и существуют за счет добровольной работы кучки милосердных женщин, которые видят своим долгом помощь скорее семье, нежели конкретной женщине. Теоретическая литература, вместо оказания помощи, часто лишь усугубляет ситуацию, некоторые авторы спонтанно строят свои исследования на эссенциалистских основах, из чего получается, что так положено и поделаться с этим ничего нельзя. Приведем несколько примеров современного дискурса сексуального насилия в отечественной специальной литературе. Так Ю. И. Сидоренко (кандидат философских наук, Костромская государственная сельскохозяйственная академия) в своем докладе на тему «Антипопсихологические источники насилия и формы их социальной компенсации» утверждает: «Равенство прав предполагает и равенство обязанностей. Но, как уже указывалось, мужчины и женщины по очень многим показателям далеко не одинаковы. Прямолинейное механическое уравнение женщины с мужчиной может принести серьезные отрицательные последствия. Примером могут быть США, где идеал эмансипации – «стать таким, как мужчина», и где женщины уже фактически деформируют свою половую природу и роль. Американки, например, оскорбляются, если в них видят более слабое существо. Это дикость наоборот. Равенство неравных – худший вид неравенства. Женщину все равно нельзя заставлять выполнять непосильную для нее работу, скажем, в шахтах, рудниках, на севере и т.д.[...] Речь должна идти не об одинаковости и даже не о равенстве, а о неравенстве справедливом. Здоровье женщины – это здоровье нации.... Поэтому первое крупное изъятие из равенства мужчин и женщин заключается в том, чтобы в стране во главу угла были поставлены задачи создания максимально благоприятных условий для рождения и воспитания детей. Женщина-мать должна иметь возможности не работать

после рождения ребенка не менее трех, а лучше –пяти лет, получая при этом наивысшую зарплату из всех, которые она имела до рождения ребенка».<sup>26</sup> Надо отметить, что этот материал помещен в специальном сборнике на тему насилия против женщин. Здесь встает закономерный вопрос: должен ли быть хоть какой-либо отбор при публикации материалов конференций, особенно когда речь идет об очевидном непонимании проблемы? В институте мы ставим за такого рода вещи студентам нечетки или неудовлетворительные оценки на экзаменах.

Криминологическая литература также полна всякого рода интересных наблюдений. О. Ю. Михайлова в своей монографии «Криминальная сексуальная агрессия: теоретико-методологический подход», которая опирается на достижения отечественной психологии, а главное написана в рамках «естественно-научной парадигмы, принятой в психологической науке», утверждает: «И все же когда речь идет о сексуальной агрессии, то на первый план выходит отношение субъекта к женщине. Именно сексуальность является главной и очевидной характеристикой, отличающей женщину от мужчины. Поэтому во взаимоотношениях с женщинами деструктивная активность направляется чаще всего именно на эту сферу. Причем она будет тем вероятнее, чем более акцентирована сексуальность в поведении и внешности женщины. Таким образом, нарушение отношения к женщинам может служить диагностическим признаком вероятности проявления сексуальной агрессии».<sup>27</sup> Вторя ей Н. Д. Семенова предлагает практические усовершенствования нашего уголовного законодательства, а именно: в ч. 3 ст. 131 установить ответственность за деяния, совершенные с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшей (потерпевшего), а действующую третью часть поместить под номером 4. При этом по ч. 3 предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до четырнадцати лет (из расчета по максимальной границе: **шесть** за **изнасилование** или насильственные действия сексуального характера и **восемь** – за **вред здоровью**) (выделено мной. – М.М.). При этом: ст. 131, ч. 3 (изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, заражение ВИЧ инфекцией и изнасилование несовершеннолетней) и ст. 132 ч. 3 (насильственные действия сексуального характера, среди них мужеложество, лесбиянство и иные с применением насилия, повлекшие смерть, заражение и т.д.) относятся к категории причинение **средней тяжести вреда здоровью по неосторожности** (выделено мной. – М.М.).<sup>28</sup> Действительно,

---

<sup>26</sup> Сидоренко Ю. И. Антипопсихологические источники насилия и формы их социальной компенсации // Женщины и насилие в условиях общественных изменений: Материалы Рос. науч.-практ. конф. / Под ред. Н. В. Досиной. - Ярославль, 2000. – С. 205-206.

<sup>27</sup> Михайлова О.Ю. Криминальная сексуальная агрессия: теоретико-методологический подход. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 3, 105.

<sup>28</sup> Семенова Н. Д. Ответственность за преступления, связанные с насилием над личностью. – Краснодар, 2002. – С. 99-111.

изнасилование само по себе, хоть оно и признано преступлением против личности (тоже весьма спорный вопрос), все же легализуется только в контексте «вреда здоровью» (такой весьма пронаталистский подход а la Сидоренко), а то кто же, собственно, будет заботиться об увеличении человеческих ресурсов?

К сожалению, литература кризисных центров также не свободна от весьма распространенных стереотипов. Л. Кочкаева, психолог Пермского кризисного центра, так классифицирует жертв сексуального насилия: 1) те, кто ведет себя легкомысленно, неосознанно провоцируя сексуальное поведение преступника (девушка любит случайные знакомства, демонстрирует при общении придуманную ею сексуальную опытность); 2) девушки, которые сознательно провоцируют сексуальную агрессию преступника, считая, что в последний момент смогут легко выйти из сложившейся ситуации; 3) случайные жертвы. Далее, предлагая пути выхода из сложившейся ситуации, она замечает: «На Западе движение феминисток стало мировым вариантом убежища от насилия, безысходности, от любых отношений с мужчинами. К сожалению, оно противостоит не только насилию, но и мужчинам вообще. Работающая феминистская концепция: есть место, где женщины скрываются от насильников, где встречаются претерпевшие насилие и вместе вырабатывают действия против мужчин. Женщины обучаются физическим приемам защиты, чтобы защитить себя от мужчин. Здесь идет общение, завязывается дружба, решаются проблемы одиночества (например, через лесбиянство), проходят встречи со специалистами-психологами (для повышения самооценки) и т.д. Психология и менталитет россиян имеют иные исторические корни сложившихся отношений мужчины женщины, где события инквизиции и рабства не закрепились в глубинах бессознательной русской души».<sup>29</sup> А что же закрепились в глубинах бессознательной русской души? Ответ прост: скромность и достоинство, присущие пушкинской Татьяне, регулярное чтение Библии, послушание и духовность. То есть те женщины, которые не желают подвергнуться сексуальному насилию, должны вести себя соответствующим образом, ответственность ложиться на них, потому как с мужчинами все понятно, всего лишь один человек участвует в самом акте сексуального насилия и человек этот – женщина.

Одна из причин такого положения дел напрашивается сама собой: во всех вышеприведенных отрывках мы сразу же замечаем не просто игнорирование аналитического уровня осмысления проблемы, но феномен отсутствия языка. Криминология имеет свой четкий инструментарий для определения изнасилования и иных действий сексуального характера, который часто становится исключительно эротизированным в своей детализации

---

<sup>29</sup> Кочкаева Л. Сексуальные игры и жертвы в интерьере насилия (виктимность и случай) // Виктимность и сексуальное насилие. – Пермь, 2001. – С. 21, 24.

описаний. Многочисленные книги Антоняна о сексуальных преступниках и патологиях наполнены описанием мельчайших подробностей и деталей (по нашим подсчетам, эти подробности составляют от 70 до 85% всего текста<sup>30</sup>). С этим тесно связано и место, отводимое сексуальному насилию в криминологическом и культурном пространстве: сексуальная патология, агрессия, психические расстройства, маньяки – вот акторы это ужасного преступления. Художественная литература, единственный, пожалуй, вид литературы вне криминологии, где мы встречаемся с сексуальным насилием, также изображает насильника как человека неполноценного, ненормального, начавшего с насилия свою преступную карьеру, но везде – это тип насильника «из кустов», то есть незнакомого посягателя, чьей целью все же остается удовлетворение патологической сексуальности. Такого рода идеи совершенно не вдохновляют на изучение истории данного явления.

Не последнее влияние оказывает и проблема формирования новой национальной и тесно связанной с нею гендерной идентичности, заключающейся в попытке вернуться к традиционному имперскому маскулинному образцу, попытке соединить *российский имперской* образ русскости и *советский имперский* конструкт человека (=мужчины), вернуть отношение к России-матери как к женщине-жертве, «изнасиленной» печенегами, татарами, Наполеоном, белыми/красными, Сталиным, нами самими (в смысле мужчинами). Попытка защитить женщин связана с рассказами об ужасах эмансипации: здесь всплывает дискурс *игры по правилам*: либо вы женщины, милые, пассивные, слабые и непорочные и тогда изнасилование – это преступление и довольно чудовищное, то есть исключительно порицаемое деяние, либо вы – эмансипированные, независимые феминистки, и тогда насилие – это то, как мужчина может получить свой секс, *ведь вы же сами этого хотели*, стать как *мы* (мужчины), грязными животными, а у нас все решается силой. Вспомним риторику СМИ и частые высказывания людей в телевизионных интервью по поводу Беслана: самых незащищенных, женщин и детей... Вспомним лозунги на Дворцовой и Красной площадях: Россию не победить... – некий момент национального единения против терроризма, как и против фашизма, против Наполеона, против тевтонских рыцарей, против татар, печенегов и других... В этом национальном единении не может быть голоса критики, нельзя говорить о специфике самого акта захвата женщин с иной позиции нежели «наше будущее», а будущее – это генофонд.

История сексуального насилия, с идеологической точки зрения, является весьма опасным полем, так как неизменно приводит к формулированию тезиса о том, что сексуальное насилие – явление социокультурное, а не природное, что «изнасилование» - это

---

<sup>30</sup> Сексуальные преступники: Сб. ст / Под ред. Ю.М. Антонян - М., 1992; Антонян, Ю.М., Позднякова, С.П. Сексуальные преступления лиц с психическими аномалиями и их предупреждение: Учеб. пособие. - М., 1991.

культурный и идеологический конструкт, базисный элемент патриархатного общества. Современные исследователи выдвигают два основных определения сексуального насилия: в первом случае насилие выступает как общий феномен, одним из аспектов которого является сексуальное насилие, во втором случае – любое насилие есть гендерный феномен существующий в контексте патриархатных общественных отношений<sup>31</sup> и поэтому насилие всегда является сексуализированным, даже если эксплицитно полового акта и не наблюдается.<sup>32</sup> В этом смысле мужское сексуальное насилие означает: «насилие, происходящее дома, на рабочем месте или на улице; насилие, включающее расизм, гомофобию, ксенофобию и другие предрассудки; насилие на международном и глобальном уровне, включая торговлю женщинами и насилие против женщин в военное время»<sup>33</sup>. Приведенная выше цитата обращает внимание на два момента: на поведение мужчин как группы и на вопрос о том, кому выгодно сексуальное насилие. Для тех, кто придерживается «сексуализированного» определения, эти два момента тесно связаны: именно мужчины как группа и получают выгоду от сексуального насилия или угрозы оным, даже если они прямо и не участвуют, и вне зависимости от их социального положения. Так классовая или расовая принадлежность женщины не защищает ее от сексуального насилия. Другими словами, государство решает, что является насилием, а что нет, поддерживая право мужчин нападать на женщин<sup>34</sup>. Для тех, кто считает «насилие» определенным физическим действием вопрос «кому это выгодно» не связан с проблемами дефиниции, то есть возникает возможность порицания изнасилования, например, в качестве военного преступления и поддерживать обвинения против преступников, но это не означает вывода о поведении мужчин в качестве группы. В этом случае, мужчинам это не выгодно, наоборот, они даже могут косвенно пострадать, ибо насильственные действия могут осуществляться против женщин – членов их семей<sup>35</sup>. Тем не менее, данные идеи упускают суть проблемы: сексуальное насилие и по сей день является преимущественно мужским, даже насильственные действия сексуального характера, совершаемые женщинами, все равно маскулинизируются как в дискурсе, так и на практике, что приводит сторонников теории «сексуализированного насилия» к выделению мужского насилия в качестве главного фактора при формировании категорий фемининности и маскулинности; К. Корин считает, что мужское насилие становится принципиальной и даже

---

<sup>31</sup> См.: Kelly, L. *Surviving Sexual Violence* (Cambridge, Polity Press, 1988).

<sup>32</sup> Radford, J., Kelly, L. And Hester, M. 'Introduction', in: Hester, M., Kelly, L., Radford, J. (eds.) *Women, Violence and Male Power* (Milton Keynes: Open UP, 1996), p. 3.

<sup>33</sup> Corrin, C. 'Introduction', in E. Corrin (ed.), *Women in a Violent World Feminist Analyses and Resistance Across 'Europe'* (Edinburgh, UP, 1996), p. 1.

<sup>34</sup> Maynard, M. and J. Wynn, 'Women, Violence and Male Power,' in: V. Robinson and D. Richardson (eds.), *Introducing Women's Studies* (London, Macmillan, 1997), p. 178.

<sup>35</sup> См., например: Davis, A., *Women, Race and Class* (London, Women's Press, 1982).

ключевой характеристикой подчинения женщин в разных обществах и исторических ситуациях, укрепляя патриархат.

Разберем для примера кратко одно дело, о котором упоминают Ева Левина и Дэвид Кайзер – дело девицы Марьицы с обвинением Максима Скрипина, посадского муромского человека, в насилии и грабеже.<sup>36</sup> В челобитной от 26 декабря 1691 года Марьица утверждает следующее: что Максим Андреев, сын Скрипин в пустой улице, которая находится промеж Выпозовой и Дмитревской улиц, ее изнасиловал и грабежом забрал у нее всякого товару на пять рублей. Просит Марьица «его Максима в Муроме на своем архирейском дворе поставить и против сего моего челобития допросить». Спустя всего неделю 2 января 1692 года<sup>37</sup> в Муроме на митрополичьем дворе Максим Скрипин был допрошен и вину свою отрицал: «ее девки Марицы блудом не насиловал и грабежом де всякого товара на пять рублей у ней Марицы не имывал». 21 января 1692 года в присутствии архимандрита Аврамия и поповского старосты попа Ивана состоялась очная ставка девки Марьицы и Максима Скрипина. Марьица стояла на своем, указав имена свидетелей – Оськи Кузьмина (работника Муромского посадского человека Якушки Жадина) и соседки посадского человека Сенки Плотника, чьего имени и чья она дочь Марьица не знает. Скрипин сразу же объяснил, что с Оськой у него давняя соседская вражда, а соседки он не знает, поэтому на них, как на свидетелей ссылаться не будет, но факт насилия и умыкания товара отрицал. 23 января (тоже довольно оперативно) были допрошены и указанные Марьицей свидетели по делу: Маланьица Алексеева, дочь Соболева (соседка Семена Плотникова) и Оська Кузьмин, работник Якушки Жадина. Маланьица Алексеева показала, что в тот день услышала крик, вышла на улицу и девку кричавшую увидела, а та ей сказала, что ее изнасиловали и товар отобрали, но кто не сказала, самого же насильника Маланьица не видала. Оська Кузьмин показал, что видел, как Максим Скрипин шел за Марьицей по Выпозовой улице, куда шли они он не знает, но спустя некоторое время та девка прибежала к нему и спрашивала имя того, что шел за ней, и сказала, что он ее изнасиловал и товар отнял. К сожалению, нет сведений о решении этого дела, во всяком случае нет их в источнике, что может означать несколько предположений: либо дело решено не было, либо утрачена часть источника, либо эти сведения могут сдержаться в отдельном источнике, нам пока не известном. Тем не менее, дело очень интересное, позволяющее на сделать несколько выводов.

Насилие совершенно очевидно состоялось. Причем нам сегодня это очевидно именно благодаря тому, как составлен протокол: с соблюдением необходимой формы, кратко с

---

<sup>36</sup> Текст приводится по: Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край / Под ред. С. И. Коткова. – М., 1984. – С. 213-214.

<sup>37</sup> Даты даны по современному календарю: в челобитной так и есть 7200 (сентябрьский) год.

указанием основных деталей, характеризующих состав преступления, с четким показанием свидетелей, и даже то, что нет окончательного приговора или заключения по делу, свидетельствует о его предельной ясности. По сравнению с делом, содержащимся в том же издании, о блудном поведении попа Никифора и женки Феколки Никитиной на 18 листах, где Феколке явно не доверяют с самого начала, для чего устраивается несколько очных ставок с попом, опрашивается огромное количество свидетелей, детально описываются все факты блуда и насилья, опять же речь заходит в конечном итоге о краже попом денег<sup>38</sup>, дело Марьицы верное.

Челобитная девки Марьицы записана с ее слов, также и все остальные показания – Скрипина и свидетелей. То есть перед нами документ совершенно определенного характера: челобитная, затем идет поручительство, запись допросов и очной ставки, запись о допросе свидетелей – судебные дела, которые имеют свою собственную форму, предполагающую определенное содержание. То есть мы не можем ожидать от документа иных сведений, нежели в нем содержатся. Тем не мене, уже имеющейся информации достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. Начнем с анализа тех, кто записывал показания: на челобитной Марьицы значится Мурома посада церковный дьячок Ивашка, на записях очной ставки – Муромской соборной церкви дьячок Андрюшка Харитонов, показания Маланьицы Алексеевой записал Муромской соборной церкви дьячок Андрюшка Протодяков. Показания Скрипина записаны попом Куприяном, обязанность явиться к суду подписал мурома посада великого чудотворца Николая Мокрого поп Андрей, на очной ставке показания записаны Муромской соборной церкви дьячком Андрюшкой Яковлевым, показания Оськи Кузьмина засвидетельствованы Дмитриевским диаконом Петром, а на поручительской записи стоит подпись подьячего Сенки Салтанова. Очень красноречиво такой «подбор персонала» говорит сам за себя: за мужскими показаниями стоят более солидные фигуры, что должно придавать им определенный вес, хотя в показаниях Марьицы никто, похоже, не сомневается. Более того, архимандрит, заслушав показания Максима Скрипина, отдает приказ не покидать город, чтобы в любой момент быть готовым явиться к духовному суду, в результате чего Максима берут на поруки муромские посадские люди – Алексей Скрипин, его сын Тимофей Скрипин (то есть отец и брат Максима) и Емельян Милованов, они же обязуются в случае не выполнения обещания Максимом заплатить штраф. Скрипин, таким образом, предстает перед архимандритом на очной ставке.

Показания Скрипина вроде логичны, как и показания попа Никифора в упомянутом нами деле, - то есть он все отрицает: основная идея не насильничал и не крал, а Марьица его

---

<sup>38</sup> См.: Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край / Под ред. С. И. Коткова. – М., 1984. – С. 205-209.

«поклепала напрасно». Но в отличие от попа Никифора, который отвечает на своем допросе и своей очной ставке по существу, ровно и логично, Скрипин на очной ставке сразу же пытается очернить свидетеля – Оську Кузьмина, с кем «у него всегда соседская живет ссора и бран всякая», чтобы предварительно дискредитировать его показания, а соседки Сенкиной он также не знает, потому свидетелей у него нет. К тому же Скрипин не доверяет и показаниям Марьицы: «напрасно девка Марьица шлетца сверх тех ссылак на свою и на его кожу Максимка Скрыпин против ее ссылки на свою и на ее кожу слался жъ». То есть Марьица утверждает, что сопротивлялась, что также Скрипин отрицает. Тем не менее, оба свидетеля подтверждают показания Марьицы. Маланьица говорит о том, что «рожа де у нее иззадрана и в снеге вывалена», в совокупности с криками – это подтверждает факт сопротивления. Показания Оськи Кузьмина весьма точны: девка Марьица ему «попалась» напротив Василия Ребинина двора, а Максимка – напротив Василя Глотова двора, за ней шел. Все указывает на то, что Скрипин в изнасиловании виновен.

Но здесь встает другой вопрос: о грабеже. Марьица также утверждает, что у нее Максимка забрал товару на пять рублей (весьма весомая сумма), но и самая минимальная в делопроизводстве Соборного Уложения. Здесь, как раз, не все ясно. Оська Кузьмин говорит о том, что он видел у девки товару только «очеля и сороки», Маланьица говорит, что когда прибежала девка, то «видала на ней кузов да три очелеица». Скрипин везде повторяет, что не насильничал и товару на пять рублей не изымал. Но Марьица с самого начала, судя по свидетельским показаниям, стояла на том, что и изнасиловал и товар забрал, то есть совершил двойное преступление. Надо отметить, что не только Марьица это делает. Феолка в деле с попом Никифором, отчаявшись доказать насилие, начинает говорить о деньгах, которые тот у нее отобрал (тут еще всплывает фигура приказного Сеньки Иванова, который ей это и присоветовал). Во многих, проанализированных нами делах, изнасилование указывается как одно из преступлений, чаще всего к нему добавляются грабеж и побои. Это и показывает шаткость самого обвинения в изнасиловании: поскольку разбирательство идет в церковном суде, а изнасилование есть преступление против нравственности, то и наказание будет соответствующим. Здесь просматривается попытка криминализации изнасилования, то есть вывода преступления в область действия уголовного права хотя бы посредством добавления чисто уголовных преступлений. П. Р. Сендей в своей книге об истории такого вида сексуального насилия, как насилие со стороны партнера или знакомого, указывала, что в Новой Англии XVII века, когда пуритане рассматривали дела об изнасилованиях, относительная мягкость наказания (секли розгами плюс духовное внушение) способствовала высокому уровню появления этих преступлений в суде, а также лояльному отношению судей

к показаниям потерпевшей<sup>39</sup>. В российской практике XVII века, когда изнасилование также подлежало рассмотрению церковного суда, наказание могло быть и отправкой в монастырь (как в случае со Степаном Коробыным и Оской Попопым<sup>40</sup>), и сечение кнутом, и выплату определенной компенсации пострадавшей, но не смертная казнь в отличие от Англии XVII в., где такое преступление являлось уголовным, подлежало юрисдикции светского уголовного суда и наказывалось смертной казнью в случае виновности подозреваемого. В Англии власти были весьма подозрительны и недоверчивы по отношению к показаниям женщин, мало дел заканчивалось действительным обвинением, если это и происходило, что чаще всего не из-за доказуемости или позорности самого преступления, сколько по иным, часто политическим причинам<sup>41</sup>. Попытка криминализации здесь означает желание справедливого возмездия, казавшегося необходимым за такие «мерзкие» преступления, но кажущаяся лояльность властей по отношению к женщине и рассмотрение дел об изнасиловании в контексте Московского государства XVII в. выглядит не так толерантно, как это попытался показать Д. Кайзер в своей статье<sup>42</sup>. Включение сопряженных преступлений и установление за них более сурового наказания приводило к осознанию преступником истинного отношения к сексуальному насилию не как действительно уголовному преступлению против личности, но как нравственному проступку, исправить который можно было посредством нахождения в монастыре или претерпев унизительную, но вполне переносимую процедуру порки. Когда речь заходила о татбе или разбое на кон оказывалось гораздо большее, нежели нравственность: жизнь. Оська Попов, изнасиловавший «до смерти» 13-летнюю нищенку Феклу в 1689 году, был по челобитью освобожден из монастыря и отдан своему отцу в обмен на выплату денег потерпевшей (что с ней стало мы не знаем)<sup>43</sup>. Сын боярский Дмитрий Рахманинов, изнасиловавший в 1685 году девку думского дворянина Телепнева Устюшку, был освобожден от начального приговора ссылки на поруки и отправлен в полк<sup>44</sup>. Огромное

---

<sup>39</sup> Sanday P. R. *A Woman Scorned. Acquaintance Rape on Trial* (Berkeley-Los-Angeles-London, University of California Press, 1997), pp. 72-76. См. нашу рецензию на эту книгу: Муравьева М. Г. Рецензия на книгу Peggy R. Sanday. *A Woman Scorned: Acquaintance Rape on Trial* (University of California Press 1997) // Гендерные исследования, - 2002. - № 6. - С. 339-345.

<sup>40</sup> ПСЗ. Т. II. № 1266; Акты Холмогорской и Устюжской епархий, № 199 // Русская историческая библиотека. - СПб., 1890. - Т. 12. - С. 948-954.

<sup>41</sup> Знаменитое дело графа Каслхейвена об изнасиловании собственной жены и гомосексуальных связях со слугами закончилось смертным приговором для графа, что было весьма сурово и необычно, учитывая социальное положение и пэрский иммунитет. См. об этом: Муравьева М. Г. «Патриарх у себя дома»: Дело графа Каслхейвена о содомии и изнасиловании (1630) // Герценовские чтения. 2003. Актуальные проблемы социальных наук. - СПб., 2003. - С. 108-110; Herrup, Cynthia B. *A House in Gross Disorder: Sex, Law, and the 2nd Earl of Castlehaven* (New York; Oxford: Oxford University Press, 1999); Herrup, Cynthia B. 'The Patriarch at Home: the Trial of the Second Earl of Castlehaven for Rape and Sodom', *History Workshop Journal* 41 (1996): 1-18.

<sup>42</sup> Кайзер Д. «Он сказал, она сказала»: изнасилование и гендерный дискурс в России раннего модерна // Социальная история. Ежегодник, 2003. Женская и гендерная история / Под ред. Н. Л. Пушкаревой. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. - С. 249-268.

<sup>43</sup> Акты Холмогорской и Устюжской епархий, с. 954.

<sup>44</sup> ПСЗ. Т. II. С. 672.

количество изнасилований так и осталось безнаказанным. Некий Пантелеймон в своей духовной пишет следующее: «Крестьян моих и крестьянок, чем кого оскорбил в своей кручине, лаею и ударом и продажею по вине и не по воле, во всем пред ними виноват...также и сирот моих, кои мне служили, мужей их и жен и вдов и детей, чем будет оскорбил в своей кручине, боем по вине и не по вине, и к *женам их и ко вдовам насильством, девственным растлением*, (курсив мой. – М.М.) а иных есьми грехом своим и смерти предал и пред ними виноват»<sup>45</sup>.

Сексуальное насилие и конкретно преступление изнасилование прекрасно отражает двойственную политику государства и отношение общества к насильственной сексуальности, а также к границам и запретам, налагающимися на сексуализированное тело. Дихотомия частного и публичного, борьба за обладание телом, борьба за власть и контроль над телом выливаются в априорно санкционированное сексуальное насилие, формально порицаемое, но фактически конструируемое в качестве неизбежной нормы существования патриархатного общества. И цивилизация (Н. Элиас) и дисциплина (М Фуко) достаточно точно определяют пограничный район функционирования сексуального насилия, расположенный не горизонтально, но вертикально, в самом сердце пирамиды власти.

---

<sup>45</sup> Духовная Пантелеймона 1621 г. // Калачев Н. Акты, относящиеся до юридического быта Древней Руси. – СПб., 1864. – Т. 2. – С. 558.

## **ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ «ГЕНДЕРА»**

Некоторую провокативность названию моей статьи придала полемика с Сергеем Ушакиным, суть которой я изложила в сборнике «Общество и гендер»<sup>1</sup>. Я очень признательна ему за то, что его провокация удалась, заставив меня ещё раз обратиться к набившему оскомину, как некоторым кажется, вопросу о понятии «гендер» и его использованию в отечественном дискурсе. Причин для этого несколько. Положение с гендерными исследованиями в сегодняшней России явно отстаёт от их положения на Западе. Но это отставание имеет своим положительным следствием то, что мы можем не наступать на опрокинутые грабли дважды: попытаться избежать ошибок наших предшественниц. В данном случае я имею в виду абсолютизацию некоторых подходов к пониманию гендера, которые сложились на разных этапах развития гендерных исследований на Западе. В чём заключается методологическая (также как политическая) продуктивность таких толкований гендера, и в чём их ограниченность? Каковы современные интерпретации этого термина? И наконец( что самое важное), какие интерпретации различий между полами важны для будущего?

Как и следует ожидать, во многом именно от понятия «гендер» зависит направление самих гендерных исследований, их положение в системе современного научного знания и их влияние на конструирование реального гендерного порядка, а именно - отношений между полами и внутри самих полов. Вот почему мою статью более точно можно было бы назвать «Об историчности понятия «гендер», его пределах и его связи с российским контекстом».

Другим важным моментом для моего обращения к анализу «гендера» является попытка ещё раз проверить себя как представителя отечественного гендерного сообщества в логичности и научной аккуратности, связанной с использованием понятия «гендер» в своих исследованиях. Исследователям и исследовательницам в области гендерных исследований приходится доказывать право на существование гендерных исследований как научных. Определённые достижения уже, безусловно, имеются. Причиной тому была сложившаяся социально- политическая ситуация в стране, известная свобода передвижения учёных, в чём немалая заслуга грантовой поддержки со стороны благотворительных организаций Запада, а также доступ к базам данных западных университетов и библиотек как напрямую, так и через Интернет. Но ситуация, как и положено ситуации, изменилась. Отечественное гендерное сообщество, во –первых, должно теперь уже стоять на своих ногах, и во-вторых, скажем –

соответствовать научному сообществу России. Отечественные гендерные исследования должны приобретать научную респектабельность у себя дома. А для этого нужно определяться с терминологией. Судя по вышедшим за последние пятнадцать лет исследованиям и учебным пособиям, сочинять полностью «русский гендер» мы не будем. Речь пойдёт о гендере по- русски. Делая понятие «гендер» родовым понятием в пространстве гендерных исследований, мы тем не менее должны будем работать и с видовым понятием «гендера по-русски», отражающим специфику гендерной системы и гендерного порядка, но и гендерной социализации и гендерной символизации, конструирующим онтологию гендера. Чёткость в понимании гендера и других категорий гендерных исследований в целях приобретения академической респектабельности понадобится нам ещё и потому, что отношение к ним остаётся, мягко говоря, не серьёзным. Ирония, чаще – дискредитация – сопутствуют вхождению гендерных курсов в учебные программы вузов. И хотя достаточно часто самим аргументам и доказательству, к которым прибегают наши оппоненты, не достаёт ни достоверности, ни логической последовательности, гендеристкам отсылки к ложным аргументам и ошибкам в рассуждении они не простят, а сделают аргументом в свою пользу.

Приведу пример из своего опыта продвижения гендерных курсов в Рязанском педагогическом университете. В интервью по поводу своего шестидесятилетия заведующий кафедрой философии, рассуждая о росте гражданских браков в мире, и в том числе в России, говорит: «И тут мы подходим к понятию гендерной философии – философии взаимодействия полов, известным её проявлением является феминизм. *Феминистские тенденции раскрепощения женщин и дают основания для существования гражданских браков* (выделено мною –Н.Б.). Такие браки будут в той степени получать индульгенцию в обществе, в какой женщины будут воспринимать феминистскую философию как своё мировоззрение. К сожалению, эта сорная трава занесена на нашу русскую почву"<sup>2</sup>. На реплику журналиста, бравшего интервью: «Но, согласитесь, часто и мужчина – инициатор заключения гражданского брака, ему «так удобнее», - полковник в отставке, много лет проработавший в военном вузе, ради соблюдения формальной вежливости отвечает, что огульно обвинять женщин он не намерен.

Согласитесь, что возникает несколько вопросов, как по использованию терминологии уважаемым юбиляром, так и выстраиванию аргументации. Считать философию (пусть даже «гендерную») и феминистское мировоззрение причиной гражданских браков, это закрывать глаза на социально-экономическую, культурную ситуацию в стране, с одной стороны, а с другой стороны, явно переоценивать образованность нашей молодёжи, девушек в данном случае, и их знакомство с феминизмом как теорией. Я смею предположить, зная юбиляра не

первый год, что это реакция на продвижение курсов «Гендер и СМИ», «Гендерные аспекты политики», «Введение в гендерные исследования» на различных факультетах нашего вуза.

Но одно дело, если спорят с личностями, а не с аргументами, и другое дело, если речь заходит о категориальном аппарате гендерных исследований. И было бы не лишним работать на опережение и не давать повода для серьёзной критики методологического инструментария, каким он сложился на сегодняшний день в международном сообществе и как этот инструментарий используется в нашей стране.

Волнует и другое. Наше гендерное сообщество, хочется нам это признать, или нет, расколото на «практиков» и «теоретиков». «Практики» чаще всего не хотят слышать «демонстрирующих свой ум» «теоретиков», рассуждающих на некоем «птичьем языке», а «теоретиков» не очень волнуют проблемы «практиков», занятых выборами, кризисными центрами и благотворительностью, или тем, как выжить НКО.

Таким образом, я хотела бы обозначить две болевые точки теории «гендера по-русски» - во-первых, *некоторый* сепаратизм гендерных исследований от университетской науки, когда гендерное и академическое сообщество существуют параллельно, не нуждаясь друг в друге; во-вторых, *полный* сепаратизм, связанный с не прояснённой идеологических и политических следствий, вытекающих из рационалистической игры с абстракциями по поводу гендера, а именно какие практические вопросы необходимо решать— кому и зачем это нужно?

\*\*\*

Понятие «гендер» как аналитическая категория выделилось из лингвистического дискурса в конце 60-х годов XX столетия, и первоначально принадлежало не феминизму, а эндокринологии и психоанализу. Центральной категорией анализа культуры и общества, однако, оно стало именно в феминизме. Задачи женского и феминистского движения этого времени, а также состояние теории феминизма вполне удовлетворялось пониманием гендера как социальнокультурного конструкта, основывающегося на различении биологического пола на женский и мужской. Пол поделился на данный от природы биологический и конструируемый обществом социальнокультурный (гендер). Превалирующей тенденцией в понимании различий между полами на протяжении 70-80 годов была тенденция, преувеличивающая роль гендера в различиях между полами по сравнению с биологическим полом и стремление сделать природные различия полов минимальными. Аргументация выстраивалась таким образом, чтобы продемонстрировать, что тело и его функционирование формируются культурой и обществом и зависят от взаимодействия с ними. Гендер *заключал в себе* биологический пол, и даже сводил на нет роль биологического пола, а в конечном итоге

делал последний не нужным для самих гендерных исследований. Элиминация биологического и преувеличение социального и культурного было усилено лингвистическим поворотом в общественных и гуманитарных науках, стиравшим грань между «словами» и «вещами».

Такое понимание гендера сыграло позитивную роль в разграничении биологического и социальнокультурного в конструировании гендерной идентичности, что и было первоочередной задачей феминистской теории 70-80 годов. Революционизирующий запал гендерного концепта был очевиден. Но стали выявляться противоречия и трудности для дальнейшего осмысления как различий между полами, так и различий внутри самих полов.

Выявились две тенденции в толковании взаимодействия пола и гендера. Одна тенденция трактовала биологические различия как лежащие *за пределами* культуры и общества, другая исходила из того, что поло/гендерные различия лежат *внутри* самой культуры. (При этом понятию «[биологический] пол» приписывалась концептуальная неизменность и историческая инвариантность. Изменчивость признавалась свойством конструируемого гендера.) Вторая тенденция в большей мере была характерна для лесбийского дискурса.

Следующим шагом в осмыслении понятия гендера стало сомнение в том, что гендерная идентичность имеет всего две ипостаси – маскулинную и фемининную. Такое сомнение появилось в ответ на «открытие» того факта, что гендерная идентичность формируется не параллельно, а *внутри* и *через* расовую, классовую, этническую и национальную принадлежность. Биологический пол стал пониматься как *один из ряда* факторов, влияющих на конструирование фемининности и/или маскулинности. «Гендер» попал в ловушку пролиферации, «гендеров» стало много<sup>3</sup>. В своём идеологическом и политическом значении такое понимание гендера закономерно, поскольку явилось реакцией на осознание существования в (западном) обществе *не женщины per se, а женщин* и заставило говорить о феминизме различия.

Вопросы к различению пола и гендера накапливались и привели к чёткому формулированию двух различных точек зрения. Представители одной из них настаивали на необходимости поло/гендерного деления, другие выступали за разрушение такого разделения<sup>4</sup>. Люси Иригарэ сделала в 1974 году попытку заменить разделение пола и гендера понятием «морфологии», что нашло поддержку у ряда видных теоретиков феминизма (Мойры Гейтенс и Елизабет Гросс)<sup>5</sup> в концепции телесного феминизма (*corporeal feminism*).

Задача теоретиков феминизма на современном этапе заключается собственно в том, чтобы разобраться – какие различия между полами заданы от природы и в какой мере они являются неизменными, как, например, разница репродуктивных способностей, а какие

формируются обществом и культурой. Осмысление этой проблемы как бы возвращает нас к той точке, откуда и начинались феминистские и позже гендерные исследования. Но это уже исследование на новом витке развития, переход от абстрактной идеи различения биологического и социального в формировании половой (или гендерной) идентичности индивида, к конкретному рассмотрению формирования такой идентичности и вытекающих из этого последствий, в частности, в виде организации гендерной системы, пронизывающей все сегменты общества. И тут задача гендерных исследований как междисциплинарных исследований велика, поскольку необходимо обратиться к данным современного естествознания, перейти от понимания гендерных исследований исключительно как гуманитарного и общественного (в узком смысле) научного знания к комплексному, включающему как общественно-гуманитарное, так и естественнонаучное, исследованию различия полов.

Мне кажется, что именно о таком направлении исследования поло/гендерной системы говорила Джоан Скотт, когда назвала в докладе «Фантазии [на тему] тысячелетия: будущее “гендера” в XXI веке» (2000 г.) свой основной тезис «кошмарным сценарием, в котором биологический детерминизм вновь возвращается, чтобы управлять гендером»<sup>6</sup>.

Давайте посмотрим на доводы, которые приводит Джоан Скотт в поддержку своего «кошмарного» тезиса, и на то, как надо понимать её тезис. Сразу надо отметить, что Скотт не собирается зачеркивать ту положительную роль, которую сыграл термин «гендер» в западной науке и культуре 70-80-х годов XX столетия. По мнению Скотт, использование понятия «гендер» ещё несёт критический и позитивный для феминисток смысл до сих пор. В пользу этого говорит хотя бы то, какие обвинения в адрес гендеристок прозвучали в докладе подкомитета Палаты представителей США накануне 4-ой Всемирной конференции ООН по положению женщин (1995 г.) Докладчики призывали официально не финансировать делегацию, возглавляемую первой леди США Хилари Клинтон, на том основании, что «гендер» несёт в себе разрушительные для морали и семьи ценности, а феминистки открыто признают, что социально конструируемые роли мужчин и женщин не зависят от природы и подлежат изменению<sup>7</sup>.

Джоан Скотт признаёт особую роль «гендера» в пост-советском пространстве и всюду, где вторжение феминизма в область политики и влияние на академическое сообщество были незначительными. Особенно это касается тех стран и культур, в языке которых не существует точного перевода слова «гендер». В таком случае категория «гендер» способна опровергнуть решение целого ряда проблем, обсуждаемых как в среде самих феминисток, так и между феминистками и их союзниками и/или врагами. Среди этих проблем – проблема природной и культурной детерминации различий между полами, а также

проблема теоретического влияния западной мысли. Но самым важным является то, что теория гендера в отличие от феминизма политически не ангажирована, и потому способна привлечь своей нейтральностью и гарантировать этой области социального знания академическую респектабельность<sup>8</sup>.

Что же не устраивает Джоан Скотт в категории «гендер» на современном этапе исследования различий между полами? Главных причин, по мысли Скотт, две. Первая причина заключается в том, что «гендер» перестаёт быть критической категорией для западного сообщества, для международных организаций со штаб-квартирами в США, и конкретно для США. Расхожей трактовкой понятия «гендер» стало такое его отождествление с различием между полами, которое понимается одновременно и как приписываемое и как «естественное».<sup>9</sup> Такое расширительное, включающее противоположные возможности, понимание гендера коренится, по мнению Скотт, не только в консервативных тенденциях трактовки гендера, присущих современному международному и американскому сообществам, проявившимся в 90-е годы, но и в концептуальном различии пола и гендера, при котором пол понимается как нечто «естественное», и следовательно неизменное (неисторическое), гендер – как изменчивое, конструируемое исторически. Судя по международным документам, гендерными называют или вопросы, касающиеся женщин или полов, или отношения между полами. Пол и гендер понимаются то как синонимы, то как противоположности. Но и то, и другое не позволяет идти дальше. Так, использование термина «гендер» подразумевает явное отрицание того, что термины «мужчины» и «женщины» являются исторически изменчивыми категориями. Вот почему, продолжает Скотт, она всё чаще предпочитает говорить о *половых различиях*, используя термин французского феминизма, в котором не предполагается фиксируемых различий, а исследуется процесс различия, и о *биологическом поле* как исторически изменяющемся концепте.

Второй основной причиной критического отношения к «гендеру» для Джоан Скотт является неспособность данного понятия противостоять современным вызовам, предъявляемым научным знанием. Под «научным знанием» Скотт имеет в виду прежде всего эволюционную психологию, наследующую идеи социобиологии 70-х<sup>10</sup>. По мнению Скотт, то, что в 70-80-е рассматривалось как достоинство гендера, а именно – его независимость от биологического пола, теперь обернулось его слабостью<sup>11</sup>. Представители эволюционной психологии выводят различия в поведении и эмоциональных проявлениях мужчин и женщин из особенностей их репродуктивных функций.

Успехи современного естествознания бросили вызов самой теории репродукции, точнее тем видам репродукции, которые человечество знало до сих пор. Обсуждение

проблемы различия полов становится всё более острым, потому что самой идее патриархата бросается очередной и очень мощный вызов. И надо ожидать, патриархат своих позиций просто так не сдаст<sup>12</sup>. И если оставить изучение проблем, касающихся биологического пола, естественной науке, а проблемы социальнокультурных различий мужчин и женщин - гендерным исследованиям, позиционирующим себя областью гуманитарного и социального знания, то расхождение между феминизмом и гендерными исследованиями, с одной стороны, и естественнонаучным знанием (наукой), с другой стороны, только усилится. Если исходить из положения, характерного для 70-80 гг., что гендер формирует наше понимание пола, то неизбежно возникает ряд затруднений. На них и указывает Джоан Скотт.

Введение в оборот понятия «гендер» не спасло обыденное сознание от постоянного смешения двух понятий –пол и гендер. Эти термины то понимаются как синонимы, то как противоположности. Иногда кажется, замечает Скотт, что гендер является вежливым замещением (эвфемизмом) для понятия «пол». Даже академические издания допускают отождествление гендера и женщин. Таким образом, та цель, которая ставилась при введении в оборот понятия «гендер», едва ли достигнута и для массового сознания, и для научного сообщества. Такое смешение двух понятий симптоматично в отношении ряда проблем, проистекающих из различения пола и гендера – а именно, различия природы и культуры, тела и сознания. В каждом из этих случаев, «природа» понимается как нечто, лежащее за пределами человеческого осмысления; это то, что мы должны познать, а не то, что создаётся нашим знанием. Если гендером является наше осмысление тела, то само тело не может быть до конца понято в терминах социального конструирования. Вполне закономерен вопрос о том, каков *материал* конструирования. Гендер не может полностью заместить физический пол в наших дискуссиях о половых различиях. Объясняя гендер, мы неизменно должны обращаться к понятию пола. Гендер постоянно зависит от пола, что и ведёт часто к их отождествлению. И то, что кажется концептуальным и терминологическим смешением, на деле является репрезентацией взаимозависимости двух терминов: если пол не до конца является естественным, то и гендер не до конца является социальным<sup>13</sup>.

Вторая причина отсутствия чёткой границы между понятиями «пол» и «гендер» связана с универсалистскими импульсами, идущими как от феминистского политического движения, так и от социальной науки, зародившихся примерно в одно и то же время на рубеже XVIII века. И феминизм, и социальная наука рассматривали женщин как что-то однородное, универсальное для всех времён и народов, в принципе отличное от другого универсального понятия – “мужчины”. Даже если национальные и/или культурные различия признавались, им отводилось вторичное значение по сравнению с асимметричной организацией общества – гендерной системой - при которой мужчины и женщины

принадлежали к разным сферам и выполняли различные роли. Но если гендерная организация общества универсальна, то чем, помимо биологии, можно объяснить эту универсальность? Из этого следует вывод, что природа (пол, тело) и определяет разницу в положении мужчин и женщин. Таким образом, признание теорией гендера первичности существования половых различий, невольно становится синонимом таких различий, и тогда становится не легко поддерживать жёсткое различие понятий «пол» и «гендер». Более того, становится проблематичным проследить влияние исторически меняющегося гендера на физический пол, поскольку биологическое рассматривается не имеющим истории<sup>14</sup>.

Но именно фиксированный характер отношений между полами и отсутствие их истории и является аксиомой эволюционной психологии (сами понятия «эволюции» и «истории» для эволюционной психологии относятся к «закономерным процессам отбора и адаптации» и случайности и контекстуальной специфичности). Эволюционные психологи даже установили тот самый момент, когда время остановилось для развития видов. А именно, когда определились стратегии поведения женских и мужских особей - мужчины в половом партнёрстве ищут количество, а женские особи - качество<sup>15</sup>. На что Скотт замечает, что фантастические сценарии, зафиксировавшие отличительные особенности человека в доисторические времена, тем не менее совершенно не принимают в расчёт столетия, в течение которых менялась окружающая среда и стратегические адаптационные особенности, которые человек мог приобретать. (А в скобках Джоан Скотт замечает, что, то ли по иронии, то ли это было заранее предсказуемо, но именно теперь всё настойчивее звучат голоса в поддержку зависимости социального и сексуального поведения мужчин от их репродуктивных способностей, когда новые технологии грозят сделать мужчин не нужными для акта продолжения рода.)

Теория эволюции, которая рассматривает человеческую деятельность вне временных ограничений, вне истории, не способна принять в расчёт аргументы о культурной конструируемости гендера хотя бы по двум причинам. Первая причина уже была упомянута и заключается в следующем: в то время как гендер рассматривается как исторически изменчивая категория, биологический пол – нет. Вторая причина связана с первой: теории, основывающиеся на идее культурной конструируемости гендера, используемые феминистками для того, чтобы развенчать легитимность науки, зачастую вели к исключению тех аспектов биологического знания, которые могли быть используемы для придания «истории» анатомическому полу.<sup>16</sup> Джоан Скотт полагает, что феминистками были использованы только те аргументы, которые касались социологии науки. Анализировались политики научных дискурсов, которые подрывали идеи социального неравенства между мужчинами и женщинами и делался упор на идее несоответствия определённых

категориальных описаний женщин опытным данным<sup>17</sup>. Однако возможности, которые открывались эпистемологическими основаниями биологического научного знания, феминистками не рассматривались. Были и исключения. Например, Анне Фаусто Стерлинг (*Anne Fausto Sterling*) и Донна Харауэй (*Donna Haraway*) более 15 лет назад предупреждали о последствиях исключения понятия «женщина» из категории природы. Эти последствия заключались в том, что «понимание гендера приобрело тенденцию, ведущую к его изоляции от влияния биологического пола»<sup>18</sup>. Противопоставление социально конструируемого знания научному знанию с его принципами объективности и прозрачности природы прибавило к целому ряду оппозиций, таких как пол/гендер, природа/культура, тело/дух (сознание) ещё одно противопоставление – наука/ феминизм. И хотя результатом стала целая цепочка изменений, приведших к пересмотру традиционных для отношений мужское/женское оппозиций, которые противопоставили сознание и маскулинность биологическому полу и фемининности, но одновременно это способствовало тому, что рассмотрение биологического пола было отдано науке, а категория «женщина» оказалась вне поля научного рассмотрения. В результате феминистки получили возможность ликвидировать политический уклон в утверждениях эволюционных психологов, что биология определяет гендер, но теперь они не могут принимать участие в обсуждении конкретно-научных проблем эволюционной генетики или привлечь исследователей, работающих в этой сфере, для выработки иной позиции.

Наука, как любая форма знания, имеет историю развития. Речь не идёт о социально-политической детерминации знания, речь идёт о логике развития самого научного знания – истории конкурирующих понятий и научных принципов, например, в биологии, это споры о том, что значит «научное объяснение». И тогда оказывается, что использование обыденным сознанием понятий гендера и пола как синонимов, поможет исправить "ошибку", согласно которой пол и природа рассматриваются прозрачными сущностями, находящимися вне культуры. Взамен, обе категории – и гендер и пол – должны быть поняты как взаимосвязанные системы знания. Конечно, достижением противопоставления гендера и пола было то, что анатомический пол тоже рассматривался как форма научного знания, но это противопоставление одновременно преувеличивало роль внешних социальных факторов на формирование различий между полами и преуменьшало роль истории научных идей, имеющей автономный характер, и тоже влияющей на процесс интерпретации этих различий.

Джоан Скотт ссылается на мнение нейро-психолога Элизабет Уилсон (*Elizabeth Wilson*), которая сетует на то, что увлечение «гендером» и слабое внимание к «женщине» не допускало использования данных биологической науки. А между тем, считает она, феминизму следует использовать авторитет науки не только тогда, когда женщина выбирается в качестве объекта изучения, но также и в нейтральных зонах, в которых

феминизму вроде бы нет места, и в тех случаях, когда не видится политического выигрыша<sup>19</sup>. Для Уилсон это означает, что надо заниматься не только проблемами, касающимися различий в когнитивных способностях полов, но исследовать природу познания самого по себе. И тогда, используя данные, например, эволюционной генетики и используя эпигенетический метод исследования Ширли Тилигмэн (*Shirley Tilghman*), можно будет бросить вызов упрощённым представлениям о половых различиях, исходящих из биологического детерминизма.

Сама Джоан Скотт, опираясь на «Историю сексуальности» Мишеля Фуко и «Проект научной психологии» Зигмунда Фрейда, а также используя исследования Элизабет Уилсон, выдвигает идею «индивидуализированной **истории**» для изучения процесса формирования различий между полами. «Наделённые полом индивиды (с их побуждениями, желаниями и телами) ... не являются продуктами ни исключительно «гендера», ни биологии»<sup>20</sup>. Половая идентичность является итогом индивидуального развития человека. Таким образом «категории «мужчина» и «женщина» являются [всего лишь] идеалами, вводимыми для регулирования и направления в определённое русло поведения, а не эмпирическими описаниями реально существующих людей, которым всегда будет не хватать того, чтобы полностью соответствовать этим идеалам»<sup>21</sup>.

И подводя логический итог сказанному, Джоан Скотт ещё раз заостряет наше внимание на том, что целью её доклада не было дать исчерпывающий ответ на редукционистские идеи эволюционной психологии. «Моей целью было начать исследование пределов гендера как аналитической категории, и эволюционная психология предоставляет один из путей такого исследования»<sup>22</sup>.

Конечно, я прекрасно осознаю тот факт, что говорить об исторической ограниченности «гендера» в России тогда, когда гендерные исследования, начавшись, ещё не стали для большинства (в научном сообществе, власти) наших соотечественников осознанно востребованными, может показаться несвоевременным. Но тем не менее я сделала попытку объяснить мою позицию, безусловно, основанную на аргументации Джоан Скотт и всех тех, кого они считает своими союзниками.

Как следует из рассуждений Джоан Скотт, феминистки сами должны ввязаться в обсуждении вопроса о биологической детерминации половых различий, а их аргументация должна быть способна оперировать не только доводами о социальнокультурном конструировании половых различий (тем, что на данном этапе большинством называется гендером), но должна найти доводы в пользу опровержения упрощённого толкования природной детерминации этих различий. Именно в этом упрощении кроется "неспособность" современных гендерных исследований противостоять системе и идеологии неравенства

полов. Феминистское сообщество нуждается в привлечении учёных, занимающихся естественными науками. И тогда становится понятным, почему западное сообщество так активно в последнее время обсуждает проблемы феминизма и науки.

Для отечественного гендерного сообщества важно заметить наметившуюся тенденцию в развитии гендерных исследований и отреагировать «на опережение», когда мы ещё не совсем зашли в тупик с преувеличенным вниманием к исследованию различий между полами только сквозь парадигму понятия «гендер». И мне кажется, что поворот к исследованию биологического пола и биологическим наукам, сможет решить не только задачу упрощённого толкования половых различий на основе исключительно гендерного подхода, но одновременно и способствовать приданию большей академической респектабельности тем исследованиям, которые мы пока называем гендерными. Возможно, термин «половые различия» в конечном итоге будет содержать в снятом виде то, что теперь мы называем гендерными различиями. И тогда мы сможем вернуться к понятию «пол», оставив в прошлом понятие «гендер».

---

<sup>1</sup> Блохина Н.А. Понятие гендера: становление, основные концепции и представления // Общество и гендер. Материалы Летней школы в Рязани / Составитель и редактор канд. филос. Наук Н.А.Блохина. – Рязань: Изд-во «Поверенный», 2003. С.30-34.

<sup>2</sup> Подоль Р.Я. Время философов // Рязанские ведомости. 17 февраля 2004 г.

<sup>3</sup> Сьюзан Бордо ссылается на журнал под названием «Гендеры» (*Genders*). См.: Bordo S. *Feminism, Postfeminism, and Gender-Skepticism* // *Feminism/Postmodernism* / Ed. By Linda Nicholson. New York: Routledge, 1990. P.134. Джоан Скотт приводит пример такого «умножения» гендеров (женщины, мужчины, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы), при котором происходит смешение гендера и пола, половой идентичности с социальными ролями и биологическими описаниями. См.: Joan W. Scott. *Millennial Fantasies: The Future of “Gender” in the 21<sup>st</sup> Century*. Paper presented on May 6, 2000 at the seminar “Production of the Past”, Columbia University, New York. P. 10

<sup>4</sup> *A Glossary of Feminist Theory* / Ed.by Sonya Andermahr and Terry Lovell Carol Wolkowitz. London: Arnold; New York: Oxford University Press, 2002. P.103.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Joan W. Scott. *Millennial Fantasies: The Future of “Gender” in the 21<sup>st</sup> Century*. Paper presented on May 6, 2000 at the seminar “Production of the Past”, Columbia University, New York. P. 1.

<sup>7</sup> Ibid. P. 10.

<sup>8</sup> Ibid. P. 9.

<sup>9</sup> Ibid. P. 11.

<sup>10</sup> Хотя уже имеются переводы работ самих социобиологов, можно посмотреть: Карпинская Р.С., Николький С.А. Социобиология: критический анализ. М.: «Мысль», 1988.

<sup>11</sup> Joan W. Scott. *Millennial Fantasies: The Future of “Gender” in the 21<sup>st</sup> Century*. Paper presented on May 6, 2000 at the seminar “Production of the Past”, Columbia University, New York. P.3.

<sup>12</sup> Смотрите, например, Геодакян В.А. Мужчина и женщина. Эволюционно-биологическое предназначение // Женщина в аспекте физической антропологии. М. 1994; Геодакян В.А. Теория дифференциации полов в проблемах человека // Человек в системе наук. М. 1989.

<sup>13</sup> Joan W. Scott. *Millennial Fantasies: The Future of “Gender” in the 21<sup>st</sup> Century*. Paper presented on May 6, 2000 at the seminar “Production of the Past”, Columbia University, New York. P.4.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid. P.5.

---

<sup>17</sup> См., например: Кэрролл С., Зерилли Л. Феминистские вызовы политической науке // Гендерная реконструкция политических систем /ред.-сост. Н.М. Степанова и Е.в. Кочкина. \_ СПб.: Алетейя, 2004. С.877-919.

<sup>18</sup> Цит. по: Joan W. Scott. Millennial Fantasies: The Future of "Gender" in the 21<sup>st</sup> Century. Paper presented on May 6, 2000 at the seminar "Production of the Past", Columbia University, New York. P. 5.

<sup>19</sup> Цит. по: Joan W. Scott. Millennial Fantasies: The Future of "Gender" in the 21<sup>st</sup> Century. Paper presented on May 6, 2000 at the seminar "Production of the Past", Columbia University, New York. P.5.

<sup>20</sup> Ibid. P.7.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid. P.8.

## **Перевод и дискурсивное конституирование научного сообщества (На примере гендерных исследований)**

“Is translation the residual curse and continuing cause of ethnic fragmentation through its signalling of difference or is translation the way back to the industrious community of origin, all collaborating together on the ambitious project of human betterment, transcending the given for the hope of something more?”

Michael Cronin. Agency and neo-Babelianism (14. P. 59).

„Что такое перевод: эхо проклятья и до сих пор не снятое заклятье разделенности народов посредством маркирования различий между ними? Или перевод – это возвращение к нашим трудолюбивым предкам, объединившимся в надежде на преодоление данности и достижение честолюбивой цели улучшения человечества?”

Майкл Кронин. Дееспособность и Новый Вавилон (пер. мой. – Т. Б.)

“Является ли перевод остаточным проклятьем или продолжающимся делом этнической фрагментации через сигнализирование различия или перевод – это дорога назад к трудолюбивому коммьюнити происхождения, сотрудничающему в амбициозном проекте человеческого улучшения, трансцендирующему данное в надежде на что-то еще?”

Михаэл Кронин. Деятельность и нео-бабельянство (пер. мой. – Т. Б.)

### **Преамбула**

Корней Чуковский в одной из своих книг рассказывает историю обратного перевода “Полтавы” А. С. Пушкина. Поэма была переведена на немецкий язык. Спустя некоторое время переводчик с немецкого, не зная, что это перевод с русского, перевел ее обратно на русский.

Предполагаю, что если бы Пушкин прочитал этот *remake*, он мог бы не узнать свой собственный текст.

„Богат и славен Кочубей,  
Его луга необозримы,  
Там табуны его коней  
Пасутся вольны, нехранимы...  
И много у него добра,  
Мехов, атласа, серебра...”

„Был Кочубей богат и горд.  
Его поля обширны были,  
И очень много конских морд,  
Мехов, сатина первый сорт  
Его потребностям служили“.

Не узнала бы название своей книги „Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity” известный современный философ Джудит Батлер, если бы был сделан обратный перевод названий таких переводов этого названия, как: „Неудобство полов“ (1. С. 46) и „Гендерная тревога: феминизм и подрыв индивидуальности“ (2, с. 5). (Комментарии по поводу переводов самого текста книги см. ниже).

Автор обратного перевода в примере Чуковского, очевидно, не принадлежал сообществу пушкинистов и потому не смог учесть традицию переводов сочинений поэта на русский язык. В случае с некорректными переводами Батлер мы имеем дело с аналогичной ситуацией, но в другом историко-культурном контексте.

Отечественные гендерные исследования развиваются путем переноса западного концептуального аппарата и методологии на собственную почву феминистских идей. Поэтому терминологический аппарат, обслуживающий гендерные исследования, складывается в результате семантического или фонетического калькирования.

В то же время, в западной гендерной литературе не так много понятий, которые принадлежат собственно гендерной теории и теории феминизма. Большая их часть заимствована из других областей знания и переосмыслена. Таковы понятия *sexual contract*, *sexual roles*, *display*, *subjectivity*, *identity* etc.

Переводчик гендерной литературы оказывается, таким образом, в ситуации, которую можно было бы назвать двойным заимствованием. С одной стороны, он должен учесть традицию использования данного понятия в гендерной теории, а с другой – учесть связи этого понятия с другими гуманитарными контекстами – философскими, социологическими, психологическими, эстетическими, риторическими и проч. Необратимые потери смысла при переводе гендерной литературы возникают, вероятно, как раз в тех случаях, когда при переводе не учитываются более широкие концептуальные связи, или иначе говоря, концептуальная перспектива исходного текста.

В данной статье предпринимается попытка систематизации дефектов перевода, а также объяснения их этиологии.

Она основана на анализе переводов с английского языка книг Лоры Энгельстайн, Бетти Фридан, Симоны де Бовуар, Джудит Батлер, Джоан Скотт и других авторов, опубликованных в Хрестоматиях гендерной и феминистской литературы, изданных в Москве,

Минске, Твери, Харькове/ Петербурге, статей по гендерной проблематике, напечатанных в журнале “Гендерные исследования”, собственном опыте редактирования, рецензирования и перевода, а также обсуждении проблем перевода со своими коллегами и слушателями моего курса “Гендерная теория в философской и социологической перспективе” в Новосибирском государственном университете.

## Постановка задачи. Понятийный аппарат

Гуманитарные науки - и в том числе гендерные исследования - в России и других странах постсоветского пространства с начала Перестройки столкнулись с освоением огромного, ранее недоступного массива зарубежной литературы. Проблемы, которые встают в связи с этим освоением, во многом являются общими для разных научных дисциплин, но в то же время каждая научная дисциплина, вероятно, сталкивается и со своими специфическими проблемами.

В данной работе я коснусь некоторых общих проблем, связанных с ролью перевода в развитии научного дискурса, а также затрону – главным образом, в порядке постановки вопросов - некоторые концептуальные и институциональные проблемы, которые специфичны для становления и развития гендерных исследований как новой комплексной области гуманитарных исследований.

Для демонстрации указанных проблем я ввожу понятие **наивного перевода**, которое по аналогии с понятием наивного письма и наивного искусства я определяю как перевод, выполненный без учета совокупности конвенций перевода как особой деятельности по производству дискурса. Основой для определения наивного перевода как перевода, отступающего от этих конвенций, послужили представления о нормах перевода, зафиксированных в соответствующей литературе (см., напр.: 13).

В наивном переводе не соблюдаются правила цитирования других переводных текстов, не произведена авторизация перевода (target text) (согласование с автором оригинала переводческих решений), не произведена техническая и экспертная редактура. Наивный переводчик игнорирует нормы языка перевода (как правило, родного); он поверхностно знаком с лексикой и грамматикой языка оригинала и предметной областью, к которой относится переводимый текст (source text).

Кроме несоблюдения правил и норм собственно переводческой деятельности, в наивном переводе отсутствует или слабо выражено видение текста в перспективе предметной области, к которой относится переводимый текст (source text). И в этом смысле наивный перевод подобен произведению наивного художника, который не знает перспективы как

принципа организации художественного пространства, не знаком с анатомией человека и животных и проч.

Наивность перевода может быть выражена в разной степени. Причем автор настоящей статьи также не исключает себя из числа наивных переводчиков и содержание данной статьи является рефлексией не только по поводу переводов, выполненных другими людьми, но и по поводу своей собственной многолетней переводческой практики.

### Признаки наивного перевода

#### 1. **Грамматические** нарушения:

- а) ошибки в русской грамматике;
- б) ошибки в понимании грамматической структуры иностранного (в данном случае – английского) языка

#### 2. Отступления от общепринятой **транскрипции имен** собственных

#### 3. **Стилистические** нарушения

4. **Некорректное оформление справочного аппарата и ссылок.** Ссылки по английским переводам с немецкого, французского и др. языков и оригинальным изданиям при наличии перевода данного текста на русский язык.

#### 5. Ошибки в передаче **терминоидов**.

#### 6. Немотивированные **пропуски** в оригинальном тексте.

7. **Выпадение** из соответствующей **концептуальной** системы, которое выражается в произвольных интерпретациях и некорректной передаче терминов (отсутствие концептуальной перспективы).

Рассмотрим примеры проявления этих признаков в опубликованных переводах.

1. Наиболее *очевидным* признаком наивного перевода являются **грамматические** ошибки, которые встречаются в наших переводах гораздо чаще, чем допускают нормы издательского дела.

Некоторые из них являются вполне невинными морфологическими и синтаксическими ошибками (очень распространены ошибки на согласование), которые не затрудняют понимание текста. Скажем, использование формы “чулков” вместо правильной “чулок” (З. С. 355). Если неправильные грамматические русского языка обычно затрудняют понимание, но не нарушают смысла, то непонимание грамматики оригинала может существенно изменить смысл, вплоть до его изменения на противоположный.

Так, Люси Иригарэ, полемизируя с концепцией женщины как товара для мужчин-работников, торговцев, потребителей, говорит, что согласно этому представлению:

Оригинал: “Woman is never anything but the locus of a more or less competitive exchange between two men, including the competition for the possession of mother earth” (11. P. 31-32), то есть “женщина никогда не является чем-то бoльшим, нежели локус более или менее конкурентного обмена между двумя мужчинами, включая конкуренцию за обладание матерью-землей”.

Из-за неправильной интерпретации грамматической конструкции со словом “but” смысл этого высказывания меняется на противоположный: “Женщина всегда есть не что большее, чем лишь локус более или менее состязательного обмена между двумя мужчинами, и состязаются они еще и за мать-сыру-землю” (4. С. 69-70) (орфография напечатанного текста).

Примером неправильной интерпретации грамматической структуры оригинала является перевод названия работы Дейл Спендер “Man Made Language”: “Мужчина создал язык” (3. С. 775). Английское название представляет собой не субъектно-предикатную структуру, а назывную: “Язык, созданный мужчиной”, где обыгрывается идиома *man made*, то есть “искусственный”. Перевод в виде субъектно-предикатной структуры нарушает так называемое актуальное членение оригинала, то есть соотношение между данным и новым. В названии автор говорит нам о том, что речь пойдет именно о *языке*, созданном мужчиной, а не о том, что мужчина создал язык (и что-то еще).

2. *Вторым* признаком наивного перевода является отступающая от принятой транскрипция личных имен, таких как: Маргерит Дюрас, Глезер, Итало Кальвино, Ролз, Бенджамин Уорф, Понталис и географических названий.

*Третьим* признаком наивного перевода я считаю стилистические ошибки.

Несмотря на то, что стилистические просчеты кажутся более невинными, чем, скажем, искажение терминологии, они также могут разрушать смысл оригинала.

Пример 1. У Гейл Рубин говорится:

Оригинал: “”The Traffic in women” was inspired by the literature on kin-based systems of social organization. It appeared to me at the time that gender and desire were systematically intertwined in such social formations” (5. С. 42)

Опубликовано: “Работа “Торговля женщинами” была вдохновлена литературой о родоплеменном типе систем социальной организации. В тот период мне казалось, что гендер и желание *были систематически вкраплены* в такие социальные формации” (3. с. 519).

Моя версия: “Моя работа “Обмен женщинами” была написана под влиянием литературы о системах социальной организации, основанных на системах родства. В то время, когда писалась эта работа, мне казалось, что в таких социальных образованиях гендер и желание систематически переплетаются (intertwined)” (мой перевод.)

Во-первых, в опубликованном переводе допущена грамматическая ошибка. Глагол “были” в данном случае – это грамматическая калька с английского языка, где прошедшее время употреблено в соответствии с правилом согласования времен. В русском же языке это время означает, что ‘нечто было раньше, а теперь его нет’. Стилистический диссонанс возникает в переводе между словом *систематически* и словом *вкраплены*: либо нечто имеет место на уровне системы, либо оно окказионально вкраплено. И то, и другое невозможно.

Пример 2. У Джудит Батлер говорится: “The double aspect of subjection appears to lead to a vicious circle: the agency of the subject appears to be an effect of its subordination” (6. С. 12).

Моя версия: “Двойственность субъекции, видимо, приводит к замкнутому кругу: деятельность субъекта, видимо, является результатом подчинения”.

Опубликовано: “*Выходит*, эта двойственность приводит к возникновению замкнутого круга: *свобода действия* субъекта оказывается эффектом субординации” (с. 24).

Использованное в переводе “выходит” вместо “видимо” и пропуск второго использования вводного слова “видимо” во втором случае нарушает суггестивность авторского текста.

Более того, использование в переводе более узкого по смыслу термина “субординация” вместо “подчинения” привносит излишние коннотации в оригинальный текст.

Пример 3: “Сторонники *неоклассической феминистской экономики* анализируют, как гендерный крен программ структурного улучшения **способствовал провалу** экономических реформ” (7. С. 255).

*Четвертым* признаком отсутствия следования традиции оформления текста и потому наивного перевода являются ссылки на английские переводы или оригинальные тексты, даже если существует перевод данного текста на русский язык. Таковы ссылки на Аристотеля, Платона, К. Маркса, Кондорсе (3. С. 961), Фрейда (3. С. 623), Локка (3. С. 646), Деррида (3. С. 647, 622), Ламетри (3. С. 580), Спинозу (3. С. 623), Ролза (3. С. 630), Канта (3. С. 646), Фуко (статья рубин), Бергер и Лукман (3. С. 783), Болинджер, Уорф, Сепир (там же).

Более того, в гендерных исследованиях очень медленно складывается своя собственная традиция интеграции переводов. Например, несмотря на то, что был сделан хороший перевод книги С. де Бовуар “Второй пол”, в гендерной литературе встречаются ссылки на английское издание (8. С. 343), ссылаются также и на английские оригиналы уже переведенных на русский язык статей Джоан Скотт, Гейл Рубин, Кэрол Гилиган и проч.

*Пятый* признак - ошибки в передаче терминов. Такими терминами в английской философской речи являются, например, такие понятия, как *beliefs, concepts, account, conceptions, terms* (условия, термы, члены) *evidence* (фактические, или эмпирические

данные). Очень часто путается concepts и conceptions (З. С. 609). Пример неправильного использования beliefs:

Опубликовано: “Этологические интерес, таким образом, не возвращает нас назад от ритуального перформанса к социальной структуре и определенным *верованиям (beliefs)*, в которых перформатор и свидетель перформанса как бы замкнуты друг на друга, но препровождает нас к разворачиванию теории социально обусловленных событий” (З. С. 308). Я уже не говорю о том, уместно ли понятие перформанса (перформатора), которое все-таки обычно используется применительно к концептуализму, дадаизму, если далее Гофман говорит об актерах.

При неверной передаче нескольких терминоидов в рамках одной фразы смысл исходного предложение оказывается значительно замутненным. Например, у Батлер говорится: “The shift from an *epistemological* account of identity to one which locates the problematic within practices of *signification* permits an analysis that takes the epistemological mode itself as one possible and contingent signifying practice” (9. С. 144).

Опубликовано: Переход от эпистемологической оценки индивидуальности к тому, что локализует данную проблематику в пределах практик сигнификации, допускает анализ, который принимает эпистемологический метод как таковой в качестве возможной и условной сигнифицирующей практики” (З. С. 167)

Моя версия: “Переход от *эпистемологического* объяснения идентичности к объяснению, которое помещает данную проблематику в рамки практик *означивания*, позволяет производить анализ, который полагает эпистемологическое объяснение как одну из возможных и контингентных практик означивания”.

Вместо терминоида “низкооплачиваемый труд” наивный переводчик использует эквивалент из обыденного языка, причем с грамматической ошибкой “плохооплачиваемая работа” (З. С. 261).

Другой пример касается неправильной передачи терминоида, относящегося к методологии науки – “evidence”, который следует переводить как “фактические, или эмпирические, данные”, тогда как в опубликованном переводе он передается с помощью не уместного в данном контексте терминоида “свидетельства”: “Свидетельства (evidence), собранные этими дисциплинами [биология, физиология, лингвистика], показывают, что мы сами непосредственно участвуем в процессе организации и описания вселенной” (З. С. 777).

Приведу пример неправильной передачи терминоида “имплицитный” (скрытый):

Опубликовано: “И, наконец, концепция Альтюссера, сама по себе нам полезная, остается ограниченной *изнутри* понятием централизованного государственного аппарата,

того, чье слово есть *его* дело, построенного по модели божественной власти. Понятие дискурса возникает у Фуко частично как противопоставление *суверенной модели* интерпеллирующей речи в теориях, подобных Альтюссеровой, но также для того, чтобы объяснить эффективность дискурса вне такой его инстанции, как произнесенное слово” (2а. С. 19).

Моя версия: “И, наконец, какой бы полезной ни была концепция Альтюссера, она является ограниченной в силу своей имплицитной сосредоточенности исключительно на представлении о централизованном государственном аппарате, для которого слово есть дело и которому приписывается божественный авторитет. Свое представление о дискурсе Фуко развивает отчасти для того, чтобы противопоставить его концепциям суверенной речевой интерпелляции, подобным Альтюссеровой, но еще и для того, чтобы объяснить эффективность форм дискурса, отличных от произнесенного слова”.

Отдельной проблемой перевода терминов является калькирование. Например, если *subordination* передается с помощью фонетической кальки, то в исходный текст Батлер привносится отсутствующий в нем смысл, “иерархическое подчинение”, тогда как для Батлер термин “subordination” служит в качестве нейтрального (родового) понятия для обозначения идеи “подчинения” в отличие от субъекции, то есть термина, который служит для обозначения конституирования субъекта в отношениях власти:

“Если формирование субъекта сопровождается его подчинением, то он автоматически попадает на сцену психоанализа. Переосмысление подчинения (subordination) у Фуко как того, что не только вменяется (pressed on) субъекту, но и формирует его, то есть вменяется субъекту посредством формирования, порождает амбивалентность того места (site), где разворачивается процесс возникновения субъекта. Если автономия обусловлена подчинением, а это конститутивное подчинение или зависимость энергично подавляется, то субъект возникает в тандеме с бессознательным. Фукианский подход к субъекции как к одновременному процессу подчинения и формирования субъекта привносит в процесс формирования субъекта специфическую психоаналитическую валентность, если мы предположим, что ни один субъект не возникает без страстной привязанности к тем, от кого он(а) изначально зависит (даже если страсть “негативна” в психоаналитическом смысле)” (Ср. с опубликованным переводом 2а, С. 6 и др.).

*Шестой признак* наивного перевода – немотивированные пропуски оригинального текста.

Так, в важнейшей аналитической статье Джоан Скотт „Некоторые размышления о гендере и политике“ пропущен абзац, в котором вводится тема дальнейшего обсуждения: как различия между полами конституируются политически (10. Р. 80). В результате

последующее рассуждение Джоан Скотт о демократической политике повисает в воздухе (3. С. 954).

*Седьмой* признак: Выпадение из соответствующей концептуальной системы, которое выражается в произвольных интерпретациях и некорректной передаче терминов.

|                                           |                              |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Существенный признак                      | Эссенциальный атрибут        | 3. С.327                       |
| Личность                                  | Персона                      | 3. С. 327                      |
| Следствие                                 | Эффект                       | 2а                             |
| Член оппозиции                            | Понятие                      | 3. С. 622                      |
| Языковой                                  | Лингвистический              | 3. С. 333, 2а 23,<br>3. С. 167 |
| Присвоение                                | Апроприация                  | 3. С. 261                      |
| Доход                                     | Прибыль                      | 3. С. 258                      |
| Политика (politics)                       | Политики                     | 3. С. 259,                     |
| Контингентная истина<br>Контингентный     | Случайная правда<br>Условный | 3. С. 326,<br>3. С. 167        |
| Субъект                                   | Предмет                      | 8. С. 305 и след.              |
| Гей-Сообщество (community)                | Содружество                  | ГИ, 1999, 3                    |
| Уголовное право                           | Криминальный закон           | Там же, 7                      |
| Конституционность                         | Конституциональность         | 7                              |
| Область (realm)                           | Реальность                   |                                |
| Конкурентный обмен                        | Состязательный обмен         | Там же. 70                     |
| Материальная субстанция                   | Вещь                         | Там же. 70                     |
| Мимесис                                   | Мимезис                      | 3. С. 843                      |
| Развитие                                  | Эволюция                     | ГИ, 70                         |
| Трансцендентальный                        | Трансцендентный              | 3. С. 529, прим.<br>34.        |
| Цель                                      | Объект                       | 2а. С. 11                      |
| Конкретизация (instantiation)             | Инстанция                    | Там же, с. 19                  |
| Страстный (passionate)                    | Пассионарный                 | Там же. С. 19                  |
| Дееспособность<br>(деятельность) (agency) | Свобода действия             | Там же. С. 22                  |
| Интеллигибельность<br>(понятность)        | Познаваемость                | Там же. С. 23                  |

|                                   |                  |                               |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Идентичность                      | Индивидуальность | 2. с. 3,<br>3. С. 165 и след. |
| Овеществление (или<br>реификация) | Материализация   | 3. С. 167 и след.             |
| Явление (appearance)              | Появление        | 3. С. 167                     |
| Самосознание                      | Самопознание     | 3. С. 166                     |
| Опосред(ст)ование                 | Медиация         | 3. С. 165                     |
| Субстанциональный                 | Субстантивный    | Там же.                       |

Небрежное обращение с терминами приводит к рассогласованию смысла текста. Например: “Эволюции [в оригинале – развитие] женщины, сколь бы радикальной она *не* (орфография опубликованного перевода. – Т. Б.) стремилась быть, поэтому недостаточно для освобождения желания женщины” (4. С. 70).

Здесь имеет место *contradictio in adjecto*: эволюция не может описываться как радикальное преобразование, поэтому в переводе возникает рассогласование смысла рассуждения.

Надо признать, что очень многие проблемы в передаче терминов и терминоидов, в том числе, калькирование, связаны с расхождениями русского и английского тезаурусов. Например, это имеет место, когда английское слово “*есопоту*” имеет значение “политическая экономия”, “система”, “организация”, тогда как русское слово более однозначно – ‘хозяйство’, ‘экономика’. Поэтому смыслы, связанные с исходным английским значением *есопоту* как системы, причем системы, имеющие политические аспекты, часто в русском языке выпадают.

Одну из таких проблем для перевода составляет то, что в смысловом поле английской категории “*presence*” объединено “присутствие”, или “наличие”, и „настоящее“, а в русском языке эти категории разнесены по разным полям.

Целый ряд категорий современного философского и социологического анализа сопротивляется сохранению словообразовательного ряда английского языка. Таким примером является словообразовательный ряд “*other – otherness*”. При передаче “*otherness*” иногда используется неологизм “другость”, коннотирующий с прямо противоположным по смыслу семантическим полем. Другой эквивалент - “иной – инаковость” - не всегда удачно вписывается в контекст в силу дополнительных оттенков смысла слова “иной”.

При переводе терминов наиболее распространенными являются три дефекта: 1. вместо термина используется близкое по смыслу, но не терминологичное слово, скажем, вместо

“сообщества” используется “содружество”; 2. Вместо слова обыденного языка используется неуместный в данном контексте термин. Например: “субстанциально”, “субстанционально” вместо “существенно” (3. С. 331); 3. один термин заменяется на другой. Например, вместо “различение” (discrimination) используется слово “дискриминация”. Слово “discrimination” принадлежит к специфическим для феминистских текстов “ложным друзьям переводчика”, так как в феминистской и гендерной литературе часто поднимается вопрос о неравенстве и дискриминации и потому значение “дискриминация” часто вытесняет значение “различение”.

Например:

Оригинал: У Люси Ирагарэ говорится: „Within this logic, the predominance of the visual, and of the discrimination and individualization of form, is particularly foreign to female eroticism. Woman takes pleasure more from touching than from looking, and her entry into a dominant scopic economy signifies, again, her consignment to passivity: she is to be the beautiful object of contemplation” (11. С. 25-26).

Опубликовано: “Характерное для этой логики господство визуального, дискриминация и индивидуализация формы особенно чуждо женскому эротизму. Женское наслаждение происходит более от прикосновения, чем от взгляда, и вступление женщины в скопическую экономику [т.е. экономику визуального] означает, опять же, консигнацию ее пассивности: она должна быть прекрасным объектом созерцания” (4. С. 66). (Цитата дана с сохранением синтаксиса опубликованного текста.)

Моя версия: “Если следовать этой логике, доминирование визуального (а также различение и индивидуализация формы) особенно чуждо женскому эротизму. Женщина получает удовольствие скорее от прикосновения, чем от смотрения, а ее вхождение в доминирующую визуальную экономику обрекает ее на пассивность: она должна быть прекрасным объектом созерцания”.

Ситуации терминологических замен я разделяю на две группы: компенсируемые и некомпенсируемые.

Компенсируемые замены имеют место тогда, когда правильный термин можно восстановить по калькированной форме или из контекста. Такова, например, калька “рефлексивная медиация”. Некомпенсируемые случаи – это а) случаи замены оригинального термина одним и тем же неадекватным эквивалентом или б) использование разных терминов для перевода одного и того же термина.

Примером второго случая является перевод термина *agency* как деятельности, действия, а также свободы действия в опубликованном на русском языке переводе книги “Психическая жизнь власти” Джудит Батлер. Некомпенсируемые замены встречаются реже, но они, как правило, влекут за собой другие искажения в тексте.

Остановимся подробнее на одном из таких случаев - замене понятия “идентичность” на понятие “индивидуальность” в переводе заключения из книги Джудит Батлер “Гендерная тревога: феминизм и подрыв идентичности” (9), которое называется “От пародии к политике” (З. С. 164-173).

Подобная замена, во-первых, противоречит философской традиции, или иначе говоря, лишает текст философской перспективы, а во-вторых, подрывает теоретические основания концепции Джудит Батлер.

*Философское понятие индивида* происходит от латинского корня со значением “неделимое”. Индивид как целостное, отдельное, образование, согласно философской традиции, по определению, не идентичен другому: он уникален.

В этом смысле понятие коллективной феминистской идентичности, которым оперирует Батлер, прямо противоположно понятию индивидуальности. Задача книги состоит как раз в теоретическом объяснении некорректности политики идентичности. Поэтому понятие идентичности является сквозным понятием ее концепции. Более того, в уже упоминавшейся выше более поздней работе “Психическая жизнь власти: теории субъекции” (1997) она открыто высказывается против неритичного использования понятия “индивид” и замещение им других философских понятий (6. Р. 10-11).

Итак, в “Гендерной тревоге” она пишет: “I have tried to show that the identity categories often presumed to be foundational to feminist politics... work to limit and constrain...the very cultural possibilities that feminism is supposed to open up” (9. Р. 147).

Опубликовано: “Я попыталась предположить, что категории индивидуальности, часто допускаемые в качестве основных для феминистской политики... работают в направлении ограничения и сдерживания продвижения тех культурных возможностей, которые, как предполагается, и должен раскрыть феминизм” (З. С. 170).

Моя версия: “Я попыталась показать, что категории идентичности, которые часто считаются основообразующими для феминистской политики... ограничивают те самые культурные возможности, которые феминизм призван открыть”.

Не удивительно, что замена понятия “идентичность” на понятие “индивидуальность” приводит к прямо противоположным смыслам, которые к тому же плохо уживаются в рамках одного высказывания. На 10 страницах переводного текста я обнаружила по крайней мере три таких случая.

Оригинал: “If the rules governing signification not only restrict, but enable the assertion of alternative domains of cultural intelligibility, i. e., the new possibilities for gender that contest the rigid codes of hierarchical binarisms, then it is only *within* the practices of repetetive signifying that a subversion of identity becomes possible” (9. Р. 145).

Опубликовано: “Если правила, управляющие сигнификацией, не только ограничивают, но и допускают утверждение альтернативных доменов культурной интеллигибельности, т. е. новых возможностей для гендера, которые оспаривают строгие коды иерархических бинаризов, тогда именно в пределах практик репетиционного сигнифицирования, и становится возможным подрыв индивидуальности” (З. С. 168) (сохранен синтаксис перевода).

Моя версия: “Если правила, управляющие означиванием, не только ограничивают, но и делают возможным утверждение альтернативных областей, интеллигибельных в данной культуре, т. е. открывают новые гендерные возможности, которые оспаривают жесткие коды иерархических бинаризов, то только *в рамках* практик повторяющегося означивания становится возможным подрыв идентичности”.

Данное высказывание Батлер можно разложить на два суждения. 1. Практики означивания подчинены правилам, которые создают жесткие коды, регулирующие поведение, создание идентичности и сфер, которые являются доступными для понимания и осознания в данной культуре. 2. Однако повторения в практиках означивания являются предпосылкой появления новых, интеллигибельных форм поведения и подрыв идентичности.

Семантическая связь между двумя идеями держится на сопряженности понятий правила и идентичности. Если вместо понятия идентичность подставляется понятие индивидуальности, то смысл рассуждения нарушается.

Рассмотрим еще один пример, в котором смысл текста в результате отсутствия соответствующей философской перспективы меняется на противоположный.

Одна из задач, которые ставит перед собой Батлер в “Гендерной тревоге”, состоит в преодолении некорректного противопоставления свободной воли и детерминизма на уровне теории и практики. На методологическом уровне она говорит о мнимом противоречии между так называемой эпистемологической моделью, утверждающей трансцендентальный (додискурсивный) субъект, и конструктивизмом.

Противоречие между двумя этими подходами возникает при объяснении деятельности/дееспособности.

Конструктивистская модель утверждает детерминированность субъекта практиками означивания, характерными для данной культуры.

Эпистемологическая модель для объяснения дееспособности и свободы воли постулирует субъекта, стоящего вне и до культуры. Согласно эпистемологической модели деятельность и свобода воли невозможны, если признается детерминированность культурой. Батлер говорит, что это не так: “The question of locating „agency” is usually associated with the viability of the “subject” where the “subject” is understood to have some stable existence prior to the

cultural field that it negotiates. Or, if the subject is culturally constructed, it is nevertheless vested with an agency, usually figured as the capacity for reflexive mediation, that remains intact regardless of its cultural embeddedness. On such a model, “culture” and “discourse” *mire* the subject, but do not constitute that subject. This move to qualify and enmesh the preexisting subject has appeared necessary to establish a point of agency that is not fully *determined* by that culture and discourse. And yet, this kind of reasoning falsely presumes (a) agency can only be established through recourse to a prediscursive “I”, even if that “I” is found in the midst of a discursive convergence, and (b) that to be *constituted* by discourse is to be *determined* by discourse, where determination **forecloses** the possibility of agency” (9. P. 143).

Батлер обсуждает здесь два подхода. Согласно одному из них “субъект” предшествует культурному полю, по поводу которого он ведет переговоры, но цель его деятельности формируется за пределами этого культурного поля. Согласно другому подходу, “субъект считается культурно сконструированным, но тем не менее его деятельность (agency) обычно представляют как способность к рефлексивному опосредованию, которая (деятельность) остается независимой, несмотря на свою связанность с культурой. Согласно такой модели, “культура” и “дискурс” оставляют на субъекте свои следы (*mire*), но не конституируют его. Спецификация качеств предшествующей деятельности субъекта и следов воздействия на него культуры сторонникам этого подхода кажется необходимой для того, чтобы определить цель деятельности, которая не является полностью *детерминированной* этой культурой и дискурсом”. Батлер критикует это рассуждение, так как считает, что оно основано на двух ложных допущениях: “(а) деятельность может быть определена путем полагания додискурсивного “Я”, даже если это “Я” оказывается погруженным в совокупность нескольких дискурсов и (б) быть *конституированным* дискурсом – значит быть детерминированным дискурсом, причем детерминация перекрывает (*forecloses*) возможность деятельности” (9. P. 143).

В **интерпретации наивного переводчика** последняя фраза звучит с точностью до наоборот: “то, что должно быть конституированным посредством дискурса, означает быть детерминированным посредством дискурса, где детерминация предопределяет (!) возможность деятельности” (с. 165). Таким образом, смысл полемики Батлер с теми концепциями, в которых постулируется субъект, предшествующий действию, а детерминированность со стороны дискурса считается *преградой* для деятельности субъекта, в переводе становится неясным.

Еще один пример:

„Just as bodily surfaces are enacted *as* the natural, so these surfaces can become the site of a dissonant and denaturalized performance that reveals the performative status of the natural itself” (9. P. 146).

Философская перспектива данного рассуждения Батлер – это сомнение в “естественности” “естественного”, “перформативность” (то есть сконструированность) которого **вскрывается** посредством пародирования.

В опубликованном переводе “воплощение” (enacted) телесных поверхностей как естественных, напротив, “скрывает” перформативный статус естественного: “точно так же, как телесные поверхности проигрываются в качестве естественных, эти поверхности могут стать местом диссонантного и денатурализованного исполнения, которое скрывает перформативный статус естественного как такового” (3. С. 169).

Тем самым весь пафос рассуждения Батлер, направленного на то, чтобы показать конструктивность пародирования естественного и подрывную роль пародии по отношению к эссенциализму и политике идентичности, становится неясным.

Другой пример перевода, выпадающего из философской перспективы и создающего некомпенсируемые изменения смысла, содержится в переводе книги Батлер „The Psychic Life of Power. Theories in Subjection” (Психика власти: Теории субъекции. Введение).

Философская перспектива этой работы может быть передана словами другого теоретика феминизма - Элизабет Гросс: “Рационализм и идеализм – это результат попыток объяснения тела и материи в терминах ума (*mind*), идей или разума...” (12. P. 7). Что означает этот тезис применительно к историко-философскому процессу? Он означает то, что философские системы развивались в тесном развитии с *логическими* идеями и зачастую как перенос логических конструкций на онтологию. В частности концепция идентичности личности тесно связана с анализом идентичности в логике (ср., закон Лейбница: *a* идентично *b*, если замена *a* на *b* не приводит к изменению истинностного значения высказывания).

Очень интересен в этом смысле эпиграф к книге Батлер. Это определение ключевого понятия книги – *subjection*, которое она приводит по Оксфордскому словарю английского языка: „*Subjection* – это действие (*act*) или факт состояния подчиненности – монарху, или другой суверенной или высшей власти; состояние подчинения, или нахождения под властью другого; отсюда родовое понятие: *subordination* ... Это состояние, при котором некто является объектом (*subject*), ответственным перед кем-то или открытым ему; обязательство или обязанность... *Логич.* Акт приписывания субъекта предикату” (p. 1) (перевод мой. – Т. Б.).

Этот эпиграф является прекрасной иллюстрацией связи между логическим анализом и онтологией: в одних случаях *subjection* относится к онтологии, то есть к *подчинению*, а в других - к логике, то есть к *субъекции*. Поэтому одна из принципиальных проблем перевода книги – сохранение связности текста на основе связи между двумя смыслами ключевого понятия и в то же время разведение смыслов там, где оно необходимо. Это классический случай чрезвычайно сложной ситуации принятия переводческого решения при несовпадении тезаурусов языка оригинала и языка перевода.

Автор книги постоянно оперирует базовыми логическими понятиями, например, различием между позициями субъекта и предиката. Напомним, что основное различие между позициями субъекта и предиката в том, что субъект указывает (*refers to*) на единичный объект, предикат – это общее понятие. Например, в высказывании “Сократ смертен” субъект “Сократ” указывает на конкретное лицо, которому в предикате дается общая характеристика.

Прежде чем прокомментировать случаи некомпенсируемой утраты смысла в переводе зададим философскую перспективу анализируемой работы. Основной тезис Батлер, изложенный во Введении к книге, состоит в том, что характер взаимоотношения между субъектом и властью парадоксален. Мы привыкли считать, рассуждает автор, что власть – это то, что давит на нас извне. В то же время, если “следуя Фуко, мы понимаем власть как *формирующую*, как обеспечивающую само условие его [субъекта] существования и направление его желания, тогда власть – это не просто то, чему мы противостоям, но, и в сильном смысле – то, от чего зависит наше существование, и то, что мы храним в себе как в человеческих существах”. Субъект, по определению Батлер, – это модальности власти, обращенной на себя.

Но хотя субъект формируется в условиях подчинения, для того чтобы быть личностью, он должен делать вид, что подчинение кому-то для него как для субъекта не существует. В противном случае он не может быть субъектом, личностью. Таким образом, осознание того, что власть необходима для формирования субъекта вытесняется в подсознание. Так Батлер перебрасывает мост между теорией власти и теорией психики. Ее концепция тесно связана с известной метафорой Альтюссера, которую он предложил для иллюстрации отношений между властью и подчиненными ей людьми: полицейский, окрикнув человека на улице “Эй, ты...”, придает ему тем самым статус субъекта, который несет ответственность за свои поступки и ощущает чувство вины.

Развивая эту метафору, Батлер связывает конституирование субъекта, вступающего в отношения власти-подчинения и дискурсивные механизмы, с риторическим *оборотом*, который в то же самое время выступает как жест, так сказать, онтологического оборачивания в ситуации, когда человека окликает представитель власти. Она описывает эту связь так:

“Форма, которую эта власть [конституирующая субъекта] принимает, всегда помечается фигурой [образом] оборачивания человека на себя. Эта фигура действует как часть объяснения того, как производится субъект, и, таким образом, строго говоря, субъекта, который оборачивается, не существует. Напротив, оборачивание, по-видимому, функционирует как тропологическое введение в статус субъекта. Это основополагающий (founding) момент, онтологический статус которого остается перманентно неопределенным. Таким образом, это представление, по-видимому, трудно, если вообще невозможно использовать при объяснении формирования субъекта. Что или кто должен оборачиваться, или какова цель такого *оборота*? Как получается, что субъект вырабатывается в результате такой онтологически не определенной формы поворота?” (перевод мой. – Т. Б.).

Далее мы переходим от экспозиции философской перспективы книги Батлер к комментированию того, как ее ответ на этот вопрос интерпретируется в русском переводе.

Отвечая на этот вопрос, Батлер рассуждает: “The moment we seek to determine how power produces its subject, how the subject takes in the power by which it is inaugurated, we seem to enter this tropological quandry. We cannot presume a subject who performs an internalization if the formation of the subject is in need of explanation. The figure to which we *refer* has not yet acquired existence and is not part of a verifiable explanation, yet our *reference* continues to make a certain kind of sense. The paradox of subjection implies a paradox of *referentiality*: namely, that we must refer to what does not yet exist. Through a figure that marks the suspension of our ontological commitments, we seek to account for how the subject comes to be. That this figure is itself a “turn” is, rhetorically, performatively spectacular; “turn” translates the Greek sense of “trope”. Thus the trope of the turn both indicates and exemplifies the tropological status of the gesture” (6. P. 4).

В опубликованном переводе мы читаем: “В тот момент, когда мы стремимся определить, как власть производит своего субъекта, как субъект принимает власть, которой он вызван к жизни, - мы, очевидно, попадаем в эту затруднительную тропологическую ситуацию. Мы не можем предположить [существование] субъекта, осуществляющего интернализацию, если еще необходимо дать объяснение его формированию. Фигура, к которой мы *обращаемся*, еще не обрела существование и не является частью проверяемого, верифицируемого объяснения, но все же наше *обращение* к ней еще обладает некого рода смыслом. Парадокс субъекции включает в себя парадокс *референциальности*: а именно, что мы должны *обращаться*, относиться к тому, что еще не существует. Через фигуру, что отмечает приостановку наших онтологических приверженностей, мы стремимся объяснить, как субъект приходит к существованию. Что сама фигура есть “оборот” – риторически и перформативно зрелищно; оборот переводит смысл греческого слова “троп””.

Моя версия: “В тот момент, когда мы начинаем объяснять, как власть производит своего субъекта и как субъект вос-принимает власть посредством которой он вводится в свой статус субъекта (*inaugurated*), мы, по-видимому, сталкиваемся со следующей тропологической сложностью: мы не можем допустить субъекта, осуществляющего интериоризацию [власти], пока формирование этого субъекта еще не объяснено. Фигура (образ), на которую мы *указываем* (*refer*), еще не существует и еще не является частью верифицируемого объяснения, тем не менее наше *указание* продолжает производить некий смысл. Парадокс субъекции влечет парадокс *указываемости* [референциальности], а именно: мы должны указать на то, что еще не существует. С помощью фигуры, которая обозначает приостановку наших онтологических допущений, мы стремимся объяснить, как происходит становление субъекта, как он возникает. То, что эта фигура является сама по себе “оборотом”, риторически, перформативно зримо и это зрелище производит впечатление, ведь “оборот” – это перевод греческого слова “троп”. Этот троп, в свою очередь, и указывает на тропологический статус жеста, и сам является примером такого жеста”.

Основной дефект опубликованного перевода данного фрагмента заключается в том, что в нем не сохраняется философская перспектива, обозначенная “линией”, соединяющей три концептуальные “точки”: *refer*, *reference*, *referentiality*. Эта линия – продолжение наиважнейших логико-семантических дискуссий начиная с конца XIX в. Одним из аспектов этой дискуссии, составляющей стержень формирования логической семантики, является противопоставление смысла (значения) указанию, или референции.

Как мы уже говорили выше, при традиционной субъектно-предикатной структуре субъект – это единичное понятие, указывающее на единичный объект. Субъекту предиктируется некое общее, родовое понятие. На общее понятие мы указывать не можем. Тогда как единичный субъект, парадигмальным случаем которого является имя собственное, смысла не имеет, он служит средством указания на объект, о котором говорится в высказывании. Философские дискуссии XX века были связаны с обсуждением онтологического статуса терминов высказывания. Так, обсуждался вопрос: влечет ли предиктирование свойства субъекту существование этого субъекта? Если мы говорим: “Король Франции лыс”, то логически это влечет, что он существует. В каком смысле он существует?

Вопрос, который обсуждает в своей книге Батлер, также лежит в этой плоскости. И хотя она исходит не из предикации, а из другой логической процедуры – субъекции, то есть из процедуры приписывания субъекта данному предикату, но ее также волнует онтологический статус терминов высказывания: если мы приписываем субъекту свойство

дееспособности, то существует ли он? Или: когда можно говорить о том, что дееспособный субъект начинает существовать?

Батлер говорит, что объяснение становления (*inauguration*) субъекта можно произвести через указание на некое действие, которое можно обозначить риторической фигурой (образом) оборачивания, то есть на оборот, или троп. Именно благодаря указанию на эту фигуру какой-то смысл все-таки возникает, хотя эта фигура как таковая еще не существует, то есть несмотря на то, что субъекта как такового *до* оборачивания нет.

Понятие указания (*reference*) является в этом рассуждении Батлер ключевым. И поэтому, когда в опубликованном переводе вместо философской перспективы *указывать* – *указание* – *указываемость* (референциальность) выстраивается собственная перспектива *обращаться* - *обращение*, которая при этом не соединена с концептуальной точкой “*указываемость*” (референциальность), философская перспектива оригинала не прочитывается, вернее, ограничивается концепцией окликанья (интерпелляции) Альтюссера.

Это ограничение философской перспективы, как и в других случаях некомпенсируемой замены, приводит к смысловым абберациям в последующем тексте. В переводе далее сказано: “Субъекция ли каким-то образом инициирует тропологию, или же инициирующая работа тропов с необходимостью возникает, когда мы пытаемся дать объяснение возникновению (в оригинале – *generation*) субъекта? Мы вернемся к этому вопросу к концу нашего исследования, когда рассмотрим, как истолкование (в оригинале – *explanation*) меланхолии участвует в том механизме, который оно описывает, производя отчетливо тропологические психические тропографии”.

На самом деле у автора в последнем предложении нет тавтологии “тропологические тропографии”, а говорится следующее: “Мы вернемся к этому вопросу в конце нашего исследования, когда будем рассматривать, как объяснение меланхолии участвует в том механизме, который оно описывает, производя психические *топографии*, которые являются очевидно тропологическими” (р. 4) (перевод мой. – Т. Б.).

Прежде чем предпринять попытку объяснения искажающих философскую перспективу переводческих интерпретаций приведем еще два подобных примера.

Речь пойдет об аналогичных случаях утраты философской перспективы оригинального текста, которая приводит к изменению смысла оригинала текста на качественно иной, или даже противоположный.

Обратимся к анализу программного эссе из книги Люси Иригарэ “Пол, который не единичен” (11). Обозначим философскую перспективу этого чрезвычайно сложного для перевода эссе.

Начиная с досократиков одной из традиционных философских перспектив является проблема “единое versus многое”: можно ли свести основания мира к единому началу или его первопринципы множественны. В свете этой философской перспективы автор обсуждает проблемы секса и сексуальности. Она говорит, что принято считать, что половая жизнь монолитна. Это единое (one). В понимании этого единого [единственного, единичного] сексуального начала есть две стороны. Первая сторона – это то, что половое поведение мужчины считается парадигмальным: именно мужское половое поведение признается единственным сексуальным *началом*, а женское половое поведение и женские реакции рассматриваются как производные. Второй аспект понимания этого единого в том, что метафорическим образом парадигмальной модели является мужской половой орган, имеющий конкретную форму. Женщина как другой пол рассматривается как дополнение к мужскому полу, а женская сексуальность – как производная или имитирующая мужской секс.

Вся эта конструкция с точки зрения Иригарэ неверна. Сексуальная организация женщины отличается от сексуальной организации мужчины. Она даже не дуальна, а множественна. Сексуальные удовольствия, испытываемые женщиной, многообразны и ее сексуальная эволюция не сводится к замене клиторальной ласки вагинальной. Множественны и ее сексуальные органы.

На основе этих посылок Иригарэ переходит к анализу положения женщины в культуре, к “женскому полу”. Она говорит: “Женщина – это всегда *несколько (several)*, но эти *несколько* удержаны от рассеяния, потому что другой всегда внутри нее и аутоэротически близок ей. Это не означает, что она присваивает другого себе и низводит его до положения своей собственности. Нет сомнений, что обладание и собственность совершенно чужды женскому. По крайней мере, в сфере сексуальных отношений” (11. Р. 31). (Перевод мой. – Т. Б.)

Смысл этого высказывания в противопоставлении концепту единого концепта множественного. В опубликованном переводе пафос вывода Иригарэ совершенно теряется: вместо идеи множественности (*several*) появляется идея *раздельности*, то есть фрагментированности целого: “Женщина всегда остается *раздельной*, но избегает рассеяния, поскольку другой уже внутри нее и аутоэротически близок ей. Нельзя сказать, что она апроприирует другого, редуцируя его до своей собственности. Владение и собственность, несомненно, фактически чужды женскому. По крайней мере сексуально” (4. С. 69).

Понимание идеи оригинального текста не только затруднено здесь неоправданным калькированием (“апроприирует” вместо “присваивает”; “редуцируя” вместо “сводя” или “низводя”), но и некомпенсируемой заменой “несколько” на “раздельный”, которую можно объяснить только отсутствием видения этого фрагмента текста в философской перспективе

проблемы “единое (единичное) – многое” или “единое – другое”. Иригарэ подвергает сомнению метафизический подход в терминах единого начала и говорит о множественности.

Отсутствие этой перспективы наблюдается и в переводе другого текста, написанного в философской перспективе “единое-многое-другое”.

Речь пойдет о высказывании Жака Деррида из его книги “Позиции”, которое цитирует в своей книге “Изменчивое тело” Элизабет Гросс (12. Р. 211).

Для экспозиции комментариев перевода этого фрагмента обозначим философскую перспективу рассуждений Элизабет Гросс в переведенной на русский язык первой главе из книги. В этой главе делается краткий исторический экскурс в историю европейской философской мысли и дается общая характеристика дуализма сознания и тела, который присутствует как в европейском рационализме, так и в эмпиризме.

“Проблема дихотомического мышления, - пишет Элизабет Гросс, - состоит не в господстве одной [категориальной] пары, то есть проблема состоит не в проблеме числа “два”. Проблема состоит в *единице (one)*, то есть в том факте, что *единичное* не может позволить себе независимое, автономное иное [другое]. Любая инаковость (*otherness*) облечена в форму тождества, при том, что первичный элемент (*term*) действует как единственный независимый или псевдо-независимый. *Единичное (the one)* не допускает ни двоичностей (*twos*), ни троичностей (*threes*), ни четверичностей (*fours*). Оно не может переносить никакого *другого*. Единичное (единое), для того чтобы быть единичным, должно очертить вокруг себя границу или воздвигнуть вокруг себя барьер, обуславливающий тем самым утверждение бинарности внешнего/внутреннего, присутствия/отсутствия” (12. Р. 211).

Далее Э. Гросс комментирует различия между позициями Ж. Деррида и Нэнси Джей относительно бинарного, или дихотомического, мышления. Нэнси Джей (15) допускает третий член в бинарных оппозициях, который “разрешает напряженность, свойственную диадической структуре, своего рода гегелевский синтез противоположностей”. Тогда как Деррида “совершенно открыто отрицает воссоздание бинарности через ее замену (*supersession*). Устранение бинарной оппозиции или освобождение от нее устраняет разрыв (*interval*) между противоположностями, который с точки зрения и Деррида и Иригарэ нельзя не признавать” (12. Р. 211) (перевод мой. – Т. Б.).

В подтверждение своей интерпретации Деррида Гросс приводит фрагмент из его книги “Позиции”:

“Henceforth, in order better to mark this interval... it has been necessary to analyze, to set to work, *within* the text of the history of philosophy... certain marks, shall we say..., that *by analogy*... I have called undecidables, that is, unities of simulacrum, „false“ verbal properties (nominal and semantic) that can no longer be included within philosophical (binary) opposition, resisting and

disorganizing it, *without ever* constituting a third term, without ever leaving room for a solution in the form of speculative dialectic... In fact, I attempt to bring the critical operation to bear against the increasing reappropriation of this work of the simulacrum by a dialectics of the Hegelian type..., for Hegelian idealism consists precisely of a *relève* of a binary opposition of classical idealism, a resolution of contradiction into a third term that comes in order to *aufheben*, to deny while raising up, while idealizing, while sublimating into an anamnestic interiority (*Erinnerung*), while *interning* difference in a self-presence” (12. P. 211).

В наивном переводе этого фрагмента философский термин *properties* (“свойства”) переводится немотивированным контекстом словом “реквизиты”, семиотические термины “binary opposition” и “term [of binary opposition]” переводятся соответственно как “бинарное противопоставление” (вместо “бинарная оппозиция” и член [бинарной оппозиции]; вместо философского термина “reappropriation” используется калька “реаппроприация”, понятие о “anamnestic interiority” (глубина воспоминания) передается с помощью прямо противоположного по смыслу сочетания “амнезическая неполноценность”: „Для того, чтобы впредь лучше обозначить это расстояние ... необходимо было *в контексте* истории философии ... проанализировать, привести в действие ... определенные маркирующие знаки, которые, скажем ... *по аналогии* ... я назвал нерешаемостями, то есть соединениями симулякров, „ложными“ вербальными реквизитами (именующими и семантическими), которые уже невозможно вписать в философскую систему (бинарного) противопоставления, которые сопротивляются ей и дезорганизуют ее, *никогда*, однако, не формируя третьего понятия, не оставляя возможности для разрешения посредством спекулятивной диалектики... В сущности я пытаюсь ввести критическое действие, могущее противостоять непрекращающейся реаппроприации работы симулякра диалектикой гегельянского типа ... поскольку идеализм Гегеля состоит именно в *relève* (замене) бинарной оппозиции классического идеализма, разрешение противоречия через третье понятие, которое появляется для того, чтобы **aufheben**, отрицать, одновременно пробуждая, идеализируя, сублимируя в амнезической неполноценности (*Erinnerung*), интернируя различие собственным присутствием”. (3. С. 623).

В результате сочетания указанных и других замен, которые вызваны утратой философской, логико-семантической и семиотической перспективы оригинала переведенный текст приобретает противоположное значение. В частности, становится весьма неубедительным противопоставление гегелевской диалектики тому “критическому действию”, которое предпринимает сам Деррида. Из перевода возникает впечатление, что Гегель стремится “заменить бинарные оппозиции классического идеализма” и что разрешение противоречия (*resolution of contradiction*) в третьем члене приводит к забыванию

различия, тогда как французский философ говорит о прямо противоположном эффекте – о перемещении противоположности в область воспоминания.

Предпринятая мной попытка вторичной интерпретации анализируемого фрагмента (с английского языка) из сочинения дала такой результат:

“Итак, чтобы лучше пометить этот разрыв [разрыв между членами оппозиции]... появилась необходимость проанализировать, заставить работать *в рамках* текста истории философии... некоторые, так сказать, меты... которые я *по аналогии*... назвал неразрешимостями. Это единицы симулякра, “ложные” словесные свойства (нарицательные и семантические), которые уже нельзя внести в философскую (бинарную) оппозицию, которые сопротивляются ей и дезорганизуют ее, при этом *никогда* не образуя третьего члена, не оставляя пространства для разрешения в форме спекулятивной диалектики... На самом деле, посредством данного критического действия я пытаюсь противостоять тому, что диалектика гегелевского типа продолжает присваивать эту работу симулякра... ведь гегелевский идеализм как раз и состоит в *relève* [замене] бинарной оппозиции классического идеализма, разрешении противоречия в третьем члене, который является, чтобы *aufheben* [снять] различие, подвергнуть его отрицанию, и в то же время идеализировать его, сублимировать в глубину воспоминания [Ergrinerung], погрузить его в присутствие-для-самого-себя” (перевод с англ. мой. – Т. Б.).

Например, “*размещение* – это ни пространство, ни время; *початок* – это ни цельность (завязавшаяся) некоего начала или простой оторванности, ни простая вторичность...” (17. С. 77).

Итак, мы проанализировали некоторые образцы русских переводов западных текстов, которые отвечают заданному нами определению наивного перевода. Главный акцент в произведенном анализе был сделан на тех случаях наивной интерпретации, которые не учитывают теоретической перспективы оригинала<sup>1</sup>. Мы показали, что отсутствие подобной перспективы порождает смыслы, нередко противоположные смыслам оригинального текста: “коллективная идентичность” заменяется на “индивидуальность”, “воспоминание” - на “амнезию”, “раскрытие” – на “сокрытие” “препятствовать, перекрывать” - на “предопределять” и др.. Парадокс ситуации в том, что наивного переводчика не смущают возникающие в результате подобных некомпенсируемых замен противоречия и нестыковки.

---

<sup>1</sup> Ср., работы, в которых анализируются отдельные терминологические проблемы перевода гендерной и феминистской литературы: 20, 21.

Нормативный подход к переводу, заложенный во введенном нами понятии наивного перевода, предполагает, что главным объектом анализа... является не индивидуальный перевод, а определенный корпус переведенных текстов” (18. Р. 240).

Основываясь на этой методологической посылке и на фактах наивной интерпретации, проанализированных выше, имеет смысл задаться вопросами: как влияет корпус наивных переводов на развитие отечественного научного дискурса? О каких особенностях отечественного теоретического мышления свидетельствуют осуществленные интерпретации? Способствуют ли они наблюдающейся тенденции размывания сложившихся норм научного текста (см. об аналогичных наблюдениях 22)? Способствуют ли они интеграции гендерных исследований в ранее сложившиеся отечественные научно-исследовательские программы? Подтверждает ли характер современных переводов гендерной и феминистской литературы вывод Вальтера Беньямина, высказавшего предположение о том, что перевод не предназначается читателям, не понимающим оригинала (19. С. 187)? Кому адресованы проанализированные переводы, если они не адресованы не понимающим оригинала читателям?

Было бы слишком самонадеянным, если бы автор данной статьи стремился ответить на все эти и другие не менее важные вопросы в рамках одной статьи. Но в заключение предложенного анализа попробую ответить на последний из этих вопросов. В этом мне помог разговор с одной из финских участниц семинара в Твери, на котором излагались результаты проведенного в данной статье анализа: она выразила общую высокую оценку самих фактов перевода на русский язык наисложнейших работ в области гендерного анализа и теории феминизма.

Подобная оценка в совокупности с системным характером наивного перевода наводит на мысль о том, что корпус переведенных текстов можно оценивать как перформативный акт, адресованный не русской аудитории, а в первую очередь - глобальному научному сообществу.

То есть для исполнителей проанализированных переводческих проектов важен, прежде всего, сам факт опубликования этих переводов. Иначе говоря, смысл переводов складывается не из совокупности смыслов, которые несут в себе продукты переводческой деятельности. Доминирующий смысл, который вносят создатели русских переводов в свой труд, - это, по-видимому, желание интеграции отечественной традиции в мировой философский и научный дискурс, то есть в желании преодоления разделенности народов в этом глобальном мире (см. эпиграф). В таком случае, свидетельствует замечание финской коллеги, задача переводов достигнута.

## Цитируемая литература

1. Хоф Ренате. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. Гендер. Культура / Под ред. Э. Шоре и Каролин Хайдер. М., 1999. С. 23-54.
2. Жеребкин С. Забыть/помнить Фуко. Концепция психики власти Джудит Батлер // Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. Харьков, СПб, 2002. С. 5-14.
- 2а. Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. Харьков, СПб: Алетейя, 2002.
3. Введение в гендерные исследования. Ч. II. Хрестоматия / Под ред. С. Жеребкина. Харьков, СПб, 2001.
4. Гендерные исследования. 1999. № 3.
5. Rubin Gayle. Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality // American Feminist Thought at Century's End. A Reader / Ed. by Linda S. Kauffman. Cambridge MA& Oxford UK, 1993. P. 3-64.
6. Butler J. The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford University press, 1997.
7. Миллер К., Разави Ш. Гендерный анализ: альтернативные парадигмы // Гендер и глобализация. Теория и практика международного женского движения. М.: 2003.
8. Антология гендерной теории / Под ред. Елены Гаповой и Альмиры Усмановой. М.: ПроPILEI, 2000.
9. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. N. Y., L.: Routledge, 1990.
10. Scott Joan Wallach. Some reflections on Gender and Politics // Ferree Myra Marx, Lorber Judith, Beth B. Hess (eds.) Revisioning Gender. Thousand Oaks, L., New Dehli: Sage, 1999.
11. Irigaray L. This Sex Which Is Not One. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1985. P. 25-26. Рус. пер.: Гендерные исследования, 1999, № 3. С. 64-70.
12. Grosz Elizabeth. Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1994. 251 p.
13. Baker Mona. Norms // Baker Mona, Kirsten Malmkjaer (eds.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. L., N. Y.: Routledge, 1998. P. 163 – 165.
14. Cronin Michael. Translation and Globalization. L., N. Y.: Routledge, 2003. 197 p.
15. Jay Nancy. Gender and Dichotomy // Feminist Studies. 1981. 1: 38 - 56.
16. Derrida J. Positions. Translated and edited by Alan Bass, Chicago: University of Chicago Press, 1981.
17. Деррида Ж. Позиции. Киев. Пер. В. Бибихина.

18. Baker Mona. Corpus Linguistics and Translation Studies. Implications and Applications // Mona Baker, Gill Francis and Elena Tognini-Bonelli (eds.) Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Amsterdam: John Benjamins, 1993. P. 233-50. Cited by (13. P. 165).
19. Беньямин В. Задача переводчика. – Приложение к книге: Деррида Ж. Вокруг вавилонских башен. СПб: Академический проект, 2002.
20. Aristarkhova I. Trans-lating Gender into the Russian (Con) Text // The Making of European Women's Studies. Vol. II. / Ed. by Rosi Braidotti, Esther Vonk, Sonja van Wichelen. Utrecht University: ATHENA, 2000. P. 67 – 83.
21. Носова Н., Хайдер И. Проблемы перевода // Пол. Гендер. Культура / Под ред. Э. Шоре и К. Хайдер. М.: 2000. С. 15 –19.
22. Duszak Anna. Cross-Cultural Academic Communication: A Discourse-Community View // Duszak Anna (ed.) Culture + Style of Academic Discourse. B., N.Y.: Walter de Gruyter, 1977. P. 11-39.

## Гендер и этничность в дискурсе учебной литературы по социальной работе

### Введение

В отечественной академической традиции социальной работы и социальной политики проблемы гендерных и этнических различий становится предметом специального обсуждения. Анализ учебных пособий по социальной политике, социальной работе и социальной медицине показывает, что проявляющийся в них дискурс о мультикультурализме, антидискриминационной практике и правах человека следует современной политической риторике и, в некоторой степени, отражает развитие исследований в данной области. Однако, налицо далеко не полностью реализованный потенциал дальнейшего углубления рефлексии и усовершенствования учебной литературы по данным вопросам.

Этический кодекс социальной работы, Гендерная стратегия Российской Федерации, законопроект «О равных правах и равных возможностях для женщин и мужчин»<sup>1</sup>, Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 350500 «Социальная работа» от 2000 г. артикулируют эту позицию. Госстандартом курс «Гендерология и феминология» признан обязательным в числе специальных дисциплин (СД. 02), целый ряд других дисциплин выходит на гендерную проблематику: семейведение, социальная геронтология, проблемы социальной работы с молодежью, социальная политика. Атрибуты этничности входят в дидактические единицы в расшифровках ряда учебных дисциплин: «этнографические вопросы старения человека» (социальная геронтология), «этнографическая характеристика» (проблемы социальной работы с молодежью), «этнокультурные процессы становления русской государственности» (история), «этнографические аспекты социальной политики» (социальная политика).

Мы проанализировали 42 учебных пособия по основным и специальным курсам учебного плана специальности «Социальная работа», большая часть которых была издана с 1999 по 2004 гг. Все отобранные для анализа источники изданы крупными компаниями Москвы и Санкт-Петербурга, 28 изданий имеют гриф УМО или Минобробразования России. Рабочими единицами анализа выступают гендерные и этнические персонажи, квалифицируемые определенным образом, а также направления социальной политики и формы социальной работы, описание которых затрагивает те или иные смысловые аспекты гендера и этничности. В качестве единицы анализа, кроме того, выступает учебное пособие в целом, если оно целиком посвящено проблематике гендера или этничности, а также раздел

---

<sup>1</sup> В законопроекте рекомендовано введение гендерных курсов во все без исключения вузы России.

учебного пособия или более мелкий его фрагмент, содержащий разговор о нужной нам теме. В этом случае единицей контекста является логически завершенное смысловое пространство [Федотова, 2001]. В первой части статьи ставится задача выяснить, представлено ли гендерное равенство на повестке дня образования по социальной политике и социальной работе. Во второй части рассматриваются способы применения в учебной литературе понятия этничности. Внимание к этничности и гендеру в учебной литературе по специальности «Социальная работа» выступает для нас одним из признаков культурной сенситивности и информированности о правах человека как важнейших профессиональных атрибутов новой профессии. Речь идет не только об обучении студентов толерантности, пониманию и признанию разнообразия [Уолцер, 2000. С.88-89], но и о развитии профессиональных навыков распознавать дискриминацию и стремиться к соблюдению прав человека [Рагозин, 2002].

## 1. Гендерная экспертиза учебной литературы по социальной работе и социальной политике

### ***О чем молчат учебники?***

Весь корпус учебной литературы по итогам анализа можно условно разделить на четыре группы по степени присутствия категории гендера в учебном тексте. К *первой группе* мы отнесли издания, которые умалчивают о гендере. Таких изданий оказалось 10, причем среди них были и те, которые должны были бы отражать гендерную специфику. Так, история социальной работы [Фирсов, 2001] более полно была бы представлена с учетом деятельности женского движения конца XIX – начала XX вв., роли женских организаций в советское время и с акцентом на идеологии гендерного равенства при социализме. «Социальный менеджмент» [Макашева, Калиникова, 2002] обходит своим вниманием проблематику управления некоммерческими организациями, где роль женщин несомненна. В пособии «Социально-психологическая помощь обездоленным детям» [Шульга, Олиференко, Быков, 2003] даже разделы, которые наиболее очевидно выходят на тему пола, поскольку повествуют о технологиях помощи старшеклассникам и помощи пострадавшим от насилия, – выдержаны в гендерно нейтральном или гендерно нечувствительном тоне.

Отсутствие символов гендера является признаком, по которому можно классифицировать материал. Некоторые издания, хотя и разрабатывают гендерно чувствительную тематику, демонстрируют слепую идеологическую позицию, очевидно, ввиду исторически сложившихся и уже не замечаемых отношений гендерного неравенства. В частности, учебное пособие по социальной защите инвалидов [Антипьева, 2002] может быть примером как гендерно нейтральной, так и гендерно слепой позиции. С одной стороны, в

пособии излагаются основы отечественного законодательства, которое является прогрессивным в его гендерно нейтральной риторике (например, речь идет не о матерях, а о родителях детей-инвалидов). С другой стороны, хотя автор и упоминает некоторые трудности реализации законодательства, проблемы дискриминации, различного влияния законов на жизнь людей в зависимости от их пола – как инвалидов, так родителей детей-инвалидов – не рассматриваются.

### ***Гендерные персонажи: «физиологические и иные особенности»***

В десяти изданиях появляется персонаж, наделенный половыми признаками. Обычно это женщина. И хотя гендерная терминология (гендер, феминность/маскулинность, сексуальность, патриархальность) здесь не используется, но возникают коды половых признаков (женщина), женских ролей (материнство) [Зубкова, Тимошина, 2003; Климантова, 2004; Социальная работа... 2001], как и соответствующих прав [Антипьева, 2002; Волгин, Гриценко, Шарков, 2003], льгот и гарантий, которые предоставляются «отдельным категориям работников с учетом их физиологических и иных особенностей» [Трудовое право... 1999. С.39]. В частности, речь идет об особенностях трудоустройства женщин, назначения им уголовного наказания, правах на пособия и пенсионное обеспечение.

В пособии по психодиагностике в системе социальной работы [Никишина, Василенко, 2004] женский персонаж возникает в методике на определение агрессии (С.70-73): «считаете ли Вы это агрессией», – спрашивается в методике, – «если женщина убивает насильника? Если муж дает жене пощечину?..». Никаких комментариев по проблеме насилия здесь не приводится.

Практически во всех проанализированных изданиях используется гендерно нейтральная терминология: ребенок, подросток, лицо, клиент, специалист, студент, старики и пенсионеры, инвалиды, бездомные, мигранты; «пожилой человек», «социальный работник», «больной». Лишь однажды в разделе пособия по теории социальной работы [Фирсов, Студенова, 2000] нам встретилось употребление термина в женском грамматическом роде: «клиентка». В ряде случаев, говоря о молодежи, авторы упоминают понятия «молодой человек», «молодые люди», хотя в русском языке эти обороты устойчиво ассоциируются именно с мужчинами. Во всех проанализированных изданиях, говоря о людях, авторы применяют местоимения мужского рода: «в какой бы сфере ни работал социальный работник, он обязан исходить из принципиальной профессиональной позиции: человек должен иметь условия, необходимые ему для развития и достойной жизни...» [Социальная работа... 2001. С.244].

## *Гендер как переменная*

Обращение к гендерным различиям как демографическому конструкту – отличительная черта следующей группы пособий, в которую вошло 14 книг. Здесь гендер играет роль переменной, от которой, как показывают авторы, зависит степень остроты социальной проблемы, уровень переживания стресса, особенности жизненной траектории и характер требуемой помощи. В девяти пособиях гендер как переменная возникает внутри одного или нескольких разделов, а в пяти изданиях является структурным компонентом книги, вынесенным в оглавление.

### *Половые различия и социальная работа*

Рассмотрим вначале те образцы учебной литературы, где категория гендера не выделяется в качестве структурной единицы текста – раздела, параграфа, главы, – но затрагиваются ее понятийные области как переменной. В некоторых пособиях нам встречается понятие «половые (или половозрастные) различия». Во введении к пособию «Практикум социального работника» [Козлов, Иванова, 2001] среди качеств специалиста отмечается умение оказывать социальную помощь различным половозрастным, этническим группам населениям (С.3). Половые различия в подверженности и влиянии травматических событий рассматриваются в пособии по клинической психологии в социальной работе [Клиническая психология, 2002], однако, здесь обнаружены только проявления дифференциации, но не обсуждаются ее причины. Тем самым «различия» показаны как естественный биологический факт, а не как следствие разделения труда в обществе, распространения патриархатных установок и практик насилия.

Единственная гендерно специфическая сторона детского развития, на которой сделан акцент в учебном пособии по социальной реабилитации [Мардахаев, 2001], это повседневное копирование мальчиками своих отцов, а девочками – матерей (С.19). Монородительские материнские семьи, очевидно, из этой теории выпадают. В то же время, явный дисбаланс в распределении ответственности между родителями, это смещение нагрузки на мать преподносится вне какой бы то ни было связи с компетентностью женщин в делах их детей, которая начинает восприниматься как природное свойство. Квалификация роли отца как вялой и отстраненной, а матери – включенной на инстинктивном уровне вне всякого объяснения причин явления и способов изменений вносит вклад в биологизацию гендерных различий.

В другом учебном пособии [Социальная педагогика, 2002] представлены характеристики современного общества, виновные в разрушении или ослаблении семейных связей: «Раньше главной заботой женщины была семья. Теперь вследствие облегчения

домашнего труда женщина имеет возможность трудиться вне семьи. Культурный уровень современного общества также способствует самостоятельности женщины. Расширение избирательных прав женщины дает ей возможность активно участвовать в деятельности государственных, общественных и политических организаций. Все перечисленное ведет к тому, что семья по существу лишается света, согревающего ее» (С.78). В неполной семье, как утверждается, «нередко мать, воспитывая ребенка по своему образу и подобию, тем самым неосознанно толкает его к повторению своей личной жизни, к усвоению стандартов своего поведения» (С.90). К сожалению, воспитываемые на такой литературе студенты рискуют выучить предубеждения в качестве официальной точки зрения, которую нужно представлять на зачетах и экзаменах, а затем транслировать в их профессиональной деятельности.

В пособии «Прикладные методы социальной медицины» [Черносвитов, 2002] гендерная тематика фигурирует в контексте примеров различных странностей и перверсий. А в «Социальной геронтологии» [Яцемирская, Беленькая, 1999] можно найти объяснение половых различий выхода на пенсию. Оказывается, «выход на пенсию легче переносится женщинами, чем мужчинами. Это объясняется тем, что женщины в своей основной массе занимаются профессиональной деятельностью по чисто экономическим причинам, а не для удовлетворения потребностей самореализации. Выход на пенсию женщин, обремененных домашними обязанностями, ведением хозяйства, воспитанием детей, воспринимается ими как серьезное облегчение и удовлетворение» (С.158). Здесь налицо идеология женской работы, согласно которой основное предназначение женщин – это домашний труд, а их оплачиваемая занятость временна и неосновательна [См. об этом Ярская, Ярская-Смирнова, 2002].

#### *«Добавить женщину и перемешать»*

Следующая группа представлена пятью изданиями, в оглавлении которых присутствует категория гендера. Учебное пособие по социальной работе [Социальная работа, 1999] содержит параграф «Феминология», где на шести страницах в весьма позитивной трактовке рассказывается о феминизме как социальном движении и теории, выдержан объективно-научный тон изложения (С.440-445). Вместе с тем, в других разделах дается однозначная характеристика разводов в аспекте их отрицательного влияния на нравственно-психологическое развитие детей, а также осуществляется демонизация монородительских семей, которым приписываются стереотипные негативные качества.

Учебное пособие «Теория социальной работы» [Фирсов, Студенова, 2000] содержит главу «Сексизм и этнизм как факторы дискриминации человека», в которую входит параграф «Сексизм и антидискриминационная практика социальной работы» (С.321-329). Ключевые понятия параграфа: дискриминация, феминизм, женщина. В этом же пособии есть параграф

«Феномен пола и психосоциальные проблемы клиента» (С.338-354), где говорится о мужских и женских стереотипах, ролевом поведении в социуме, в семье, на производстве.

В другом учебнике [Основы социальной работы, 1997] гендерно окрашенные персонажи встречаются дважды: это люди с гомосексуальной ориентацией и женщины. О гомосексуальности здесь говорится в разделе «Девиянтное поведение на почве сексуальных заболеваний» (С.274). В разделе «Социальный контроль девиантного поведения» говорится о необходимости формирования терпимого и милосердного отношения к «инакодействующим (сексуальным меньшинствам и пр.)» средствами массовой информации, учебными и просветительскими организациями (С.278).

Социальной защите женщин здесь посвящена глава 16 (С.174-187), в начале которой дается характеристика содержания и эволюции «женского вопроса»: показывается влияние на женщин идеологических и социально-экономических процессов. Итог нынешних социальных трансформаций в России показан с отрицательных позиций. Тематизации главы – низкая степень участия женщин в политике, женское лицо безработицы, рост заболеваемости и сокращение продолжительности жизни, насилие над женщинами (С.177-178, 183). Слова «ухудшение», «ухудшилось» повторяются пять раз на трех страницах. В завершении главы женщины представлены как объект заботы и контроля со стороны государственной политики, которая уже не подвергается сомнению.

В главе «Основные социальные группы российского общества» учебника «Социальная политика» говорится, что женщины «представляют социально-демографическую категорию населения, которая отличается рядом физиологических особенностей, специфическим гормональным статусом, положением в социальной структуре... Основная причина выделения женщин в качестве особой социально-демографической группы и специфической категории клиентов социальной работы является биологической предпосылкой целого ряда культурных и социальных последствий» [Социальная политика, 2002. С.684]. Подобная трактовка женщин как особого биологического вида выступает основой патриархатных отношений и дискриминации.

### ***Гендер как концептуальная основа анализа***

В нашей выборке оказалось четыре таких издания, где гендер эксплицитно заявлен как методология теоретической и практической социальной работы. Уже упоминавшееся пособие по теории социальной работы [Фирсов, Студенова, 2000] дает определение сексизма (С.321-327). Однако при ближайшем знакомстве с другой частью пособия читателя может постигнуть разочарование. Оказывается, специалисту нужно знать «поло-ролевые особенности клиента», поскольку «социальный работник, определяя проблемы клиента,

одновременно помогает ему осознать поло-ролевые функции в социуме, что способствует наполнению ресоциализации гуманистическими концепциями и нормами» (352). Из небольшого подраздела «Социальная работа и проблемы пола» мы узнаем о реальном месте гендерного подхода в профессиональной практике. Это место – семья.

Авторы учебного пособия «Психология социальной работы» [Психология социальной работы, 2004], рекомендованного Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию для студентов, обучающихся по специальности «психология», обращаются к категориям гендера, говоря о необходимости распознавания сексизма, важности применения антирасистской практики и развития недискриминационных политик и практик, направленных против угнетения, развивать понимание различий полов и демонстрировать антисексизм в практике социальной работы (С.55). Однако, далее в пособии приводятся медикалистские объяснения гомосексуальности, к тому же еще и демонизирующие монородительские семьи. Затем автор без какого-либо перехода вдруг начинает говорить о выборе и индивидуальном самоопределении (С.299), уважении сексуальной ориентации клиента и даже о необходимости учитывать опыт социальной дискриминации клиента (С.300).

Учебное пособие по социальной работе с пожилыми людьми [Холостова, 2002] успешно решает задачу применения демографических данных в качестве основы для последующей концептуализации социальных проблем и социальной работы в гендерном аспекте: ввиду численного преобладания женщин над мужчинами в старших возрастах среди населения Российской Федерации автор ставит «актуальную задачу исследования особенностей «женской старости» с точки зрения состояния здоровья, материально-имущественного и семейного статуса, способности к самообслуживанию, специфики социальных потребностей» (С.86). Автор не только ставит вопрос как об одиночестве пожилых женщин (С.218), но и подчеркивает особенности взаимопомощи в зависимости от пола.

То, что профессия имеет ярко выраженную «женскую специфику», нашло своеобразное выражение в учебном пособии по менеджменту социальной работы [Менеджмент социальной работы, 1999]. В этом пособии в целом используется гендерно неспецифический язык: кадры, лицо, специалист, работники, клиенты, обслуживаемые лица, граждане, – а также местоимения мужского рода. Однако, здесь же возникает «заведующая отделением», которая проверяет, *выполнил* ли *работник* свою норму (С.151). Феномен пола здесь играет роль концептуальной основы обсуждения проблемы в ключе гендерных стереотипов: поскольку среди руководителей социальных служб преобладают женщины, то, считает автор, «необходимо учитывать «домашние роли» женщины-руководителя – мать, жена, домохозяйка» (С.11).

## ***Семья и женщины***

Отдельно следует сказать о двух книгах, посвященных вопросам, непосредственно связанным с гендерными отношениями, о чем и говорится в их названиях: семейная политика и социальная защита женщин. В учебном пособии по семейной политике [Климантова, 2004] есть несколько важных, с моей точки зрения, позиций. Во-первых, в самом начале говорится о термине «семья с одним родителем», применяемым Госкомстатом. Второй важный момент, освещаемый в этой книге – спор между сторонниками идеи кризиса и модернизации семьи (С.11), а также упоминание экономического обоснования неравенства между женщинами и мужчинами у Энгельса (С.13). Говорится здесь и о гендерной политике (С.20), правда, ни принципы, ни направления ее не раскрываются.

Пособие по социальной защите женщин, детей и семьи уже своим названием [Зубкова, Тимошина, 2003] наводит на мысль, что гендерный подход здесь осуществляется с таких позиций, которые связывают проблемы семьи и детей исключительно с женщинами. В пособии делается большой упор на классификации семей, среди которых выделяют неблагополучные, а те, в свою очередь, подразделяются на конфликтные и дезорганизованные (С.21). Что касается монородительских семей, то выучивание стереотипов о них предлагается осуществлять еще и при помощи экзаменационного теста по предмету, где требуется дать определение неполной семьи – термин по своей сути дискриминационный.

## ***Явный сексизм в учебной литературе***

Учебное пособие по социальной медицине Е.В.Черносвитова [Черносвитов, 2000] среди проблем социальной медицины, актуальных на постсоветском пространстве, затрагивает в том числе «эротизацию населения», а также общие проблемы, фиксируемые как в России, так в странах Запада «в связи с научно-техническими достижениями», включая «изменение половой принадлежности» (С.21-22). Текст изобилует предложениями, которые совсем не ожидаешь увидеть в современном учебном пособии для социальных работников. Автор нападает на противозачаточные средства, при этом контрацептивная культура более никак не обсуждается, а социально-медицинские аспекты абортов и беременности подростков затрагиваются в параграфе с характерным названием «Медико-деонтологические проблемы смертной казни и эвтаназии». Очевидный сексизм и гомофобия (как и этноцентризм) не мешают автору издавать одно за другим свои пособия, хрестоматии и практикумы, в которых он раз от разу воспроизводит дискурсивные практики, нацеленные на ущемление достоинства людей.

## 2. Дискурс этничности в учебной литературе по социальной работе

### *Невидимые различия*

Весь корпус учебной литературы по итогам анализа можно условно разделить на три группы по степени присутствия категории этничности в учебном тексте. К *первой группе* мы отнесли те издания, которые умалчивают об этничности. Таких изданий оказалось 22, причем среди них были и те, которые, должны были бы содержать аспекты этнографической специфики изучаемого феномена, судя по представленным в Госстандарте дидактическим единицам (в частности, издания по социальной геронтологии, социальной политике, социальному менеджменту).

Отсутствие символов этничности является признаком, по которому можно классифицировать материал. Умолчание может быть расценено либо как идеологически нейтральная, либо как слепая идеологическая позиция. В пользу первой стратегии можно привести идею Малахова относительно того, что «средоточие политик культурного плюрализма в демократическом обществе образует не поощрение «диалога» между этнолингвистическими и этноконфессиональными группами, а формирование общего коммуникационного пространства, которое по своей природе надэтнично» [Малахов, 2002. С.59]. В самом деле, целый ряд аспектов образования по социальной работе не требуют никакого специального акцента на этнических различиях, что и демонстрируют многие проанализированные пособия [Антипьева, 2002; Золотарева, Минингалиева, 2001; Климантова, 2004; Клиническая психология в социальной работе, 2002; Мардахеев, 2001].

Вместе с тем, некоторые издания, хотя и разрабатывают этнически чувствительную тематику, демонстрируют слепую идеологическую позицию, очевидно, ввиду исторически сложившихся и уже не замечаемых отношений неравенства между доминирующими этническими группами и меньшинствами. Отсутствие этнического разнообразия в этом случае означает негласное символическое закрепление властных позиций доминирующей группы. В частности, учебные пособия по истории социальной работы [Фирсов, 2001; Мельников, Холостова, 2002] представляют довольно типичный метанарратив, который способствует формированию монокультурной профессиональной идентичности: здесь эволюция общинной, церковной и государственной социальной поддержки, начавшись со славян-язычников, в течение дальнейшего периода вплоть до социалистической революции наблюдается по делам православной церкви и монастырей. Никаких культурных различий в связи с этничностью или конфессией не просматривается и в ходе советской истории социального обеспечения.

### ***Этничность в постраничной сноске***

Во вторую группу вошли те образцы учебной литературы, где категория этничности не выделяется в качестве темы структурной единицы текста – раздела, параграфа, главы, – но затрагиваются ее понятийные области. В нашей выборке оказалось 14 таких изданий.

В учебном пособии «Социальная работа с осужденными» [Социальная работа с осужденными, 2002] нет специальных разделов, в которых бы раскрывалось смысловое поле этничности. Однако, в главу «Социальная работа с осужденными в пенитенциарных учреждениях» включен параграф «Педагогические аспекты социальной работы в исправительном учреждении», где на 24 страницах излагаются соображения по религиозной программе деятельности попечительского совета как одной из форм социальной работы с заключенными (С.126-151). Индивиды и группы, являющиеся объектом внимания социального работника, мыслятся как субъекты теологических категорий, этим обусловлен и специфический характер дискриминации в религиозной сфере: говорится здесь исключительно о роли христианской церкви в воспитательной работе с осужденными. Между тем, в начале учебного пособия авторы утверждали, что социальный работник обязан «стремиться, чтобы все люди имели свободу выбора и доступа к необходимым им средствам и услугам» (С.57), а также, что «в соответствии с конституционными положениями нормы уголовно-исполнительного кодекса не устанавливают каких-либо ограничений для осужденных в зависимости от пола, расы, национальной принадлежности, религиозных и политических убеждений» (С.37).

Учебное пособие «Этика социальной работы» [Медведева, 2002], рекомендованное Министерством образования РФ для студентов высших учебных заведений, не содержит специально выделенных глав или параграфов, посвященных интересующей нас теме. Однако, в пособии коды этничности все же встречаются. Так, автор полагает, что «этические кодексы социальной работы не могут не иметь различий, связанных со спецификой менталитета различных народов, их национальными обычаями и традициями, уровнем социально-экономического развития и статусом социальной работы в обществе» (С.108). Автор тем самым поднимает важный и неоднозначный вопрос о социокультурной специфике этических принципов социальной работы.

В учебном пособии Е.И.Холостовой «Социальная политика» [Холостова, 2001] в главу «Структура, объект и субъект социальной политики» включен параграф «Территориально-государственный тип социальной политики», где в качестве важнейшего обстоятельства, влияющего на реализацию государственной социальной политики, указаны «социокультурные особенности населения той или иной территории, которые формируют

определенные социальные ожидания по отношению к социальной политике, продуцируют специфические формы социальной поддержки» (С.31). Автор приводит пример того, что «в регионах с хорошо сохранившимися формами традиционного поведения распространена семейно-родовая поддержка детей и престарелых, отчего клиентами учреждений социального обслуживания являются в первую очередь представители нетитульного населения» (сноска 5, С.31).

Некоторую пищу для размышлений дает учебное пособие по социальной медицине [Черносвитов, 2000], которое затрагивает актуальные на постсоветском пространстве проблемы социальной медицины, среди которых – «вынужденные переселенцы» (С.21-22). Обсуждая вопрос о проблемах беженцев и вынужденных переселенцев (С.72-80), Черносвитов указывает, что «одним из следствий многолетней работы по регулированию миграционных потоков является, в частности, изменение национального состава вынужденных мигрантов в сторону увеличения удельного веса этнических россиян»<sup>2</sup> (С.79).

### ***«Этническая среда» социальной работы***

Следующая группа учебных пособий представлена шестью изданиями, в оглавлении которых присутствует категория этничности. В учебном пособии по технологиям социальной работы [Технология социальной работы, 2002] коды этничности присутствуют в оглавлении книги. Интересующая нас проблематика выражается через тему миграции, которой здесь посвящена глава «Особенности технологии социальной работы с мигрантами», рассматривающая миграцию как социальное явление и обсуждающая технологии социальной работы. «Главной задачей социальных служб, так или иначе встречающихся с миграцией в своей работе», – указано в пособии, – «является сведение к минимуму тех отрицательных тенденций и последствий, которые она в себе несет. Оппозиция «благо-зло» в отношении к экономическому измерению миграции согласуется с идеями Д.Голдберга о моральном обосновании идеологии эксплуатации «чужих» «своими» ввиду потребности в дешевом сырье и труде с развитием капитализма [Goldberg, 1994].

В учебнике под редакцией П.Д.Павленка, рекомендованном Министерством общего и профессионального образования РФ для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Социальная работа» [Основы социальной работы, 1997], имеется глава о «роли социальной работы в нормализации отношений между социально-этническими общностями» (С.241-252)<sup>3</sup>. Сформулировав такую новую для отечественной академической

---

<sup>2</sup> Судя по контексту, автор имел в виду этнических русских, так как выражение «этнический россиянин» лишено смысла.

<sup>3</sup> Текст этой главы практически идентичен тексту параграфа «Социальная работа в этнической среде» из пособия «Социальная работа: теория и практика», анализ которого дается ниже.

сферы проблему, автор раздела прибегает к архаичной классификации: «Выделяют нации буржуазные, социалистические и нации переходного типа» (С.241). В этом же учебнике есть глава «Миграция и проблемы социальной работы» (С.253-263), в которой коды этничности – потеря территориальных корней, маргинальность, дезинтеграция и реинтеграция, ущемление прав, в том числе, «на жилье, определение этнической принадлежности» и целый ряд прав социального гражданства, зафиксированных во Всемирной Декларации прав человека.

В другом пособии [Социальная работа, 1999] вводится понятие культурного стереотипа как обобщенного типа поведения, характерного для общества и его представителей, который может создавать трудности для социального работника в процессе оценки потребностей клиента: «Можем ли мы в процессе непродолжительного общения, которое возникает между социальным работником и клиентом, определить, соответствуют ли претензии на социальную защиту жизненно важным потребностям этого человека или же здесь более значительную роль играют формальные поведенческие стереотипы?» (С.491). Налицо четкая оппозиция между рациональностью государственной политики и ее агентов, с одной стороны, и «иррациональностью» переселенцев, этнических персонажей, с другой. Люди, демонстрирующие особое с культурной точки зрения поведение, тем самым, мыслятся как низшие, и это обосновано не биологически или исходя из происхождения, а в политических и культурных терминах. Притязания автора на культурное превосходство, выступающего от лица социальных работников, объясняется моральными, социокультурными, правовыми, экономическими причинами. Этнический персонаж здесь лишен тех основных добродетелей, которыми должны отличаться достойные клиенты социальной работы – он непослушен, его традиционность, дезадаптированность и нежелание рационализировать свое поведение ассоциируется с отсталостью и сопротивлением модернизации.

Учебное пособие «Теория социальной работы» [Фирсов, Студенова, 2000] содержит параграф «Этноцентризм и проблемы поддержки нуждающихся», занимающий восемь страниц (С.329-336), в основном посвященный обсуждению различных типологий: классификаций причин этноцентризма и дискриминации, разновидностей этнической самоидентификации и межэтнических отношений, типов дискриминатора. Собственно социальной работе уделяется две страницы параграфа, на которых излагаются принципы «взаимодействия с этночувствительными клиентами» (С.335-336).

Учебное пособие «Основы этнической психологии» [Платонов, 2003] рекомендовано УМО вузов РФ по социальной работе. В разделе VI «Межэтнические конфликты» читаем: «Межэтническим конфликтам всегда сопутствуют вынужденные мигранты» (С.308). Коды этничности в этом разделе: «напряженность», «конфликты», «кризисная ситуация», «психическая инфляция», «гиперидентичность», «социальная паранойя». Автор прибегает к

медицинским ассоциациям, что позволяет ему усилить аргументацию с экспертных позиций и представить проблему миграции в виде эпидемии, а переселенцев и беженцев – разносчиками «микробов национализма» (С.309).

## Выводы

Наибольшее развитие гендер как концепция находит в тех редких учебных пособиях, написанных на иностранном материале, где излагаются западные теории, поддерживаемые иллюстрациями из западных же исследований. Современные отечественные гендерные исследования пока не привлекли внимание авторов учебных пособий, а известные зарубежные теории не преломляются на отечественные реалии. Однако, даже в этих пособиях концептуальное представление о гендерных различиях в аспекте прав человека или факторов формирования социальных проблем упоминаются мимоходом: как правило, им посвящается небольшой фрагмент одного из разделов, а дальнейшее повествование ведется не на основаниях гендерной теории, а вне или даже вопреки им.

Скорее всего, умолчание о гендере означает незнание и игнорирование тематики, но в ряде случаев свидетельствует о сознательном выборе биодерминистских позиций. Употребляя гендер как переменную, авторы констатируют половые различия ухода за инвалидами или отбывания наказания в исправительном учреждении. Чаще всего в таких случаях половые различия предстают биологическими овеществленными сущностями, а социальные условия их конструирования не принимаются в расчет. Если же к бинарной категории пола прибегают как к демографическому параметру, то очень поверхностно, поскольку дальнейшее объяснение проводится по совершенно другим переменным, не связанным ни с полом, ни между собой (возраст, инвалидность и пр.).

Авторы представляют половые различия биологическими овеществленными сущностями, а социальные условия их конструирования не принимаются в расчет. Весьма устойчивым ходом в духе патриархатной государственной идеологии являются морализаторские сетования по поводу матерей вообще, которые классифицируются на правильных и неправильных, и одиноких матерей, в частности, – эти персонажи показаны аморальными, неблагополучными и опасными как для своих собственных детей, так и для общества в целом. То, что в проанализированной учебной литературы в качестве персонажа с половыми признаками выступает именно женщина, – показатель для патриархатного представления о норме как «белом мужчине среднего класса, имеющем работу», и патоцентричных представлений о социальной работе в целом. Анализа гендерной специфики социальных проблем или социальной работы здесь мы не найдем.

Квалификация атрибутов этничности в поле социальной политики и социальной работы включила следующие градации модальности текста: культурная специфика, социальная проблема, права человека. В этом символическом континууме смысловая атрибуция этничности осуществляется с различной степенью обеспокоенности относительно общественной безопасности и порядка. Репертуар модальности, тем самым, может быть представлен на континууме от нейтральных символов культурных вариаций, к правам на труд и социальное обеспечение до необходимости регуляции, контроля, применения силы. Этнические персонажи квалифицируются как особые клиенты системы социального обслуживания, в принципе способные к интеграции, но выступающие источником реальной или потенциальной социальной опасности. Как правило, эта квалификация фокусируется на статусе мигранта, принадлежности к культурной группе, типу семьи без внимания к другим параметрам статуса. В проанализированных учебных пособиях отсутствует язык расизма и исламофобии, однако, в некоторых изданиях происходит символическое утверждение доминирующих этнических атрибутов – конфессии, традиций, культуры, истории. Технологии нондискриминационной или мультикультурной социальной работы, активной толерантности, позиции социальной критики пока что в учебной литературе не раскрыты.

## Литература

1. Антипьева Н.В. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации: правовое регулирование. Учеб.пособие. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
2. Волгин Н.А., Гриценко Н.Н., Шарков Ф.И. Социальное государство. Учебник. М.: «Дашков и К», 2003.
3. Золотарева Т.Ф., Минингалиева М.Р. Основы психологической самопомощи социального работника. Учебное пособие. М.: МГСУ, 2001.
4. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семьи. М.: Academia, 2003.
5. Климантова Г.И. Государственная семейная политика современной России. Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2004.
6. Клиническая психология в социальной работе. Учебное пособие / Под ред. Б.А.Маршенина. М.: Academia, 2002
7. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практикум социального работника. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.
8. Макашева З.М., Калиникова И.О. Социальный менеджмент. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

9. Малахов В. Зачем России мультикультурализм? // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / Под ред. В.С.Малахова и В.А.Тишкова. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2002.
10. Мардахаев Л.В. Социально-педагогическая реабилитация детей с ДЦП. Учебное пособие. М.: МГСУ, 2001.
11. Медведева Г.П. Этика социальной работы. М.: ВЛАДОС, 2002.
12. Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России. Учебное пособие. 2-е издание. М.: Маркетинг, 2002.
13. Менеджмент социальной работы / Под ред.Е.И.Комарова и А.И.Войтенко. М.: Владос, 1999.
14. Никишина В.Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работы. Учебное пособие. М.: Владос, 2004.
15. Основы социальной работы. Учебник / Отв.ред.П.Д.Павленок. М.: Инфра-М, 1997
16. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. Учеб.пособие. СПб: Речь, 2003.
17. Психология социальной работы/ Под ред.М.А.Гулиной. М., СПб: Питер, 2004.
18. Рагозин Н. Принцип интеркультуральности в преподавании прав человека: методические проблемы // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / Под ред.В.С.Малахова и В.А.Тишкова. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2002.
19. Социальная педагогика / Под ред.В.А.Никитина. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002
20. Социальная политика. Учебник / Под ред. Н.А.Волгина. М.: «Экзамен», 2002
21. Социальная работа / Под общей ред. проф.В.И.Курбатова. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
22. Социальная работа с осужденными. Учебное пособие / Под общей ред.В.И.Жукова, М.А.Галагузовой. М.: Изд-во МГСУ, 2002.
23. Социальная работа: теория и практика. Учебное пособие/ Отв.ред.Е.И.Холостова, А.С.Сорвина. М.: ИНФРА-М, 2001
24. Технология социальной работы. Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. И.Г.Зайнышева. М.: «Владос», 2002.
25. Уолцер М. О терпимости. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000.
26. Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой коммуникации. М.: Научный мир, 2001.
27. Фирсов М.В. История социальной работы в России. Учебное пособие для студентов высш.учеб.заведений. М.: ВЛАДОС, 2001.
28. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. Учебное пособие для студентов высш.учеб.заведений. М.: «ВЛАДОС», 2000.
29. Холостова Е.И. Социальная политика. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001.

30. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2002.
31. Черносвитов Е.В. Прикладные методы социальной медицины. М.: ВЛАДОС, 2002.
32. Черносвитов Е.В. Социальная медицина. Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
33. Шульга Т.И., Олиференко Л.Я., Быков А.В. Социально-психологическая помощь обездоленным детям. М.: Изд-во Университет РАО, 2003.
34. Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р. «Не мужское это дело...» Гендерный анализ занятости в социальной сфере // Социологические исследования. № 8, 2002. С.74-82
35. Яцемирская Р.С. и Беленькая И.Г. «Социальная геронтология». М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.
36. Goldberg D.T. Racist Culture. London: Cambridge, Mass., Oxford, UK, 1994

## «Terminological trouble»: литература в дискурсе феминистской критики

Популярность и престиж гендерных исследований не только на Западе, но и в России, кажется, не нуждается в особом подтверждении. Слово «гендер» прочно закрепился в лексиконе заинтересованных новыми методологиями исследователей и уже не режет слух консервативно настроенным недоброжелателям всего «гендерного». Вместе с тем на фоне стремительной адаптации новых научных подходов, предлагаемых феминистской критикой, все более очевидными становятся негативные стороны такого широкомасштабного гендерного освоения. В первую очередь это касается отечественных исследовательских практик.

Дело в том, что теоретической и методологической базой для российских исследователей являются достижения западных коллег. Поэтому закономерно, что российские ученые активно используют потенциал, выработанный в последние десятилетия теоретиками англо-американского и французского феминизма. С одной стороны, нельзя отрицать успешности поисков российских ученых в области гендерологии и феминистской критики: осуществляется гендерная переоценка традиционных социокультурных конструкторов, происходит реабилитация женского вклада в культуру. С другой стороны, гендерно ориентированное направление в гуманитарных науках сталкивается с очевидными теоретико-методологическими проблемами, главная из которых – способы адаптации заимствованного, а значит «чужого» опыта. О фундаментальных трудностях, связанных с переводом феминистских и гендерных концептов не раз говорилось в работах многих авторов<sup>1</sup>. Все они подчеркивают ту множественность и даже разность позиций, которые скрыты за, казалось бы, целостными феминистскими понятиями. Происходит адаптация гендерного терминологического аппарата российскими авторами, но при этом нередко возникает впечатление неотработанности в использовании некоторых ключевых понятий феминистской теории<sup>2</sup>. В мои задачи не входит освещение всех аспектов этой сложной и проблемной области культурной рецепции и эксплуатации «чужого» знания, однако предмет

---

<sup>1</sup> Зверева Г.И. «Чужое, свое, другое...»: феминистские и гендерные концепты в интеллектуальной культуре постсоветской России // Адам и Ева. Альманах гендерной истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2001. № 2; Халева И. Гендер как интрига познания // Гендер как интрига познания. Сборник статей / Сост. А.В. Кирилина. М., 2000; Здравомыслова Е., Темкина А. Введение. Феминистский перевод: текст, автор, дискурс // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 2000; Шоре Элизабет, Хайдер Каролин. Предисловие // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. М., 2000. Вып. 2.

<sup>2</sup> Так, например, о проблеме терминологической неточности и подмене терминов говорит Е.И. Трофимова в своей статье *Терминологические вопросы в гендерных исследованиях* // *Общественные науки и современность*. 2002. № 6.

рефлексии так или иначе лежит в плоскости обозначенных проблем. Я хотела бы сосредоточиться на некоторых проблемных моментах использования гендерной терминологии, актуальность которых продиктована личным исследовательским опытом.

На мой взгляд, наибольшее затруднение представляет собой терминология, непосредственно связанная с областью определения «женского». С одной стороны, это вполне понятно и объяснимо, поскольку сам концепт женского и (если можно так выразиться) субстанция «женщина» как раз и является предметом феминистского теоретизирования. Поэтому большинство противоречий касаются содержательной стороны определения женской субъективности. Вместе с тем, концепт женской идентичности активно используется исследователями в качестве категории анализа текстов женских авторов. В частности, меня будут интересовать вопросы, связанные с использованием в литературоведческих исследованиях ключевого для феминистской критики понятия «женская идентичность». Прежде всего потому, что именно с помощью этого термина достаточно часто описывается индивидуальный «женский опыт» и женская саморепрезентация. Главным образом меня интересует вопрос о потенциальной возможности употребления концепта «женская идентичность» как элемента метаязыка в исследованиях женских текстов. Для этого необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- Какие точки зрения на идентичность предлагает феминистская теория;
- Какое бытование понятие идентичности получает в исследовательских практиках.

Прежде чем говорить о концептуализации идентичности в феминистской теории, обратимся к возможным определениям этого понятия. Термин «идентичность» был введен в 1960-е гг. Э. Эриксоном для обозначения осознания человеком собственной целостности<sup>3</sup>. Именно элемент «осознания», положенный Эриксоном в основу понятия «идентичность», закрепился в его структуре. Так, позднее И.С. Кон определяет идентичность как «осознанное единство и преемственность телесных и психических процессов»<sup>4</sup>. Однако в связи с появлением в конце XX века новых теоретико-методологических подходов, наполнение понятия «идентичность» претерпело существенные изменения. Ранее целостное и единое понятие дифференцируется на множество разновидностей – расовая, национальная, гендерная, профессиональная. Как отмечает И. Жеребкина, наметившееся членение является результатом всеобщей переориентацией в интеллектуальном сообществе с установкой на междисциплинарность, а множественность концепций идентичности – одно из проявлений

---

<sup>3</sup> Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.

<sup>4</sup> Кон И.С. Словарь // <http://www.neuro.net.ru/sexology/termin.html>.

«антифундаментализма и направленности против традиционных, классических моделей мышления и культуры»<sup>5</sup>. Существенный поворот в концептуализации идентичности вносит и феминистский дискурс. Маркирование женского опыта и бытия как специфического позволило выделить новую конструкцию идентичности, которая закрепились в инновативном понятии «женская идентичность», или «женская субъективность». (Заметим, что оба термина употребляются в русскоязычной феминистской практике как синонимы!). Именно эта категория стала предметом теоретизирования в феминизме и одновременно приобрела статус проблемы. Проблемность этого концепта главным образом обусловлена разностью его толкований, предлагаемых методологическими подходами, которые складывались в процессе развития феминистской теории. С позиций первого, так называемого эссенциалистского подхода женская идентичность вслед за Симоной де Бовуар рассматривается как некая целостность и сопряжена с единым женским опытом. Второй, антиэссенциалистский подход, трактует женскую идентичность как плюральную, фрагментарную, а женский опыт как децентрированный, что соответствует постструктуралистскому варианту феминизма, одной из предпосылок которого становится иной взгляд на категорию «женщина», а соответственно и женскую идентичность. Женщина перестает мыслиться как исторически маркированная сущность и, пользуясь выражением Розы Брайдотти, переходит в разряд «идентифицируемого топоса»<sup>6</sup>. Важно принять во внимание тот факт, что подход к проблеме женской идентичности является результатом действенности тех философских и методологических подходов, которые возникли на стыке феминистского и постмодернистского дискурсов. Таким образом, эволюция феминистских теорий осуществляется в русле тех изменений, которые наметились в постмодернистской эпистемологии.

Двоякая интерпретация женской идентичности как стабильной и нестабильной определила разницу между англо-американским и французским вариантом феминизма с одной стороны и феминизмом и постфеминизмом с другой. При этом постфеминистская трактовка женской идентичности не только закрепила противоречие между англо-американским и французским направлениями, но и усложнила концепт «женского». В результате на современном этапе мы сталкиваемся со множеством интерпретаций женской идентичности: от признания женского начала как субстанциального до концепции «женского» вне субъекта (Ю. Кристева). Несомненно, что трудности в подходах к женской идентичности обусловлены столь же полемичной трактовкой самого концепта «идентичность». В связи со сменой научных методологий оно также подверглось

---

<sup>5</sup> См. об этом: Жеребкина И. Феминистская теория 90-х годов: проблематизация женской субъективности // Введение в гендерные исследования. Учебное пособие. / Под ред. И. Жеребкиной. Харьков, 2001. С. 50.

<sup>6</sup> Брайдотти Розы. Половое различие как политический проект номадизма // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 2000. С. 241.

множественности интерпретаций, вплоть до отрицания (например, в концепции Джудит Батлер). Как замечает Шанталь Муфф в своей работе «Феминизм, гражданство и радикальная демократическая политика», в результате влияния лакановского психоанализа «история субъекта <...> является историей его/ее идентификаций, и попросту не существует «потайной» идентичности, которой следовало бы доискиваться, разбирая самую «свежую» идентичность»<sup>7</sup>. Таким образом, очевиден не только проблемный статус концепта «женская идентичность», но и составляющих его компонентов.

В то же время, несмотря на существующую противоречивость подходов в определении «женской идентичности», данное понятие активно применяется в гендерных исследованиях, в частности при анализе литературных текстов женских авторов. Понятно, что всеобщая интенция исследователей соответствуют основным задачам феминистской теории, связанным с реконструированием женщины в культуре, выявлении специфически «женского опыта» в фаллоцентристском мире. Однако здесь мы сталкиваемся с уже обозначенной проблемой, которую артикулирует в своей статье искусствовед Беате Зёнтген в контексте ее рефлексии идентичности: «Феминистские исследовательницы истории искусств, с одной стороны, используют деконструктивные методы, которые не допускают закрепления значений. Пол рассматривается как социальная категория и продукт символического порядка. С другой стороны, они пытаются описать область женского опыта»<sup>8</sup>. Из этого фрагмента видно, как проблема феминистской теории автоматически переносится в исследовательскую плоскость. Пути обнаружения истинно «женского» упираются в разность трактовок самого предмета феминистской теории. Таким образом, получается своеобразный герменевтический круг.

Я не ставлю своей целью показать как можно больше вариантов использования термина «идентичность» разными исследователями, поэтому остановимся лишь на некоторых случаях интерпретации этого понятия. Авторы работ в области феминистской литературной критики нередко рассматривают репрезентации автора-женщины и ее героинь в координатах идентичности. При этом довольно часто исследователи прибегают к использованию этого термина в возможных его разновидностях – половая, гендерная, женская. Однако такая дифференциация часто оказывается не вполне оправданной (прежде всего в русле обозначенного круга проблем), а порой затемняющей понимание и даже вызывающей внутреннее несогласие или противоречие. Например, Ольга Демидова<sup>9</sup>, анализируя романы Н. Берберовой и Е. Бакуниной, не раз прибегает к характеристике женских персонажей через

---

<sup>7</sup> Муфф Шанталь. Феминизм, гражданство и радикальная демократическая политика // Введение в гендерные исследования. Хрестоматия / Под ред. С. Жеребкина. Харьков, 2001. С. 216.

<sup>8</sup> Зёнтген Беате. От истории искусств к феминистской культурологии: смена рамок // Пол. Гендер. Культура. М., 2000. Вып. 2. С. 96–97.

<sup>9</sup> Демидова Ольга. Канон и антиканон: образ матери в эмигрантской женской прозе // Пол. Гендер. Культура. М., 2003. Вып. 3. С. 251–267.

категорию идентичности. При этом его смысловое наполнение относительно анализа образов героинь различно. Так, автор в качестве причины внутреннего конфликта героини-матери называет невозможность «примириться с потерей идентичности»<sup>10</sup>. И сразу же делает оговорку: «была ли она вообще?». Таким образом, не совсем понятно, о какой идентичности идет речь? Об индивидуальной, женской или какой-то еще? Или под идентичностью автор понимает некую целостность, самотождественность, следуя так называемой классической трактовке этого концепта? Однако в другом фрагменте текста мы сталкиваемся с использованием того же понятия, но с разными значениями: в одном случае идентичность женщины равна самотождественности, в другом под идентичностью понимается обретение себя в гендерной роли жены и матери.

Безусловно, неоднозначность в употреблении категории «идентичность» напрямую связана с явными теоретическими противоречиями на этот счет. С другой стороны, существенным фактором оказывается и выбор исследователем методологического подхода. С этой точки зрения новые возможности предоставляет психоанализ, который проблематизировал становление идентичности. Действительно, с одной стороны, применение психоаналитического подхода в прикладных исследованиях позволяет открыть новые грани, а также попытаться приблизиться к обнаружению искомого «женского». Однако и здесь мы сталкиваемся с множественностью исследовательских интерпретаций термина «женская идентичность», что обусловлено индивидуальным предпочтением той или иной концепции. Так, например, можно выделить две противоположных трактовки идентичности, которые встречаются в некоторых исследованиях. Первое понимание сопряжено с понятием бессознательного, некоего первородного, изначально «женского», которое разрушается с момента осознания девочкой/девушкой гендерной бинарности, т.е. социальной иерархии полов. Таким образом, женская идентичность в этом случае существует только до определенного периода, а именно периода осознания женщиной собственной гендерной вторичности. Подобная точка зрения приписывает женщине биологически заданную идентичность, которая подвергается постепенной деструкции и забвению в процессе социализации. Такая позиция не лишена явного биологического акцента и близка концепции французской психоаналитической школы, одной из ярких представительниц которой является Люси Иригарэ. В другом случае сущность понятия «женская идентичность» является диаметрально противоположной и зарождается, напротив, с момента проявления сексуальности, то есть, по всей видимости, в пубертатный период. Такова, например, исследовательская установка Катрин Чачанидзе при анализе отношений матери и дочери в

---

<sup>10</sup> Там же. С. 256.

прозе Л. Петрушевской<sup>11</sup>. «С первыми проявлениями сексуальности, – пишет исследовательница, – всегда связываются попытки отвоевать свою независимость, отграничиться от матери, обрести собственную идентичность»<sup>12</sup>. Таким образом, очевидно, насколько различно исследователи интерпретируют понятие «идентичность».

Но если в теоретическом дискурсе противоречивость и взаимоисключаемость являются естественным и необходимым атрибутом термина и характеризуют его как предмет исследования, то в исследовательском дискурсе проблемная сторона этого понятия нивелируется за счет выборочности и односторонности индивидуальных установок и предпочтений исследователя. Как показывает анализ многих работ в области феминистской литературной критики, можно говорить о том, что идет процесс переосмысления и искажения базовой для феминистской теории категории женской идентичности. В итоге мы сталкиваемся с неким усредненным вариантом бытования этого понятия, что не только не отражает весь спектр современных дискуссий вокруг него, но и увеличивает дистанцию между феминистской теорией и методологией. Исследовательский инвариант концепта «женская идентичность» сводится к эссенциалистской традиции, в русле которой (о чем уже говорилось ранее) женский опыт воспринимается как единый и целостный. Понятно, что такая интерпретация соответствует предпосылке и логике феминистской критики литературы, основывающейся на признании женской субстанциальности. Одновременно с этим, попытка исследователей реконструировать специфический женский опыт неизбежно оборачивается игнорированием тех взглядов на идентичность, которые появились на стыке постмодернизма и феминизма, в том числе тех, которые ставят под сомнение само существование термина «идентичность» и его адекватность. Из исследовательского поля зрения часто исчезает дробность как основная характеристика идентичности, вызванная ее дифференциацией на национальную, классовую и др., ее процессуальность и нестабильность.

Как показывает практика, редукция неоднозначности этого концепта происходит не только в области исследований. Та же ситуация возникает и в теоретических работах, которые адаптируют западный опыт для заинтересованной части российской аудитории. Так, например, «Словарь гендерных терминов» предлагает следующее определение женской идентичности: это «категоризация себя как представительницы женской социальной группы и воспроизведение гендерно обусловленных ролей, диспозиций, саморепрезентаций»<sup>13</sup>. Акцент на социальном аспекте в структуре идентичности в этом определении замалчивает всю сложность дефиниции данного понятия.

---

<sup>11</sup> Чачанидзе Катрин. Отношения матери и дочери в повести Людмилы Петрушевской *Время ночь* // Пол. Гендер. Культура. Вып. 3. С. 287–305.

<sup>12</sup> Там же. С. 298.

<sup>13</sup> Радина Н.К. Женская идентичность // Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. М., 2002. С. 96.

Таким образом, анализ определенного корпуса работ в области феминистской литературной критики позволяет говорить о том, что центральное для феминизма понятие «женская идентичность», аналогично термину «гендер» существует в двух ипостасях: как предмет исследования и как метод исследования. Причем такая двуаспектность основного феминистского концепта оборачивается нарастающим отрывом теории от практики, что спровоцировало появление вопроса о границах использования термина «женская идентичность» в качестве продуктивной и целесообразной категории анализа.

## **«ЖЕНЩИНА ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННО НЕСОЦИАЛЬНОЙ», ИЛИ ОПЫТ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА РОССИЙСКОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СОЦИОЛОГИИ**

Сакраментальная для европейской гендерной культуры установка, выраженная приведенной в названии данной статьи фразой О.Вейнингера, несмотря на прошедшие 100 лет со дня первой публикации работы последнего, очевидно, по-прежнему репрезентирует как андроцентризм социальных институтов в целом, так и социального знания в частности [1, с.106]. Трансформация системы высшего образования в РФ в последние годы в сторону интеграции с европейскими принципами вузовского образования определяет постановку актуальнейшего вопроса о гендерной толерантности научного и учебно-преподавательского дискурса отечественной высшей школы.

В России впервые тема гендерной дискриминации в учебных пособиях была озвучена в 1991 г., когда на русском языке вышла в свет работа А.Мишель «Долой стереотипы! Преодолеть сексизм в школьных учебниках» [2]. Вслед за ней стали появляться отечественные исследования дошкольной и школьной литературы (Л.В.Попова). В вузовском пространстве были выявлены и проанализированы проблемы гендерной асимметрии студенческого и учебно-преподавательского состава (Г.Г.Силласте, Е.Р.Ярская-Смирнова), гендерного климата в вузовской среде (Г.Беляева, И.Горшкова; Н.Н.Козлова, Ю.А.Монахова, В.И.Успенская), возможности и ограничения процесса интеграции курсов по гендерным исследованиям в преподавание (В.И.Успенская, О.В.Шнырова, Е.А.Здравомыслова, А.А.Темкина и др.). Однако учебники и учебные пособия высшей школы до сих пор не являлись предметом детального гендерного анализа. Соответственно цель настоящей статьи видится автору в том, чтобы посредством гендерного анализа выявить гендерную чувствительность, гендерную составляющую учебной литературы по социологии для высшей школы, оценить адекватность включения в нее гендерной проблематики, определить уровень сексизма текстов и наметить пути их корректировки и/или устранения. Методика гендерного анализа ориентирует исследователей на терминологическую, текстологическую и концептуальную критику учебников и учебных пособий по различным дисциплинам. Поиск упоминаний о поле/гендере, о женщинах и мужчинах, определение контекста этих упоминаний (явные/скрытые, вынужденные/добровольные, негативные/позитивные), выявление сексизмов<sup>1</sup> представляют собой содержательную компоненту гендерного анализа.

---

<sup>1</sup> Сексизм определяется Э.Гидденсом как «установки и убеждения, в соответствии с которым представителям одного или другого пола ложно приписываются или отрицаются определенные качества, что приводит к усилению полового неравенства» [3, с.693].

Прямое и опосредованное описание атрибутивных качеств человека, отсылка к образам, репрезентирующим объект, коннотация позитивных/негативных смыслов, возможная и предлагаемая верифицируемость/фальсифицируемость излагаемого материала, иллюстрации и символика, оформляющие учебный материал, в совокупности демонстрируют процесс создания и воспроизводства гендерных стереотипов, отражают традиции и культурные нормы научного сообщества.

Отбор материалов для гендерной экспертизы производился, прежде всего, на основе собственного опыта прочтения практически всех учебников и учебных пособий для высшей школы по социологии, которые были опубликованы в России за последние 10 лет. Автор статьи учитывала наличие в учебниках рекомендации Министерства образования РФ, их тираж, а также популярность в студенческой среде (по частоте востребования изданий в библиотеке Тверского государственного университета).

Первый шаг анализа – просмотр оглавления и глоссариев учебной литературы по социологии уже позволяет определить, что большинство авторов не проявляет интереса к гендерной проблематике. В отличие от современных западных учебников всего лишь один учебник по социологии российских авторов – «Социология» под ред. П.Д.Павленка – включает тему «Социология пола и гендерных отношений» в качестве отдельной главы [4]. Категорию «гендер» и разработанную в рамках гендерного подхода научную терминологию (например, «феминизация бедности», «патриархат») авторы анализируемых учебников за редким исключением не используют, предпочитая употреблять квази-нейтральные характеристики «половозрастные» или «демографические»<sup>2</sup>. Авторы разделяют позиции биологического детерминизма, понимая «пол» прежде всего, как биологическую данность. «Существует ряд человеческих качеств, которые определяются биологически, что делает невозможным изменение социальной позиции (раса, пол)», – читаем в учебнике под ред. Г.В.Осипова и П.Н.Москвичева, а также находим аналогичные высказывания у других авторов<sup>3</sup> [6, с.547]. Более развернутое представление о природе пола дает П.Д.Павленок: «Общественные или социально-демографические группы – это молодежь, женщины и мужчины, ... критериями выделения социально-демографических групп являются различия половые и возрастные. Не будучи сами по себе, в строгом смысле слова, различиями социальными, эти естественно-

---

<sup>2</sup> В учебнике В.И.Добренкова и др., встречается термин «гендерные» и определение «гендера» в кратком терминологическом словаре [5, с.211, 323, 563], а учебнике под ред. Г.В.Осипова и П.Н.Москвичева единожды употребляется «феминизация конторского труда» [6, с.548]; в учебнике Ю.Г.Волкова и И.В.Мостовой гендерный подход представлен в теме «Возникновение общества» [7, с.151]; в учебнике под ред. Г.А.Эфендиева – в теме «Семья» [8, с.330-331].

<sup>3</sup> «Мигрировать из мужчины в женщину невозможно» [9, с. 257]; «играя роль мужчины или женщины, вы занимаете позицию, в которой ничего нельзя изменить» [10, с.182].

природные различия в классовых обществах могут приобретать и приобретают характер социальных различий» [4, с.141]. В подтверждение своих слов П.Д.Павленок приводит пример по данным собственного социологического исследования существенных отличий образа жизни у мужчин и у женщин, среди которых он называет продолжительность рабочего дня, размеры заработков, своеобразное проведение свободного времени и другое приводится как особенное. В то же время, отмечает он, идентичность оценок многих вопросов общественной жизни – вещей и денег, потребностей ... преобладает над особенным. Это предопределяется, по его мнению, прежде всего, типичными объективными условиями, в которых живут мужчины и женщины (4, с.353). Однако, отдавая биологическую дань полу, отдельные авторы в то же время признают, что «определение мужских и женских ролей субъективно и зависит от конкретного места и времени» [11, с.83; 6, с.244]. Во всех учебниках пол упоминается наряду с другими стратифицирующими показателями как социально значимый критерий для выделения социальной группы [9, с.182, 185; 7, с.130; 5, с.126], как основа ролевого предписания [11, с.82], как пример предписанного социального статуса [9, с.23; 7, с.225; 10, с.174], как переменную социальной мобильности [9, с.264], как критерий выделения субкультуры [11, с.50].

Отсутствие артикулированной гендерной проблематики не означает гендерной нейтральности самих учебников; гендерная проблематика в них раскрывается на примерах, исторических экскурсах или прикладных социологических исследованиях, которые учитывают фактор пола. Гендерная асимметрия выражена уже в понятийном аппарате социологии. К её категориям можно отнести термины, описывающие социальный и профессиональный состав общества, который в языке задается существительными мужского рода – журналист, учитель, солдат и т.д. В таблице «Шкала профессионального престижа» учебника А.И.Кравченко приводится только пять профессий из 50 в женском роде – секретарша, машинистка, стюардесса, домработница, горничная<sup>4</sup> [9, с.211]. Устоявшимися терминами в научном аппарате являются «возмужание», «юношеское развитие», термины, производные от корня «патр» – «патернализм», «патриархальный», «патриархальные ценности» [9, с.286, 257, 215, 217; 8, с.224; 7, с.102; 6, с.293, 415; 5, с.242], а также словосочетания – проблема «отцов и детей», «традиции отцов и дедов», «братские отношения», «отец народов» [9, с.107; 8, с.133; 7, с.329].

Андроцентризм языка проявляется и в таких языковых конструкциях, в которых в паре всегда первым указывается мужчина: «мужчины и женщины», «пасынки и падчерицы», «сын

---

<sup>4</sup> В учебнике В.И.Добренкова и др. к указанным выше женским профессиям причисляется и санитарка [5, с.233], в учебнике С.С.Фролова – продавщица [11, с.185], в учебнике Г.А.Эфендиева – гардеробщица [8, с.114], в учебнике В.В.Касьянова и др. – медицинская сестра [10, с.186].

и дочь», «отец и мать», «дед и баба», «юноши и девушки». Сопоставляя мужчин и женщин, авторы выбирают за эталон сравнения «мужское», если речь идет о значимом и положительном явлении общественной жизни, и женское, если предлагается обратная ситуация, например, «в целом молодые мужчины более мобильны, чем пожилые и женщины»<sup>5</sup> [9, с.264]. Поскольку языковые сексизмы с одинаковой частотой встречаются в учебниках, написанных и женщинами, и мужчинами, то можно утверждать, что авторы выступают носителями существующей гендерной культуры, традиционно патриархатной по своей сути, и пользуются ее дискурсом.

В анализируемой учебной литературе можно выделить ряд дискурсивных стратегий, которые задают андроцентризм представленного в учебниках материала: учебники адресуются мужской аудитории, построены на мужском опыте, отождествляют понятия «человек» и «мужчина», приводят в примерах больше мужчин. «Встречаясь, мы здороваемся за руку и говорим приветствие, входя в автобус, пропускаем вперед женщин, детей и пожилых людей», «предприниматель заинтересован в вас как в клиенте, женщина – как в потенциальном сексуальном партнере, продавец – как в возможном покупателе», «когда у мужчин появляется достаточно много денег, то они, планируя трату, распределяют приоритеты: к примеру, детей отправить в престижную школу, жене купить стиральную машину, а любовнице – украшения» [9, с.75, 90, 99]. Многочисленные примеры, указанные в сноске<sup>6</sup>, адресованы мужской аудитории и имеют смысл только для читающего учебник мужчины. Отражение мужского опыта в учебниках осуществляется как прямым, так и косвенным способом. К первому типу относятся следующие высказывания: «Социологи хотят знать, почему люди ведут себя так, а не иначе, почему они образуют группы, почему идут воевать, поклоняются чему-либо, *женятся* (курсив мой – Н.К.) и голосуют, т.е. все, что происходит, когда люди взаимодействуют друг с другом»<sup>7</sup> [4, с.8]. При косвенной маркировке пола не указываются субъекты социального действия, но подразумевается, что «забить гвоздь, погладить рубашку, сходить в магазин» – это работа, основанная на гендерных характеристиках. Третья стратегия, встречающаяся в учебниках, – это классическое для

---

<sup>5</sup> «Женщины, как правило, начинают работать позже мужчин (что объясняется рождением и воспитанием детей)» и др. [9, с.267; 5, с.323, 325, 467].

<sup>6</sup> «Многие требуют от окружающих того, чтобы их уважали как профессионала... Мало, кто хочет, чтобы его уважали как... как красивого мужчину»; «безнравственно оскорблять старших, бить женщину, обижать слабого, издеваться над инвалидами» и т.д. [9, с.80, 117, 164, 165, 177].

<sup>7</sup> «Руководитель и подчиненный могут спорить и ругаться,... готовы подраться,... но за порогом проходной они мирно беседуют о ... женщинах. [9, с.298]; «если кто-то говорит по-китайски, избегает тещи, не пьет молока, селится в доме своей жены» [6, с.138] и др. [9, с.124, 126; 10, с.107; 7, с.122].

традиционно патриархатной картины мира<sup>8</sup> отождествление понятий «человека» и «мужчины»: «Когда человек живет в хорошей квартире, имеет жену и детей (*курсив мой – Н.К.*)...» [11, с.45], и др.<sup>9</sup> И, наконец, последняя выявленная стратегия заключается в том, что авторы предпочитают в качестве примеров указывать представителей мужского пола: отцов, мужей, сыновей, мальчиков, профессионалов своего дела<sup>10</sup>. «Православные, консерваторы, инженеры, мужчины (основные статусы) образуют реальные группы» – этот пример социального статуса в учебнике А.И.Кравченко повторяется 6 раз [9, с.23, 26, 92, 95, 96], и всего лишь один раз встречается пример женского социального статуса – быть женщиной, домохозяйкой [9, с.207]. Этот факт отражает, на мой взгляд, как реальное многообразие социальных ролей мужчин, так и собственное желание авторов лишний раз подчеркнуть активность мужчин как агентов социального действия, так как приведённые в учебной литературе пояснительные примеры не всегда требуют мужского участия и позволяют приводить в пример и женщин.

Обращает на себя внимание тот факт, что мужчины в учебниках А.И.Кравченко приводятся в пример как положительные герои, очень редко встречаются их негативные образы. Анализируя контекст данных высказываний, становится очевидным, что автор разделяет понятия «мужчина» и «муж», наделяя последнего отрицательными характеристиками. «Неприятности по работе муж вымещает на жене, детях, собаке...», а «зять «терпеть не может тещу» и навязывает свое отношение сыну», – пишет Кравченко [9, с.85, 94, 121]. Причем характерно, что негативный облик мужу придает общение с женщинами в семье – с женой, либо тещей. С.С.Фролов прописывает процесс разграничения двух статусов более конкретно, акцентируя внимания на их существенных различиях: «быть мужчиной - предписываемый статус, зависящий от рождения, но быть мужем - достигаемый статус, который не вытекает автоматически из факта рождения мужчины, а зависит от мужского поведения в будущем» [11, с.86; 10, с.175]. Негативные примеры мужчин встречаются и в вышеупомянутом учебнике, но здесь они перечисляются как носителями девиантных ролей – жестоких правителей, палачей и убийц, которые одновременно были добрыми и заботливыми мужьями и отцами [11, с.92; 10, с.189].

---

<sup>8</sup> Традиционно патриархатная картина мира – разновидность гендерной картины мира с традиционно патриархатной доминантой сознания: представление об активной, ведущей роли мужчин и подчиненной, пассивной роли женщин в семье и обществе [12, с.20].

<sup>9</sup> «Человек влюбляется в жену своего друга» [9, с.141]; «в тех случаях, когда человек что называется «надломился», происходит негативная ресоциализация: мальчик из благополучной семьи становится бандитом» [9, с.128] и др. [9, с. 91, 92, 100; 10, с.174; 11, с. 81, 84, 288; 6, с. 93, 115].

<sup>10</sup> «Директор завода, коллега, отец» [8, с.218, 225]; «мужчина, шофер такси, сторонник компартии и завсегдатай кафе» [10, с.173, 174, 176, 181, 184]; «быть инженером, мужчиной, мужем, русским, православным, республиканцем, бизнесменом» [5, с.57, 62, 63, 226].

Женщины, как правило, упоминаются в примерах, связанных с домашней, семейной, приватной сферой в связке с пожилыми людьми и детьми<sup>11</sup> «Женщина, – пишет С.С.Фролов, – может одновременно выступать в ролях жены, матери, гражданки и т.д.» [11, с.83]. В доминирующем числе приведенных примеров женщины выступают как носительницы сугубо женского опыта, как представительницы своего пола, живущие жизнью пола – беременные женщины, матери-одиночки, проститутки, домохозяйки, любовницы [11, с.43; 5, с.7]. При этом дискурс описания женщин через приватную сферу, (прежде всего, через семью) является доминирующим. В ряде случаев для демонстрации особого положения женщин-матерей авторы прибегают к юридическому (государственному) дискурсу, ссылаясь на законодательство, регулирующее семейные отношения и связанные с уходом за детьми и опять же содержательно возвращающие нас, читателей, к приватной сфере [4, с.108, 859]. Маскировка женского социального опыта в учебной литературе по социологии, очевидно, связана с тем, что в них практически не раскрывается приватная сфера, сфера воспроизводства, в рамках которой, прежде всего, и заняты женщины.

В учебнике А.И.Кравченко женщины выступают в большинстве примеров в негативной роли: женщина-ханжа с сексуальными проблемами, пожилая женщина в мотоциклетном шлеме с милицейскими крагами (пример в теме «девиантное поведение»), нерадивая уборщица, учительница, которая «пытается поучать всех, кто попадаете её под руку» и т.д. [9, с.77, 102]. Сексистские примеры встречается в учебнике А.И.Кравченко при описании механизмов психологической защиты по Фрейду. В частности, он приводит в пример женщину как образец регрессии: «регрессия – возвращение к ранним стадиям развития, позволяющее взрослому вести себя как ребёнок. Замужняя женщина, вступив в конфликт с мужем, похожий на сцену в доме родителей, когда она была маленькой, начинает плакать, ожидая получить утешение и защиту» [9, с.85]. И если женщина в данном случае сравнивается с ребёнком, чем и принижается ее статус, то мужчина (отец, муж) выступает в качестве Закона, нормализующего ситуацию. Психологическая неуравновешенность женщин как их гендерная характеристика приводится в сексистском примере в учебнике Ю.Г.Волкова и И.В.Мостовой: «С момента своего рождения люди вступают в довольно плотно заселенный мир, который не всегда оказывается комфортным и «человекообразным»: в нем мало индивидуальной территории, отцы и дедушки установили свои правила господства, а мамы и бабушки невротизировали его нелепыми ожиданиями и отжившими предрассудками» [7, с.329]. В своем учебнике А.И.Кравченко приводит только один положительный пример, связанный с женщинами – сестринское движение, возникшее в период Крымской войны 1856

---

<sup>11</sup> «Маленькие детки – маленькие бедки», как сказали бы наши бабушки [7, с.163]; «Пенсионеры, инвалиды и женщины имеют неравные возможности и способности к труду» [5, с.200] и др. [8, с.129; 10, с.80, 98; 5, с.541; 9, с.32, 85, 90, 165, 361].

года: «Это движение сестер милосердия, помогающих раненым после боя. Медицинские сестры и сестры милосердия – разные вещи. Первые работают за плату, вторые – бесплатно и более добросовестно. ... Они тесно связаны с православием, регулярно ходят в церковь и смотрят на свою работу как на выполнение религиозного долга»[9, с.196-197].

Подготовка к выполнению узкого спектра социальных ролей женщин закладывается в процессе социализации. Несмотря на то, что тема «гендерная социализация» отдельно не выделяется в учебниках, тем не менее, в разделе «Социализация» во многих учебниках и учебных пособиях затрагиваются гендерные аспекты. С.С.Фролов подчеркивает, что главная и большая часть процессов социализации состоит в обучении различным видам социальных действий как женщин, так и мужчин – мальчик «строит модель самолета, строит дом, изображает космонавта», военного, милиционера, «занимается спортом», «мужчина с детства готовится быть охотником, рыболовом, воином», «девочки помогают матери по хозяйству, играют в куклы» [11, с.77, 83, 89]. Основную проблему гендерной социализации в современном обществе автор видит в том, что «дети мало занимаются работой по дому и девочки плохо обучаются мастерству, установкам и эмоциональному вознаграждению будущей домашней хозяйки» [11, с.90]. Вполне очевидно, что описанный в учебном пособии процесс гендерной социализации предписывает разные жизненные пути мальчикам и девочкам. Кроме того, поставленные в ходе социализации масштабные задачи перед мужским полом оправдываются стремлением достичь более высокого социального статуса, а тот факт, что статус мужчин выше, чем женщин в одних учебниках констатируется авторами, в других же реконструируется по совокупности упоминаний экономического положения, политических прав мужчин, их социальных функций.

Определяя положение полов в социальной системе, А.И.Кравченко, В.В.Касьянов и др. сообщают, что «для мужчин главным чаще всего является статус, связанный с основным местом работы (директор банка, юрист, рабочий), а для женщин – с местожительством (домохозяйка)» [9, с.93]. Для авторов очевидно, что «коммерсанты ценятся выше сантехников или разнорабочих, мужчины в сфере производства обладают большим социальным весом, нежели женщины...», а «высокооплачиваемый банкир (далее в тексте он конкретизирован как мужчина – Н.К.) скорее всего, будет обладателем такого же высокого семейного ранга – как человек, обеспечивающий материальный достаток семьи» [9, с.97; 10, с.177]. С.С.Фролов после упоминания статуса мужчины пишет в скобках статус женщин, подчеркивая этим его вторичность [11, с.72, 163]. Очевидно, этот факт вторичности социального статуса женщин может быть объяснён тем, что в патриархатных обществах он определяется по статусу отца, мужа, сына. В учебниках С.С.Фролова, В.И.Добренкова и др. указано, что «девушка, выходя замуж, будет иметь статус, отличный от прежнего, её роль изменится и во многих

отношениях она будет выглядеть как совершенно другая личность», «в значительной мере социальный ранг замужней женщины определяется статусом и мужа» [11, с.82; 5, с.463]. Весьма интересен пример нисходящей мобильности в учебниках А.И.Кравченко, Добренькова и др., в котором подчеркивается смена статуса по нисходящей женщинами: «По римскому закону, свободная женщина, вышедшая замуж за раба, сама становится рабыней [9, с.267; 5, с.471]. Кроме того, лифты социальной мобильности (церковь, армия, система образования, собственность и деньги, описанные П.Сорокиным), – это социальные институты, преимущественно доступные мужчинам. А.И. Кравченко указывает, что «раньше некоторые должности могли занимать только мужчины, например, полицейский, солдат, генерал» [9, с.94]. Для повышения своего социального статуса женщины в лучшем случае могут использовать институты семьи и брака: «Неожиданное возвышение человека... - излюбленный сюжет народных сказок: хитроумный нищий становится богачом, бедный принц – королем, а трудолюбивая Золушка выходит замуж за принца, повысив тем самым свой статус и престиж» [9, с.254; 11, с.300].

Приводя многочисленные примеры<sup>12</sup> восхождения мужчин по социальной лестнице, некоторые авторы опираются на сексистские дефиниции «социальной мобильности», имеющие традицию в социологии [13, с.244, 245]. «Межпоколенная мобильность – это изменение статуса детей относительно статуса их отцов» или «внутрипоколенная мобильность имеет место там, где один и тот же индивид, вне сравнения с отцом, на протяжении жизни несколько раз меняет социальные позиции», – утверждается в учебнике В.И.Добренькова и А.И.Кравченко [5, с.255, 460]. Авторы в дальнейшем уточняют, что «мобильность женщины измеряется разницей между профессиональным статусом ее отца и мужа» [5, с. 463].

Характеризуя положение женщин в обществе, авторы прибегают к описанию их деятельности: «Однократное посещение магазина – действие, но повторяющееся хождение по магазинам, ставшее чертой образа жизни женщины, её социальной ролью, это уже деятельность» [9, с.62] . Указывая, что женщины в приватной сфере выполняют роль «домохозяйек», А.И.Кравченко затрудняется квалифицировать этот статус: в одном случае он определяется как статус по месту жительства, в другом – как экономический, в третьем – как социальный [9, с.93, 97, 207]. Социальному/экономическому статусу женщины А.И.Кравченко посвящает целый абзац, который я позволю себе процитировать целиком: «К традиционному экономическому статусу женщины быть домохозяйкой индустриальная эпоха добавила ещё один – быть работницей. Однако старый и новый статус пришли в

---

<sup>12</sup> «На социальную мобильность в США и России наибольшее влияние оказывает не профессия и образование отца, а собственные достижения сына в обучении» [9, с.225, 259, 265, 271; 11, с.291; 5, с.461, 462].

противоречие друг с другом. Ведь невозможно одинаково эффективно и почти одновременно выполнять обе роли. Каждая требовала массу времени и немалой квалификации. И все-таки их удалось совместить. Гораздо труднее совместить статусы-роли хорошей матери и эффективного работника, а также хорошей жены и эффективного работника. Уставшая женщина – далеко не лучший сексуальный партнер. А время, нужное производству, отбирается воспитанием детей. Таким образом, новый статус «работница» пришёл в противоречие с тремя старыми: домохозяйка, мать, жена» [9, с.97-98]. Из этого текста, на мой взгляд, трудно понять позицию автора, так с одной стороны он утверждает, что роли удалось совместить, с другой стороны, что они пришли в противоречие. К сожалению, А.И.Кравченко не приводит в пример мужчин и то, как им удастся совмещать роли работников, отцов, домохозяинов, достойных сексуальных партнёров.

Многие авторы учебников также описывают конфликт между социальными ролями: для женщины ролевой конфликт представляет всегда выбор между работой и семьей, для мужчины – между призванием и профессией [11, с.81; 91, 93.; 8, с.227; 10, с.183, 188; 9, с.137-138].

Статус замужней женщины, с точки зрения авторов, имеет наибольшую привлекательность как в традиционном, так и в современном обществе. С.С.Фролов полагает, что «неудачливые артисты, писатели, ...одинокие женщины, желающие иметь мужа, дом и детей, но отчаявшиеся устроить свою личную жизнь, - все они относятся к категории постоянных неудачников» [11, с.289]. Причем, вступление женщиной в брачные отношения налагает на нее долг по обслуживанию семьи. Автор учебника задает вопрос читателям, как можно заставить женщин принять на себя тяжелую и неблагодарную домашнюю работу, и сам же отвечает на него отвечает: «Только социализировав их таким образом, чтобы они хотели иметь мужа, детей и домашнее хозяйство и чувствовали себя несчастными без них» [11, с.95]. Уклонение от «домашних обязанностей», С.С.Фролов расценивает как общественно опасное деяние: «Если в условиях нашего общества женщина уходит из семьи, от мужа и ребенка, то это означает нарушение благополучия и семейных взаимосвязей» [11, с.44]. Негативно оценивая женское поведение, автор применяет «двойной стандарт», разграничивая одно и то же действие (уход из дома) как допустимые и недопустимые по отношению к представителям разных полов<sup>13</sup>, что характерно для традиционно патриархатной картины мира.

---

<sup>13</sup> В текстах учебной литературы по социологии встречаются и другие примеры двойного стандарта: «нормы богемной культуры оправдывают любовные связи между женатыми мужчинами и молодыми женщинами», «в так называемых патриархальных семьях добрачный сексуальный опыт строго запрещается (по крайней мере в отношении женщин)» [11, с.110, 167].

Соответственно красота, которую многие авторы рассматривают как главную женскую характеристику, конструируется как основной инструмент женщин для борьбы с одиночеством, для создания семьи. В частности, в учебнике С.С.Фролова женская красота упоминается 6 раз в таком контексте: «Красивая девушка может привлечь к себе внимание молодого человека, но может оказаться совершенно безразличной предпринимателю, ... или спортивному тренеру [11, с. 54, 73, 83, 85, 115, 171]. Соглашаясь с остроумным, с точки зрения С.С.Фролова, замечанием американских социологов П. Хортона и К. Ханта, что «...мальчики прежде всего заботятся о карьере, в то время как девочки поглощены «насаживанием» приманки для мужчин», он пишет: «...Девушке ее родители говорят, что она хороша собой..., девушка, в конечном счете, ощущает себя хорошенькой и действует как красивое создание...» [11, с.73, 83]. Г.А.Эфендиев считает, что «красивая женщина всегда имеет преимущество по сравнению с остальными, ей многое прощается, а выполнение ее желаний становится для многих мужчин добровольной обязанностью» [8, с.282]. В его же учебнике косвенно подчеркивается женская слабость и соответственно необходимость мужской заботы в случае, когда «один водитель подвел другого: обещал подработать на маршруте взамен его (последнему нужно было *отвезти жену к врачу*), но он забыл об этом обещании» [8, с.142]. В.И.Добренков описывает даму, покупающую шляпку и думающей о своей сексуальной привлекательности, а также ссылается на распространение расистской идеологии в южных штатах США, которая внушает «белым женщинам глубокое отвращение к сексуальной близости с неграми» [5, с.7-8, 37]. Таким образом, в текстах учебной литературы по социологии женщины описываются и как сексуальный объект, призванный привлекать внимание мужчин. В учебнике под ред. Г.В.Осипова и П.Н.Москвичева со ссылкой на данные социологических исследований приводятся в пример социальные стереотипы в изображении мужчин и женщин: «Женщины, как правило, занимают в пространстве фотосъемка положение ниже, чем мужчины, часто изображаются в ролях, которые подчеркивают их красоту, зависимость от мужчин, сексуальную привлекательность. Мужчины предстают в СМИ более властными, доминантными, агрессивными, твердыми, настойчивыми, рациональными и умными, чем женщины. Женщины – более привлекательными, альтруистичными, общительными, моложавыми» [6, с.522].

Помещая мужчин в публичную, а женщин в приватную сферы, они прямо и косвенно указывают на приоритет публичной сферы как мужской по сравнению с частной как женской. «Законодательство Спарты регулировало причёску женщины... Удивительно другое: древнее законодательство, регулировавшее *бытовые мелочи*, оказалось неспособным решить более важные вопросы: например, чётко разграничить проступок и преступление» [9, с.18]. Авторы фиксируют моменты неравенства полов, которое они видят в худших условиях труда женщин

и его более низкой оплаты, в несправедливом распределении семейных функций, в ущемлении прав женщин, выделяют категорию «женское рабство» [9, с.186; 4, с.480]. «Неравенство между мужчинами и женщинами возникло очень давно и существует и по сию пору, – считает В.И.Добренков и др. – Разведенные или овдовевшие женщины, в отличие от одиноких мужчин, чаще становятся экономически несамостоятельными и в классовой иерархии опускаются на ступень ниже, у них меньше шансов стать руководителем или политическим лидером [5, с.211].

Несмотря на то, что по признанию авторов со временем роли мужчины и женщины меняются в сторону уменьшения различий между ними, проблемы гендерного неравенства все равно остаются. А.И.Кравченко, В.И.Добренков и др. указывает, что «более половины общего числа бедных семей в США возглавляют женщины, что достигли порога бедности или опустились ниже его – женщины...» [9, с.252; 5, с.224, 418]. Далее в тексте следует перечисление социальных слоев, которые относятся к беднейшим слоям: уборщицы, санитарки, учителя, воспитатели детсадов, медицинских работников, которые в большинстве случаев занимают женщины. Речь идёт, по сути, о «феминизации бедности», характерной по данным ООН для всех обществ. С.С. Фролов констатирует, что существует связь между признаком разделения по полу и получаемым доходом (всем известно, что большинстве современных обществ мужчины получают вознаграждение за труд в среднем больше, чем женщины) [11, с.217].

Нельзя не отметить, что основным предметом анализа социальных отношений между полами авторы выбирают не макроуровень – общество, а отдельные его институты, и, прежде всего, семью, в рамках которой женщины и мужчины выступают как жены и мужа, матери и отцы. В.В.Касьянов и др., описывая различие между матриархальными и патриархальными семьями, считают, что «роль матери в патриархальных семьях – это роль «аутсайдера», «которая сводится к рождению и воспитанию детей», и характеризуется экономической зависимостью от мужа или отца<sup>14</sup> [10, с.123;]. По мнению авторов этого учебника, в традиционном обществе «профессиональные роли не отличаются от семейных, поскольку отец семьи одновременно является главой сельскохозяйственного предприятия, мать также занимается сельским хозяйством, а ребенок изучает дело рядом со своим отцом. Соответственно, отец одновременно является руководителем предприятия и учителем, а сын сыном, работником и учеником» [10, с.186]. Распределению властных ролей в семье уделяет внимание и А.И.Кравченко: «Защита чести и достоинства членов семьи представляет собой обязанность каждого мужчины... Проявляя заботу о семье, мужчина тем самым

---

<sup>14</sup> В.И.Добренков сообщает, что в 73 % земледельческих и 87,5% пастушеских племен женщины в большинстве случаев занимают в семье низкие статусы» [5, с.527] и др. [9, с.137-138; 5, с. 548; 10, с.186].

демонстрирует свою силу, храбрость и добродетель и все то, что высоко оценивается окружающими. ...Защита семьи – это основа её выживания, то выполнение этой важной функции в традиционном обществе делает мужчину автоматически главой семьи. Не возникает споров о том, кто первый – муж ли жена. В результате укрепляется социально-психологическое единство семьи. В современной семье, где мужчина не имеет возможность продемонстрировать свои лидирующие функции, гораздо выше нестабильность, чем в традиционной» [9, с.137-138; 5, с.548]. Для демонстрации гендерного неравенства авторы преимущественно задействуют этнографический материал и отсылают к ранним этапам развития общества, практически не указывая на присутствие данных форм неравенства в современных обществах и ограничиваясь замечаниями, что «эмансипация вносит свой вклад в разрушении иерархической организации семьи» и «мужчины, в частности, берут отпуск по уходу за ребенком» [10, с.492, 493] и т.д.<sup>15</sup> Гендерное неравенство в рамках семьи объясняется авторами с позиций биологического детерминизма и эссенциализма<sup>16</sup>: в течение тысячелетий в каждом обществе заботой матери являлся уход за ребенком, заботой отца – материальное обеспечение семьи и ее защита. Вследствие этого повсеместно возникла единообразная структура: мужчины и женщины вступали в постоянные отношения, в ходе которых достигалось наиболее эффективное развитие потомства и осуществлялась необходимая экономическая активность, базирующаяся на разделении полов. [6, с.413]. Широкий спектр отцовских обязанностей предполагает, что «отец – агент первичной социализации – опекун, администратор, воспитатель, учитель, друг» [9, с.124; 5, с.57; 8, с.93; 7, с.139]. Роль воспитателя детей предполагает, что мужчина несет обязанность перед обществом воспитывать детей в духе законопослушания, уважения традиций и обычаев своего народа. Такова обязанность именно отца, а не матери (почему не матери? – Н.К.) [5, с.57].

На мой взгляд, обозначенная таким образом проблема отцовства призвана компенсировать сложившийся в российской гендерной культуре дефицит мужественности и депривацию этого социального института, что в принципе можно расценивать как позитивное явление. В то же время, очевиден сексистский подход к проблеме материнства, так как оно упоминается гораздо реже и, как правило, не раскрываются его подфункции, что, в конечном счете, не позволяет квалифицировать его как социальный феномен. Тем самым достигается эффект валоризации отцовства за счет умаления роли материнства.

---

<sup>15</sup> «В аграрном обществе... очень легко было поддерживать мужское доминирование в семейных отношениях. Более того, только сила и мудрость отца придавали семье крепость и жизнестойкость» [11, с.111; 5, с.209, 211, 213; 8, с.149].

<sup>16</sup> «Эссенциализм – вера в уникальность женской сущности» [12, Р. 99].

Авторы считают, что в настоящее время отношения между полами меняются, т.к. «эмансипация вносит свой вклад в разрушение иерархической организации семьи» и «мужчины, в частности, берут отпуск по уходу за ребенком» [10, с.492-493]. В учебниках указываются следующие изменения в институте семьи: отказ от двойного стандарта, терпимое отношение к работе женщины вне дома, от женщины ожидается такое же активное участие в общественной жизни, как и от мужчины, женщина меньше занимается тяжелым домашним трудом и стремится быть экономически более независимой от мужчины [5, с.542-543]. Анализируя данный текст, я бы сказала, что это изменения характеризуют не столько институт семьи, а гендерные конструкты. О современной семье авторы как правило пишут, что она эгалитарная, но перечисляя членов семьи, они на первое место тем не менее ставят отца, затем мать [10, с.222].

В контексте признания гендерного неравенства ряд авторов делают ссылки на феминизм, упрощая его и подавая в негативном контексте. По мнению Г.А. Эффендиева, «феминистские мистификации истории оказываются сегодня модным оправданием бегства от семьи всех ее членов, апологией надвигающегося вслед за исчезновением семейного производства фактического разрушения института семьи» [8, с.331-332; 7, с.152]. Автор учебника критикует феминистскую теорию в анализе двойной занятости женщин как проявление господства мужчин, обвиняя их в политизации семейной проблематики и применением и выбором неадекватной для анализа методологии, переносом методологии, разработанной для исследования общесоциального уровня на анализ функционирования малых групп, в конечном счете, он констатирует, что сама установка ученых на «демократизацию» семьи не согласуется с законами функционирования малых групп [8, с.325]. Используя для характеристики феминизма стереотипные образы массового сознания, авторы показывают с одной стороны, свою гендерную культуру, с другой стороны, незнание ими основ феминистской/гендерной теории. Последнее проявляется также и в том, что авторы дают представление о феминистской теории, используя эклектический, а чаще – просто бессвязный набор концептов из феминизмов различных исторических этапов и направлений. Кроме того, в учебниках и учебных пособиях не приводятся ни имена, ни труды теоретиков феминизма ни в тексте, ни в списке литературы.

Единственным контрпримером приведенным фрагментам является привести глава «Социология пола и гендерных отношений» в учебнике под ред. П.Д.Павленка, которая написана В.М.Елисеевым. Глава вполне логично подразделена автором на два параграфа: «Концепция социального пола и гендерный подход в социологии» и «Становление и развитие гендерной социологии в России». Первый параграф отличает профессиональное изложение материала. Автор традиционно начинает с дефиниций гендера, представленных в

энциклопедической литературе. Отмечая идеологическую нейтральность термина «гендер» в этих изданиях, автор представляет широкий спектр толкований понятия, включая самые радикальные феминистские определения. В частности В.М.Елисеев приводит мнение авторитетнейшего в гендерных исследованиях американского историка Джоан Скотт на природу и значение гендера. Нельзя не приветствовать и собственную позицию автора раздела, трактующего «гендер» с феминистских позиций и считающего данную интерпретацию наиболее адекватной. «Вероятно, в русском языке имеет смысл использовать «гендер» лишь в узком смысле, предполагающем феминистскую интерпретацию (гендерный подход), а не в широком смысле, когда речь идет о социополовых различиях, хотя это вопрос спорный» [4, с.261].

Безусловным достоинством этого параграфа также является то, что автор не только подробно и квалифицированно раскрывает дефиницию гендера, но и показывает его методологические возможности. «...Понятие гендер может служить не только описанию различных аспектов социальной жизни, но и анализу и объяснению властных отношений в обществе» [4, с.261]. В этой части параграфа несколько удивляет отсутствие имен исследователей, стоявших у истоков гендерных исследований и их последователей. Автор указывая, что вопросы пола рассматривались в традиционной социологии, не приводит в пример авторов-социологов и их концепции – Э.Дюркгейма, М.Вебера, Т.Парсонса и других. В то же время он не только называет причины необходимости появления категории «гендер» в социологии, но и подробно рассматривает их.

Отношения феминистской теории и социологии В.М.Елисеев описывает как «довольно натянутые» по причине утверждения социологией мужских точек зрения на общество. Наконец, автор упоминает о направлениях в рамках феминистской науки – «теория двух систем» и «теория однородности» с их базовыми категориями «капитализм» и «патриархат». Однако, несмотря на профессиональное изложение указанных теорий, автор ограничивает рассмотрение направлений феминизма только марксистской и социалистическим направлениями, не упоминая его либеральное и радикальное крыло. В итоге, основным недостатком первого параграфа – это отсутствие историографической компоненты гендерных исследований. Читая текст, остается непонятным почему «в настоящее время феминизм остается жизненным и заметным социальным движением». Второй недостаток становится очевидным, когда переходим к анализу следующего параграфа – повторы материала по интеграции и развитию гендерных исследований в России.

Этот раздел автор начинает с анализа исследований, посвященных социальным аспектам пола, проведенных в России в конце 19-начале 20 века. Перечисляя проблемы и направления, В.М.Елисеев называет только В.М.Хвостова как ученого, осмысляющего

феномен женского движения. Среди других представителей, принимавших участие в дискуссии по женскому вопросу, автор называет О.Вейнингера и его знаменитый труд «Пол и характер». Далее следует краткий очерк истории концептуализации и решения женского вопроса в советский период. Здесь мы встречаем традиционный анализ идей А.Коллонтай и В.И.Ленина, а также государственной политики в отношении женщин. Начиная с 60-х гг. Елизаров вычленяет несколько направлений исследований, которые в дальнейшем рассматривает более подробно. Исследования и работы В.Ядова, И.Кона, а также специалистов по семье и молодежным проблемам анализируются автором в сопровождении иллюстративных, статистических выдержек из их публикаций. Однако вне поля зрения автора остается значительный массив разработанных проблем, без которых нельзя представить современное состояние гендерных исследований. Складывается парадоксальная ситуация, когда статус гендерных исследований в интерпретации автора достаточно высок, а российская зарисовка к нему значительно урезана.

Автор не только подробно и квалифицированно определяет термин «гендер», раскрывает его содержание, но и показывает его методологические возможности. Отвечая на немой вопрос читателя «Что дают гендерные исследования мужчинам?», автор раскрывает негативные последствия маскулинной культуры для самих мужчин. В главе перечисляются видные представители гендерных/феминистских исследований не только Европы и США, но и России.

Подводя итоги, следует сказать, что представленная учебная литература по социологии, как правило, не содержит гендерной терминологии, тематики, но в то же время ее тексты являются гендерно сенситивными. Гендерная проблематика в них раскрывается на примерах, исторических экскурсах или прикладных социологических исследованиях, которые учитывают фактор пола. Причем именно примеры задают «гендерный климат» учебников. Если в тексте не приводятся конкретные примеры с женщинами и мужчинами, то создается абстрактное представление об обществе, латентно наделяющее ключевые для него понятия «индивид», «личность» мужскими характеристиками, что с феминистских позиций трактуется как проявление андроцентризма социального научного знания [15, с.101-130]. Наиболее ярким примером такого текста является учебник под ред. Г.В.Осипова и П.Н.Москвичева. Учебники А.И.Кравченко, С.С.Фролова с конкретными женскими и мужскими примерами, как правило, изобилуют сексизмами. Отсутствие изложения артикулированной гендерной проблематики в данном случае придает тексту не столько научный, образовательный, сколько воспитательный характер. Не углубляясь в вопросы организованных в масштабах общества взаимоотношений полов, авторы дают им свою личную оценку, в некоторых случаях принимая её за норму. И, наконец, следует выделить

учебники и учебные пособия, в которых профессионально подается гендерная проблематика и к которым можно отнести учебник под ред. П.Д.Павленка. Таким образом, гендерный анализ позволяет также констатировать наличие прямой связи между наличием/отсутствием поданной в учебной литературе артикулированной гендерной проблематики и соответственно низким/высоким уровнем сексизма текстов.

Общественная сфера в учебной литературе по социологии выступает, прежде всего, как сфера деятельности мужчин. Мужчина представляется нормой и образцом человека, носителем социального действия, что достигается использованием в текстах учебников ряда стратегий: отождествлением человека и мужчины, доминированием мужских примеров, построением текста, основанного на мужском опыте и обращенного к мужчинам, сравнением женщин и мужчин всегда в пользу вторых, употребление пар мужчина-женщина с женщиной на втором месте. В учебниках демонстрируется широкий спектр социальных ролей мужчин, что отражается и в текстах, и в иллюстрациях к ним. Причем, анализируя социальные роли мужчин по текстам учебной литературы, становится очевидным зафиксированное ещё Т.Парсонсом и характерное для традиционно патриархатной картины мира отнесение мужских ролей к инструментальным, а женских – к экспрессивным.

Большинство авторов, трактуя социальный феномен неравенства между полами (гендерного неравенства), придерживается позиции биологического детерминизма и эссенциализма. Использование данного подхода в освещении проблематики пола приводит к парадоксальной ситуации – авторы не считают пол социальным конструктом, но сами же его конструируют.

Экспликация социального положения женщин по текстам учебников позволяет выявить два способа их описания – семейно-приватный и юридическо-государственный, в котором в основном закрепляются особые права женщин-матерей. В учебниках фиксируется узкий спектр социальных ролей женщин. Авторы рисуют картину острого социального конфликта совмещения ролей жены, матери и труженицы. Девальвация статуса женщин в текстах достигается серией дискурсивных стратегий, а именно – примерами (женщины как правило репрезентируют не социальный, а личный опыт, ограничивающийся замужества, беременности, материнства; контекстом (за ними априори закреплена приватная сфера, они упоминаются в традиционной связке с другими «социальными инвалидами» – пожилыми людьми, инвалидами и детьми; открытым признанием/утверждением, что их статус ниже, чем статус мужчин, а также личной позицией авторов, выражающих традиционные гендерные установки.

В результате проведенного исследования отчетливо выявляются три уровня функционирования [гендерной проблематики в социологическом образовательном дискурсе](#), к

каждому из которых применим конкретный подход. Первый уровень – общекультурный, задающий основные коды гендерной культуры, которые имманентно присущи и авторам, и читателям. К ним можно отнести языковые сексизмы, характерные для традиционно-патриархатной картины мира. Обозначая и раскрывая их, представители феминистских исследований утверждают, что это наиболее трудный для корректировки тип гендерной асимметрии [16, с.232-233].

Второй уровень – социальный, который представляет собой репрезентацию в текстах учебной литературы реалий социума, и в частности того факта, что известных женщин-политиков, экономистов, общественных деятелей меньше, чем мужчин, а деятельность большинства женщин не имеет публичного выражения. В различных интерпретационных моделях гендерных исследований указываются разные причины, а иногда и целый комплекс условий и обстоятельств, порождающих гендерную асимметрию в социуме: и последствия гендерной социализации (жесткая установка девочек на материнство), и проблема общественной оценки значимости женского труда (экономические критерии не работают для измерения домашней работы, воспитания детей), проблема невыраженности женского опыта традиционными языковыми средствами (область женской деятельности описывается с точки зрения доминирующей мужской группы и соответственно мужским языком в терминах «рациональности», «логичности», «эффективности»). Простая констатация фактов гендерной иерархии, конфликтов совмещения трудовых и семейных ролей для женщин и т.д. без использования гендерного анализа лишь порождает дальнейшее воспроизводство и тиражирование стереотипов массового сознания. «Профилактикой» против подобной гендерной асимметрии может стать включение элементов гендерного анализа в различные темы учебной литературы по социологии.

Третий уровень – индивидуальный, представляет собой сознательную установку авторов на принижение социального статуса женщин. Это выражается в критике феминизма, не соответствующей критериям научного поиска, в стремлении совместить гражданское воспитание с маскулинным, в откровенном сожалении о потере мужчинами лидирующих позиций в современном обществе. Устранение вышеуказанных проявлений гендерной асимметрии в текстах учебной литературы стоит, на мой взгляд, перед гендерной цензурой, необходимость которой демонстрирует проведенное исследование.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вейнингер О. Пол и характер. Мужчина и женщина в мире страстей и эротике. М. «Форум», 1991.

2. Мишель А. Долой стереотипы! Преодолеть сексизм в школьных учебниках. М. ЮНЕСКО, 1991.
3. Гидденс Э. Социология; Учебник /Пер. с англ. В. Малышенко и др. Науч. ред. В.А. Ядов; Общ. ред. Л.С. Гурьевой и Л.К. Иосилевича. М. Эдиториал УРСС, 1999.
4. Социология. Под ред. П.Д.Павленка. М.: ИКЦ «Маркетинг», 2002.
5. Добренков В.И., Кравченко А.И. Социология. М., Инфра-М, 2001.
6. Социология. Основы общей теории. Отв.ред. Г.В.Осипов, П.Н.Москвичев. М., НОРМА, 2002.
7. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. Под ред. Проф.В.И.Добренкова. М., Гардарики, 1999.
8. Основы социологии. Курс лекций. Под. ред. А.Г.Эфендиев. М. Об-во «Знание» России, 1993.
9. Кравченко А.И. Социология. Екатеринбург, 1998.
10. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И.Социология. Ростов н/Д. 2000.
11. Фролов С.С. Социология. Учебник для вузов. 3-е издание. М.: Гардарики, 1999.
12. Нечаева Н.А. Патриархатная и феминистская картины мира: анализ структуры массового сознания //Гендерные тетради. Вып. 1. СПб., Санкт-Петербургский филиал Института Социологии РАН, 1997. С.17-43.
13. Барбер Б. Структура социальной стратификации и тенденции социальной мобильности //Американская социология. М., 1972.
14. L. Tuttle. Encyclopedia of Feminism. London. 1986.
15. Клингер К. Позиции и проблемы теории познания в женских исследованиях // Пол. Гендер. Культура. Под ред. Э.Шоре и К.Хайдер. М., 2000.
16. Словарь гендерных терминов. Ред. А.А.Денисова. М. «Информация – XXI век», 2002.

М.А.Литовская (Екатеринбург)

**«Жизненная опытность» против «гендерных исследований»: проблема «чувствительности» аудитории**

Доклад на международном научном семинаре  
«Гендер по-русски: преграды и пределы»  
Тверь, 10 - 12 сентября 2004 г.

Гендерные исследования у нас в стране активно развиваются лет пятнадцать. За это время очевидно было создано общее пространство единого научного направления: определился круг исследователей с устойчивыми сферами интересов, сложились центры гендерных исследований, налажился выпуск специализированных изданий. Наконец, сформировался более или менее понятный всем работающим в этом поле исследовательский язык, создать который был тем более сложно, что изначально гендерные исследования пришли из-за рубежа и носили междисциплинарный характер: удаchi и неудачи переводчиков, вавилонское смешение терминологии из философии и социологии, лингвистики и литературоведения, истории и психологии потребовали немалых усилий для достижения взаимопонимания. Постепенно российские разработки в данной области заняли свое место в кругу международных исследовательских программ. Само количество появляющихся работ по гендерной проблематике, специализация внутри общей методологии свидетельствуют об энергично развивающейся области знания, захватывающей все больше вузов, факультетов, молодых исследователей. Немало развитию этого направления способствует разносторонняя финансовая поддержка, но, сколько бы ни иронизировали по этому поводу сами исследователи, видимо, их в этом научном пространстве держат не только гранты и возможность в приятной компании провести время за чей-нибудь счет.

Итак, дисциплина сложилась. Внутри сообщества возникло если не единодушие, то хотя бы нормальные условия для коммуникации. Сформировались исследовательские центры – спасибо их организаторам. Труды основоположников и классиков гендерных исследований полностью или фрагментарно, хуже или лучше, но переведены – спасибо переводчикам, редакторам, издателям. Выходили и продолжают выходить альманахи, журналы, сборники – бумажные и электронные. Спасибо их составителям – все понимают, какой это огромный труд. Появляется все больше монографий, в том числе и узкоспециальных. Слово «гендер» разучили более или менее широкие академические массы, и, хотя большинство русскоязычных компьютеров по-прежнему упорно предлагают исправить «гендер» на «тендер», оно стало узнаваемым.

Вообще для пятнадцати лет это немало. Но, обращаясь к новой методологии, ее адепты рассчитывали на интеллектуальный переворот. Им хотелось революции в сознании, тем более что западная история демонстрировала возможность существенного изменения в положении женщин / мужчин и в отношениях между ними. Да и в России иногда ожидаемый переворот происходил в сознании отдельно взятых людей. Так, мне самой довелось наблюдать, как в 1999 году аспиранты, переводившие книгу Е.Гошило о Т.Толстой<sup>1</sup>, были буквально потрясены тем, как, пользуясь дотоле неведомой им методикой феминистской литературной критики, американская исследовательница разобрала рассказ «Охота на мамонта». То, что текст может рассматриваться под подобным углом зрения, молодым филологам в голову никогда раньше не приходило, для них произошел сдвиг научной парадигмы. Выполненные в рамках этой же методики статьи И.Савкиной, Е.Строгановой, Е.Трофимовой, Э.Шоре и других<sup>2</sup> не просто производят сильное впечатление мастерством исполнения, но дают инструментарий, меняют видение, учат это изменение воплощать в действие. Не сомневаюсь, что аналогичные потрясения испытывали и работающие в других областях знания. Мощный эффект незнакомой методологии несомненно рекрутирует в ряды «гендеристов» многих молодых исследователей.

Но революция в нашей стране очевидно не произошла в сколько-нибудь массовом масштабе. Движение на шаг вправо – шаг влево от исследовательских центров показывают, что «вековая тишина» даже в вузовских аудиториях сохраняется, а если какие звуки и доносятся со стороны гендерно продвинутого исследовательского сообщества, то встречают достаточно активное, хотя порой и скрытое, сопротивление аудитории. Воспитание чувствительного к гендерным проблемам населения очевидно тормозится. Одним из способов организации сопротивления и торможения оказывается проявляющаяся все более отчетливо тенденция к дискредитации сделанного гендерными исследователями.

С одной стороны, взятый на себя этой отраслью знания труд по срыванию всех и всяческих масок для обнаружения сексистского и патриархатного лица современного общества даром не пропал. Чем дальше, тем чаще повторяются в СМИ важные для гендерных исследователей утверждения: гендерные отношения напрямую связаны с властными, общество патриархатно, мужчины и женщины живут в одном мире, социальный пол конструируется. Можно радоваться: идеи услышаны и транслируются. Но, как говорил

---

<sup>1</sup> Гошило Е. *Взрывоопасный мир Татьяны Толстой*. Пер. с англ. Екатеринбург, 2000.

<sup>2</sup> Савкина И. *Sui generis: мужественное и женственное в автобиографических записках Надежды Дуровой, О муже(N)ственности*. М., 2002; Строганова Е.Н. «Она не удостаивает быть умной...» («Война и мир» в гендерном прочтении), *Русская литература XX века в гендерном измерении: Опыт коллективного исследования*, Тверь, 2004; Трофимова Е.И. Еще раз о «Гадюке» Алексея Толстого (попытка гендерного анализа), *Филологические науки*, 2000, 3; Шоре Э. «По поводу «Крейцеровой сонаты»...» Гендерный дискурс и конструкты женственности у Л.Н.Толстого и С.А.Толстой. *Пол. Гендер. Культура: Немецкие и русские исследования*. М., 1999.

А.Платонов применительно к социалистической идее, то, что идея овладела массами, еще не значит, что массы овладели идеей. Да, современный российский человек любит порассуждать, например, о мужских или женских стереотипах поведения: этому посвящают ток-шоу, об этом бесконечно пишется в журналах «мужских», «женских» и «смешанных», но что он понимает под этими стереотипами?

Поскольку общество на самом деле патриархатно, все в одной лодке и борьба идет за власть, то отпор эти идеи получают более или менее открыто, но по всему фронту. Даже сам предмет гендерных исследований либо подменяется, либо запутывается. Так, например, позиционирующий себя как аналитико-информационный журнал «Огонек» дает материал «Феминизм не пройдет»: «Папа римский Иоанн 11 призвал своих кардиналов и епископов во всем мире активно выступить против радикального феминизма <....>. В послании епископам от имени Римской католической церкви осуждаются однополые браки, женщины в роли священников и гендерные исследования, которые стирают разницу между полами... Обращение сводится к одной мысли: мужчины и женщины созданы разными»<sup>3</sup>. Комментарии здесь излишни. Трудно сказать, идет ли речь о невладении терминологией или о сознательном искажении смысла ради дискредитации нелюбимого понятия, но подобного рода заметок по СМИ разбросано несчетное количество. Естественно, что издания и работающие в них журналисты, как, впрочем, и вузовские преподаватели, и специалисты в области гуманитаристики, делятся на более или менее «продвинутых», задающих «пафос», формирующих «повестку» и идущих в арьергарде, но большинство исходит из одного – чушь это, все ваши гендерные открытия. И апеллирует к одному – к «здравому смыслу и жизненной опытности» аудитории, то есть в конечном итоге к ее представлению об естественном, нормальном и правильном.

Вы утверждаете, что общество патриархатно? В ответ разворачивается поддерживаемая СМИ тема традиционной скрытой матриархатности российского общества. «За каждым мужчиной стоит женщина», «Муж – голова, жена – шея...». Во многих русских анекдотах о семье мужчина занимает место либо подкаблучника, либо такого мальчика-шалуна, которого периодически надо приводить в чувство, меняя только орудия управления: от скалки в руках до мобильного телефона<sup>4</sup>. Оглянитесь, говорят аудитории, вокруг, женщины разумнее мужчин, потому они и не стремятся к первым ролям, в министры, скажем, или парламентарии<sup>5</sup>. И так изо дня в день, с множеством примеров. Это импонирует женщинам -

---

<sup>3</sup> *Огонек*. 2004, 32,23.

<sup>4</sup> Это не мешает одновременно в большом количестве распространять анекдоты, где, по словам рецензента сайта <http://www.antiwomen.ru>, «к женщинам относятся так же, как к малым народам Севера» (*Город Е!* 2004, 40, 24)

<sup>5</sup> Так, скажем в статье, «женского» журнала *Вог*, посвященной манере одеваться «первых леди», походя отмечается: «Стопроцентной адекватностью обстоятельствам и в первую очередь самой себе отличалась Наина

ведь именно они по идее должны быть наиболее чутки к рассказам о патриархатности - потакает их ролевым представлениям о самих себе. А то, что изображения женщин разной степени полуобнаженности сопровождают приглашения посетить что угодно – от компании по автострахованию до дня первокурсника – так это потому, что *все любят женщин, женщина – это красиво, мы хотим сделать рекламу приятной* (журналисты) <sup>6</sup>. Мы в одной лодке, повторяют на все лады, поэтому не надо ничего менять. Российское общество лихорадит постоянно, у нас в обществе и так столько проблем, все настолько раздроблено, что только выпячивание гендерных конфликтов не хватает, чтобы еще и здесь всех друг другу противопоставить как заметил в дискуссии о проблемах феминизации высшей школы декан естественного факультета вуза.

Фигуры реальных действующих в историческом процессе «раскачивающих лодку» лиц женского пола (от А.Коллонтай до И. Хакамады, от В.Засулич до шахидок) дополняются постоянно производимыми СМИ конструктами, сменяющимися и дополняющими друг друга. Образы «враждебного элемента» периодически меняются, и на сегодняшний день главным объектом, насколько я могу судить по состоянию издательского рынка нынешнего года (исхожу из эмпирической оценки регулярно посещаемых книжных магазинов), является женщина, которую еще недавно именовали феминисткой<sup>7</sup>, а нынче она зовется стервой. Слово «феминистка», видимо, утратило свою будирующую роль, потребовалось внести в него больше негативной оценочности. В одном из крупнейших книжных магазинов Екатеринбурга прямо при входе появился огромный стенд «Стерва как она есть». На нем в конце августа было выставлено четырнадцать книг, преимущественно издательства «Эксмо», и с тех пор книги постоянно обновляются. Женскими фамилиями (Екатерина Шацкая, Марина Землянская и т.п.) подписаны «Стервы в большом городе», «Стервы покоряют город», «Средняя школа стервы», «Пощады не будет: высшая школа стервы» и так далее вплоть до «Большой книги стервы» и «Кулинарии стервы». Рубрика «Как стать стервой» появляется в газете «Комсомольская правда». Примеры можно множить и множить. Слово «стерва» понятно широкому читателю. Курсы стервологии, как мне сказала одна из ведущих их сотрудниц, уже открыли филиалы в городах Свердловской области. При

---

Ельцина. Единственной ее проблемой было, пожалуй, то, что она зачастую оказывалась адекватнее собственного мужа. Но в этом, при желании, можно было усмотреть национальное своеобразие» (2004, сентябрь, 347).

<sup>6</sup> Наши наблюдения основаны на материале проводимых в Уральском госуниверситете в течение семи лет семинаров, конференций, круглых столов и т.п., прямо или косвенно связанных с ГИ, и рассчитанных на различные в возрастном и профессиональном отношении аудитории. Здесь и далее курсивом выделены цитируемые устные высказывания.

<sup>7</sup> Несколько лет подряд журналы разного направления делали феминисток и феминизм предметом неустанных насмешек. Так, скажем, выход на экраны художественного фильма «Улыбка Моны Лизы» сопровождался мощной антифеминистской кампанией, где иронически преподносилась история феминизма, давались советы, «как обращаться со стопроцентной феминисткой», и т.п. ( см., например: *Premiere*, 2004, апрель, 62 - 67).

этом значение слова суживается: стерва проявляет себя не как «подлый человек, негодяй»<sup>8</sup>, но как своего рода сексуальная террористка или – в лучшем случае – сексуальная авантюристка, агрессивная, жесткая, претендующая на господство. «Если женщина властвует над мужчинами, она добивается успеха во всем, получает все, что хочет, - карьеру, деньги, исполнение желаний, дорогие подарки»<sup>9</sup> - эта модель закладывается как основа жизненного успеха. Война полов продолжается, ни о каком мирном добрососедстве не может быть и речи, женщины повсеместно наступают. Эта тема, судя по ответам студенток, находит у них полное понимание, выполняя функцию *нашего ответа мужикам* и даже рассматриваясь ими как *заговор женщин*.

В противовес жанровому многообразию историй про «раскачивающих лодку» по-прежнему популярной в СМИ и публичных выступлениях оказывается традиционная форма «самооправдания» женщин, объясняющих, например, почему они не желают публично исполнять первые роли. Эта тенденция к изображению *по-настоящему успешных женщин, ибо они живут в гармонии с миром и обществом* (заведующая отделом академического института) в противовес *несчастливым феминисткам* (постоянный эпитет многих респондентов), в частности, отчетливо проявляется в художественной литературе, в том числе и в так называемой женской прозе. На смену незаметным жертвам советского быта, счет которым открыла Н.Баранская в *Неделе как неделе*, пришли героини Марты Петровой, вошедшей в шорт-лист Букеровской премии 2004 года. «Валторна Шилклопера» – дневник женщины средних лет, которая легко и с удовольствием выполняет рутинные бытовые обязанности, и они не мешают ей успешно работать, ходить в концерты, любить близких и волноваться за дальних. Подобные *спокойные «женские»* истории переполняют журналы и книги нон-фикшн: не стоит тратить единственную жизнь на борьбу за переделку мира, лучше принять изначальное распределение ролей, тем более что свой минимум прав женщины уже и так завоевали.

Аналогичные подмены происходят и с тезисами о борьбе за власть, внутренней конфликтности гендерных отношений и т.п. Сложно говорить о женщине или мужчине вообще, слишком ощутимы социальные, классовые, этнические, культурные различия между теми, кто биологически относится к одному полу, в итоге у женщин может быть куда больше общего с мужчинами, принадлежащими их кругу и профессии, нежели с их «сестрами» из других стран или социальных слоев. Это превращается в утверждение, что гендерные конфликты в профессиональной сфере отсутствуют, *мы здесь объединены не по половому признаку, а по признаку профессии, и у нас противоречий между мужчинами и*

---

<sup>8</sup> Ожегов С.Ю., Шведова Н.Ю. *Толковый словарь русского языка*. М., 1992.

<sup>9</sup> « - Будет по-моему! – так утверждает Алиса Ветлицкая (автор одной из серий книг про стерв. – М.Л.)», *Комсомольская правда*, 2004, 29 октября – 5 ноября, 40.

*женщинами нет» (журналист, заведующий отделом), час мужчины-преподавателя всегда стоил у нас столько же, сколько час у женщины (декан гуманитарного факультета). Очевидны также источники утверждений, что гендерные исследования ведут для того, чтобы отобрать власть у мужчин (доктор исторических наук, работающий в академическом институте), занимающиеся ими – не просто агенты феминистского влияния (ассистент вуза), но и практические координаторы своеобразного заговора против мужчин (преподаватель средней школы) и даже виновницы демографического спада (доцент вуза).*

Наиболее часто встречающиеся возражения против гендерных исследований в широкой академической среде, немногочисленны и повторяемы исследователями разных полов, возрастов и административного положения. Во-первых, эти исследования считаются *женскими (о женщинах и только женщинами проводимыми)*, следовательно, заведомо неполноценными. Устойчивым оказывается неразличение феминизма и *гендеризма*. Гендерные исследования, преимущественно с помощью иронии и насмешки, сводят к *критике мужчин и мечтам о переделе власти*, для чего, в частности, *в последнее время проводится изучение мужчин*. Во-вторых, гендерная проблематика воспринимается как *чуждая российской традиции*, имевшей *своеобразный опыт «женского движения* и свою *традицию говорения о поле*. В-третьих, гендерные исследования широко позиционируют как *неестественные* для развития отечественной гуманитарной науки (*привнесены из-за рубежа, где хоть понятно, на каком контексте замешаны; существуют только за счет грантовых поддержек: кончатся деньги – кончатся и исследования*).

Таким образом, повторим еще раз, работа исследователей встречает заинтересованную реакцию: меняются образы, обновляется словарь, подбираются новые аргументы, подменяются тезисы. Приемы, которые идут в ход в *скрыто матриархатном* российском обществе, чтобы доказать надуманность и / или беспочвенность выводов авторов гендерных исследований, более или менее изощренны. Эти тенденции свидетельствуют о том, что общество в лице журналистов, которые по определению обязаны ориентироваться на его интересы, или в лице деятелей образования пусть и парадоксально, но признает ценность и значимость гендерных исследований для общества. Вот только в итоге в обществе формируется *полоса глухой обороны* (декан гуманитарного факультета) выводам, к которым приходят работающие в рамках гендерных исследований.

Противопоставляет ли что-то этим усилиям «гендерное сообщество»? Например, попытку развернуть гендерное просвещение. Наиболее часто используемой формой до недавнего времени были разного рода семинары, летние школы и т.п., приобщающие неофитов к азам или тонкостям гендерного знания. Постепенно вестернизация ли образования, привлечение ли целевых средств из западных фондов, усилия ли центров

гендерных исследователей и энтузиастов приводят ко все более широкому внедрению дисциплин «гендерного цикла» в вузы, формированию в них гендерно чувствительной аудитории. В последнее время все более явным становится стремление популяризовать результаты исследований.

Активно развернутая деятельность Ивановского ЦГИ привела к возникновению идеи расширения гендерного образования. Апогеем этой деятельности на сегодняшний день стало спущенное на все факультеты повышения квалификации по гуманитарным наукам Минобразования России распоряжение «Об изучении вопросов по основам гендерных знаний, гендерным проблемам в системе образования» (22.04. 2003), в котором говорится о необходимости «энергичного» введения в «образовательные программы повышения квалификации и профессиональной подготовки управленческих кадров, преподавателей и учителей специальных курсов по изучению основ гендерных знаний, гендерной политики, методов гендерного подхода в управлении образовательными процессами». Итоги этой энергичной атаки предугадать невозможно, но вполне вероятно, что она будет саботироваться и профанироваться. Во всяком случае ко мне нынче в сентябре позвонила завуч из одного техникума по рекомендации коллеги, которая сказала, что я знаю, что такое гендер и что с ним делать. В порядке эксперимента в техникуме за счет так называемых «региональных» часов собираются читать «Основы гендера». Разработку курса поручили преподавателю ОБЖ, что по-своему правомерно, хотя и вызывает воспоминания о печальной судьбе курса, посвященного семейной жизни.

Но популяризация гендерных исследований сталкивается с рядом пока непреодолимых сложностей. Немало сложностей для адекватного восприятия создает существующая в России до сего дня «закрытость» в публичном разговоре о вопросах тела и пола, проявляющаяся, в частности, в неготовности найти общеупотребительный язык для подобных обсуждений. Отсутствие синонимических рядов, которые могли бы одну и ту же мысль адаптировать применительно к разным уровням подготовки воспринимающих, лишают исследователей возможности популярно, но глубоко говорить о результатах своих и чужих исследований. Лингвистическое зияние порождает замалчивание, насмешки или – из-за отчетливо ощущаемой занимательности предмета - агрессию по отношению к «посвященным».

А то, что даже широкая аудитория, пережив недоумение от незнакомого слова, проявляет явный интерес к животрепещущим проблемам, могут, думаю, подтвердить практически все, кто подобные попытки предпринимал. Кажущееся очевидным тем, кто давно «варится» в этой проблематике, вызывает неожиданно бурную и эмоциональную реакцию. То, что кажущееся естественным формируется. Что категории «мужественности»

и «женственности» условны и исторически изменчивы. Задаваемые вопросы повторяются в разных аудиториях: *Откуда мы узнаем о критериях мужественности / женственности? Кто определяет их параметры? На какие образцы мы ориентируемся, когда говорим о чем-либо соответствии/несоответствии правилам поведения настоящего мужчины и настоящей женщины? Менялись ли представления об этих нормах во времени? Одинаковы ли они в разных странах?*

Но для разговора с широкой аудиторией нужны особый язык, желание, время наконец. Далеко не все даже успешные исследователи обладают этим, и нет смысла кидать в них за это камни. Но приходится отдавать себе отчет в том, что определение пределов и преград предполагает наличие некоего пространства, окруженного более или менее активной окружающей средой. И одну из границ между своими исследованиями и изучаемой ими социокультурной средой проводят сами трансляторы результатов гендерных исследований, исключая (или по каким-то причинам не создав) популяризаторскую сеть, рассчитанную на различные аудитории, в том числе и самые широкие. Передача знания «по секрету» локальна и несистематична, агрессивные нападки на «невежество» аудитории не прибавляют сторонников, «птичий язык», во многом задаваемый недобросовестными переводчиками, вряд ли может полноценно конкурировать с веками отработываемыми формами повсеместно распространенного бытового сексизма.

Легче о сложном говорить сложно. Любые, тем более революционные идеи нуждаются в многократном повторении. Аудитория захвачена другими идеями? Значит, надо воздействовать на аудиторию, воздействующую на аудитории – журналистов и педагогов. Аудитория слабо подготовлена к постижению истории феминизма или сложных теоретических проблем? Значит, нужно их адаптировать, сводить до уровня: Мир – народам; Еда – это часть культуры; Голосуй – или проиграешь. Можно четыре часа рассказывать учительницам про перформативность гендера, чтобы на выходе услышать: *Как в опере, ни слова не понять, но красиво*. С одной стороны – вот она, перформативность в действии. А с другой – толку ноль. Но тема такова, что аудиторию можно поймать на интерес. Приходят послушать, поудивляться, посмеяться, поохать. Если наступает момент узнавания – слава Богу. Человек «с улицы» не сразу понимает, о чем идет речь: непривычна терминология, незнакома логика рассуждений, странны для непосвященного методики анализа того или иного явления. Единственная возможность пробиться – не презирать, а объяснять. Тоже апеллируя к здравому смыслу и жизненной опытности, анализируя, в частности, то, как «родная» социокультурная реальность порождает и воспроизводит конфликты между полами и как этому способствуют (и – что случается куда реже – этому противостоят) те или иные тенденции развития современной культуры. И анализ этот должен вестись «на

пальцах», иначе единственным результатом будет отталкивание. Очевидно необходимо создание рассчитанной на специфическую отечественную аудиторию разных возрастов системы ключевых слов, фраз, примеров. Книжек с картинками, продуманных формул. Проведение конкурсов учебников и программ. Ликбез. Объяснение, что гендер и про мужчин тоже. И жить нам всем вместе – так мир устроен. И общество патриархатно.

Пока о терминологических нюансах доругиваются специалисты, тематизируя и проблематизируя, углубляя и уточняя, стоит, если мы хотим жить в обществе хотя бы немного менее конфликтном, подумать о прагматическом использовании знания. Как показывает история, прежде чем получить жидкость для снятия лака, надо сначала вывести формулу кетона алифатического ряда. Гендерные исследования эту стадию выведения формулы, видимо, уже прошли. Любая научная революция потому и революция, что предполагает тиражирование своих идей, превращение их в приемлемый для широких слоев общества продукт. Когда человек (в идеале каждый) начинает понимать, как система в общем работает, когда ему предложены методики для обращения с типовым и несложная операционная система для освоения новых объектов. Когда тысячи матерей и воспитательниц начинают выполнять новые инструкции и вместо «Перестань плакать, ты же мальчик», начинают говорить: «Тебе больно? Поплачь – и станет легче».

В 1968 году Лесли Фидлер призывал уничтожать преграды и засыпать рвы между элитарным и массовым искусством. Время он для этого выбрал подходящее, аудиторию тоже – журнала «Плейбой». Неизвестно, прислушался ли мир именно к его призыву, но рвы стали засыпать.

В итоге мы имеем новое искусство. Если же сознательно отгораживаться от действительности, уклоняясь от производства массового продукта, если не собираться захватывать банки, мосты и телеграфы, а только красиво подхватывать знамя из рук западных феминисток, то благородная, но, наш взгляд, малопродуктивная роль вопиющего о своей прозорливости и наблюдательности среди враждебного окружения обеспечена. Если мы не хотим «засыпать рвы» или хотя бы прокладывать ходы через созданные обеими сторонами линии обороны, то так и будем жить, слушая шуточки типа *До сорока лет женщина активно занимается сексом, а потом гендером* и недоуменные вопросы *Зачем вам гендер? Вы же замужем*. И дочери наши будут это слушать. И внушки.

## Раздел 2

### "Патриотизм/национализм как гендерный проект".

Аника Вальке, Ольденбург/ ФРГ

#### **Gendered War-Memory – Гендер и национальная память о войне**

##### **Введение**

В рамках статьи предполагается проанализировать совмещение конструкции гендера и нации в контексте коллективной национальной памяти о войне в Советском Союзе. Базой моего анализа являются биографии евреев, переживших Холокост, с которыми я проводила интервью в 2001/2002 гг. в г. С.-Петербурге и в г. Минске. Основными вопросами, которые интересовали меня в ходе бесед, были, во-первых: какие формы сопротивления люди оказывали немецкой оккупации и политике уничтожения. Во-вторых, какое место занимает их сопротивление в рамках общественного дискурса о войне. В статье я охарактеризую советский дискурс памяти, скажу о возможных причинах 'белых пятен' этого дискурса, а также о действенности конструкций гендера.

##### **Еврейское сопротивление – 'женское' занятие**

Прежде чем обратиться к памяти о немецкой агрессивной войне в СССР, я хочу сказать несколько слов о войне самой по себе. С первого дня ожесточенная война, которая велась немецкими оккупантами, была направлена на угнетение советских жителей и на разграбление страны. Немецкие войска разрушали многочисленные населенные пункты, изгоняли или убивали мирных жителей. Еврейское население должно было уничтожаться систематически. Евреев держали в гетто в нечеловеческих условиях. Постоянные погромы, голод и болезни приносили бесчисленные жертвы. С самого начала войны евреев убивали организованным способом. Из 2.500.000 еврейских жителей, захваченных немецкой оккупацией, выжили только несколько тысяч<sup>1</sup>.

Истории жизни респондентов доказывают, что ввиду политики уничтожения евреев как народа, сопротивление должно было носить не только патриотический характер - т.е. иметь целью освободить страну от оккупации, но оно должно было быть направлено на спасение как можно большего количества жизней. Евреи вынуждены были уклоняться от контроля оккупационного режима. В заключении речь идёт о том, как им удавалось находить возможности для существования: крышу над головой, пропитание, взаимную заботу.

---

<sup>1</sup> См. Arad 1994, S. 1061.

Многие мужья и отцы были убиты на войне, и роль «кормильца» и организация таких убежищ и их снабжение часто ложились на плечи женщин и молодых людей. Примечательно, что функции, выполнение которых оказалось необходимым для существования таких укрытий, традиционно считаются ‘женскими’.<sup>2</sup>

### Героизм, потери, смерть: исключение пережитого горя и жертв из памяти

Вторая мировая война в СССР носила название «Великой Отечественной Войны». Так, она изначально характеризовалась как патриотическая, имевшая главной своей целью в заботу об отечестве, о нации, о государстве.<sup>3</sup>

После успешного освобождения страны от вражеской оккупационной власти, все силы были направлены на реконструкцию разрушенного государства – как в материальном отношении, так и в идейном. Систематическое уничтожение еврейского населения, а также смерть бесчисленного количества советских мирных жителей и солдат долгое время исключались из официальной памяти о войне.

Бенедикт Андерсон констатировал, что совместная коллективная память имеет центральное значение для формирования национального сообщества.<sup>4</sup> Далее, Заул Фридлендер указал на то, что такая коллективная память зависит от поиска связей и избавления.<sup>5</sup> Для населения, для которого прошлое врезалось в память как время потери и горя – как в данном случае для советского населения, поиск ‘позитивного результата’ особенно много значит.

При восстановлении советского сообщества часто создавался образ «общей» победы над оккупацией, которая стала возможна только благодаря решительному сотрудничеству населения, партизан и войск. Образ «Великой» победы в какой-то степени сглаживал потери и горе войны; борьбе и смертям бесчисленных жителей он придавало смысл, а носителям власти – авторитет и признание.<sup>6</sup> Печаль принципиально не соответствовала самопониманию государства, и поэтому долгое время публично не признавалась.<sup>7</sup>

Победа над немецкими оккупантами представлялась как победа социалистического замысла над капитализмом, который теперь, после конца войны, должен был осуществиться окончательно. С первых лет существования СССР в гражданах воспитывалась готовность жертвовать многим ради общественных интересов. Политика ведения войны также

---

<sup>2</sup> См. Тес 2003.

<sup>3</sup> Впервые использовали это название в 23 июня 1941г. – с целью мобилизовать все силы на освобождение страны. (Tumarkin 1994, p. 61)

<sup>4</sup> Anderson 1988.

<sup>5</sup> См. Friedländer 2000, p. 5: [P]ublic memory demands simplicity as well as clear interpretation; its aim [...] is to domesticate incoherence, eliminate pain, and introduce a message of redemption.”

<sup>6</sup> См. Arnold 2002, S. 194.

<sup>7</sup> См. Bonwetsch 2002, S. 168.

основывалась на готовности населения, а прежде всего военных, воевать против оккупантов на пределе возможностей, не исключая жертвование собственной жизнью.

Возможно, поэтому большое место в памяти о войне заняли *герои* - обычно мужчины. Это нашло свое отражение в монументальных памятниках, награждениях и льготах, указывающих на стремление помнить о самоотверженной боевой обороне страны и общей победе.<sup>8</sup> Стремление спасти по возможности большее количество людей, попытки самозащиты и самоопределения оказались идеологически противоречащими военному сопротивлению и едва ли были признаны.

Я хочу это проиллюстрировать, используя выше упомянутые истории жизни евреев, переживших Холокост. На их профессиональные карьеры часто влияло то, как оценивала их опыт советская власть после войны. Истории жизни, реконструированные мною в интервью, позволяют выделить две группы.

С одной стороны это люди, которые выжили в укрытии или были членами так называемых «семейных отрядов».<sup>9</sup> Их не считали «регулярными» военными, даже если они участвовали в вооруженных боевых действиях, охраняли отряд или занимали важные функции в так называемых «боевых группах». И другие могли работать санитарями или поварами. После войны многие представители этой группы информантов испытывали сложности при поступлении в университет или в поиске рабочего места.

Так, например, Лидия Гершовна и Алла Семеновна смогли устроиться на работу только в такие места, где платили очень маленькие зарплаты. Причина этого в том, что из-за оккупации они не могли закончить школу и после войны не имели возможности продолжать обучение из-за необходимости зарабатывать средства на существование. Леонид Львович научился ремеслу электрика, но, несмотря на его высокую квалификацию, возможности продвижения по служебной лестнице были для него сильно ограничены. Риту Абрамовну и Фриду Иосифовну не приняли на те факультеты, на которых они хотели учиться из-за пятой графы в паспорте – «еврейская национальность». После завершения учёбы им было очень сложно устроиться на работу, и решить проблему трудоустройства они смогли только при помощи знакомых.

---

<sup>8</sup> Там же, S. 200-203.

<sup>9</sup> Такие отряды были устроены чтобы помогать евреям, убежавшим из гетто, укрыться и спастись от уничтожения. Название «семейный» указывает на то, что в таких отрядах жили женщины, мужчины, дети, престарелых люди, и семьи.

Другую группу представляют лица, которые жили в так называемых «боевых отрядах», куда евреев принимали очень редко. Участники боевых отрядов в послевоенной жизни могли достичь сравнительно высокого статуса, получали разные воинские награды (ордена и медали), и как ветераны Великой Отечественной войны они имели право на разные льготы. Как и многие мужчины среди тех, с которыми были проведены интервью, Григорий Борисович и Борис Михайлович после демобилизации обучались в вечерних школах и поступили в вузы чтобы получать высшее образование. Спустя несколько лет после окончания войны, они поступили на работу, где стали уважаемыми инженерами, назначались руководителями проектов, и получали награды за свою работу. В интервью они рассказывали о том, что работали на заводах под руководством бывших партизан, с которыми они были знакомы ещё с военного времени.

Однако, несмотря на свою высокую должность, Григорий Борисович не имел возможности, например, участвовать в переговорах с зарубежными фирмами. На недоверие по отношению к евреям указывали также две женщины: Елена Аскаревна и Нина Геннадьевна, обе бывшие партизанки, состоявшие в советских отрядах, которые смогли получить высшее медицинское образование и после этого работали врачами. В интервью они вспоминали о кампаниях советского руководства, имевших место в начале 1950-х гг., имевших целью «доказать» советской общественности «второсортность и опасность» людей еврейской национальности. Начиная с 1948г., борьба против так называемого «космополитизма» приводила к случаям нападения на евреев на улицах, или к случаям увольнения с работы. В 1952/53гг. развернулась антисемитская кампания, получившая название «Дела врачей», потому что обвинили врачей Кремля в «сионистском заговоре». Елена Аскаревна и Нина Геннадьевна рассказывали о пациентах, которые отказались у еврейских врачей лечиться, объяснив это недоверием к ним: «... я отработала три года, и я сама лично особо не ощущала так, я как-то работала, больные шли и всё. Но, более пожилые люди, которые были врачи, .. рассказывали тогда, что приходили матери и говорили: “Не хочу идти к этому врачу”».

В отличие от людей из второй группы, представителям первой группы были доступны, в лучшем случае, лишь низкооплачиваемые рабочие места. Добывание средств к существованию часто становилось серьезной проблемой.

Наверное, хорошо известно, что официальный антисемитизм решающим образом влиял на трудовую жизнь советских евреев<sup>10</sup>. Очевидно, не только еврейская национальность могла иметь позитивное или негативное влияние на то, как складывалась жизнь каждого человека.

---

<sup>10</sup> См. Lustiger 2000, Редлих 2000.

Так, можно также указать на то, что социальные сети среди бывших партизан оказывались очень важными и помогали обойти тенденциозную кадровую политику.

Разные возможности участия в общественной жизни, возможно, находятся в зависимости от дискурса памяти, о котором было сказано ранее, в рамках которого вооружённая оборона отечества и героическая победа ценою жизней здоровых, крепких людей стояла на первом плане и считалась почетной. Как это было? Почему дискурс памяти был создан именно таким?

Этот вопрос возник в тот момент, когда Рита А. закончила интервью словами «только такие дураки как я [...] скрывали, что они были в партизанском отряде.»

Когда она была девчонкой, она была членом еврейского отряда Михайла Зорина. Зорин основал этот отряд, когда были случаи антисемитских нападения на евреев, находившихся в партизанских отрядах. В его отряде потом собралось до 600 евреев, в том числе и мужчины, и женщины, мальчики и девушки. В отряде имелись мельница, пекарня, мясная лавка, и госпиталь, и эти учреждения служили и другим советским отрядам.<sup>11</sup> Рита Абрамовна охраняла отряд с оружием в руках, организовывала снабжение отряда продовольствием. Как и многие другие, отряд для неё был убежищем от погромов в Минском гетто.

Сразу после освобождения ей дали справку как члену «семейного отряда». А её брату, который был в том же самом отряде, дали подтверждение того, что он был «партизаном». Позже он получал военную пенсию, которая была выше, чем пенсия Риты, и разнообразные льготы.

Можно сказать, что это всего лишь один пример. Но именно этот пример указывает на то, что принадлежность к особенному отряду и еврейская национальность являлись не единственными критериями для признания или дискриминации. Что отличает Риту от Гриши – это их пол. По-моему, в отношении Риты два дискурса входят в тесную взаимосвязь: иерархизация пола, дающая основание для сексизма, и дискурс антисемитизма.

### Сопротивление и гендер

Закрепление разных статусов военного участия за братом и сестрой – официальное признание Ритино членства в ‘семейном отряде’, и Гришиного в ‘партизанском’ . представляется мне совсем не случайным. Оно указывает на соотнесение пола и определённой роли. Как пишет Цветан Тодоров, такое соотнесение оказывает сильное влияние на историографию и понимание истории, и таким образом, на конструирование коллективной памяти.

---

<sup>11</sup> См. Lustiger 1997, S. 316f.

Тодоров, болгаро-французский философ, проанализировал восстание в Варшавском гетто в 1943 г. и восстание в г. Варшаве в 1944г., задаваясь вопросом об их лейтмотивах и о памяти о них.

Главное различие – это исторические контексты обоих восстаний и их историческое значение: Еврейские заключённые в гетто должны были быть уничтожены в целом. Они об этом знали и не хотели быть уничтоженными без сопротивления. Они боролись только за то, чтобы выжить. В апреле 1943г. они боролись за свое достоинство, за «способы умирания»<sup>12</sup>, как выражался Марек Эдельман, один из предводителей восстания.

Польские жители добивались освобождения Польши и были готовы пожертвовать собой. Они боролись за абстрактную идею<sup>13</sup>, как утверждает Тодоров. По его мнению, такая героическая добродетель определила не только решение начинать восстание в 1944г., но и его историографию. А борьба евреев за своечеловеческое достоинство и право принимать индивидуальные решения, их забота друг о друге – и в этом смысле мораль, охарактеризованная как «женская», исчезли из коллективной памяти о борьбе против немецких оккупантов.

Тодоров констатирует, что противопоставленные им ценности «героической» и «повседневной» добродетелей совпадали с половой дифференциацией, также регулируя, как бы, «естественное» распределение работы и участие в публичной жизни<sup>14</sup>. Но тем не менее, это разделение не природное, оно исторически и социально обусловлено: «специфичная мораль женщин [...] конституировалась [...] путём их исключения из общественной жизни», как утверждает немецкая феминистка Андреа Майхофер.<sup>15</sup>

Как жители оккупированной Польши, так и советские евреи, боролись за простое выживание и за свое достоинство. А военная борьба была направлена на освобождение отечества и на победу социализма. Поэтому я считаю правомерным использовать рассуждения Тодорова для анализа советской памяти.

### Женщины – воины?

Названное выше закрепление специфичных добродетелей за одним полом особенно наглядно в случае, когда женщин не признают воинами. Во время войны многие женщины вступали в советскую армию, воевали в партизанских отрядах и участвовали в боевых действиях. В первые послевоенные десятилетия их участие в боях скрывали, женщины были быстро демобилизованы, даже против своей воли. Многие были вынуждены скрывать то, что они

---

<sup>12</sup> Marek Edelman, in: Krall 1980, S. 20.

<sup>13</sup> Todorov 1993, S. 13.

<sup>14</sup> Там же, S. 330.

<sup>15</sup> Maihofer 1988, S. 39.

были в армии или в партизанах, чтобы избежать подозрения в ,безнравственных отношениях'.<sup>16</sup> Об этом между строк говорит в интервью и Рита Абрамовна. Беате Физелер, немецкая историк, считает эту табуизацию частью «описания войны как чисто мужского подвига».<sup>17</sup> В широко распространённом понимании войны практически нет упоминаний о женщинах-воинах, за исключением нескольких героинь.

Чтобы понять причины этого отсутствия, я предлагаю бросить взгляд на историю отношений между полами в СССР в предвоенные и послевоенные годы.

В первые годы существования Советского Союза были предприняты усилия, прежде всего пропагандистские, для уравнивания положения женщин и мужчин. Один из шагов на этом пути – это интеграция женщин в трудовую жизнь. Одновременно женщинам предлагалось ,не забывать об их женственности' и выполнять роль служительницы/ хранительницы очага и воспитательницы.

Вследствие программного признания семьи как ядра социалистического государства и новых законов, которые осложняли разводы или ставили аборт под запрет, идеалом ,новой советской женщины' стала *работающая мать и жена*.<sup>18</sup> При этом, сильное влияние на такое понимание модели женского поведения оказывали традиционные представления о женственности, уходящие своими корнями глубоко в историю.<sup>19</sup> Таким образом, представления нового режима ,соединились' с представлениями населения в одной очень значительной сфере организации общества, что поддерживало лояльное отношение советских людей к советской власти.

Сразу после начала «Великой Отечественной войны» в официальном дискурсе был сделан акцент на крепость и самостоятельность советских женщин. Все силы были мобилизованы. Миллионы женщин выполняли задачи мужчин в промышленности и в сельском хозяйстве, больше 800.000 воевали, частично прямо на фронте. В пропаганде широко использовалась аллегория «Родина-Мать», обращающаяся к советским мужчинам. Они должны были отдавать всё, чтобы защищать и спасать «её». Имелась в виду Родина – Советский Союз – с одной стороны, а с другой стороны - женщины и дети дома.

Так называемое ,природное' качество женщины – матери, нуждающейся в защите, всегда присутствовало, даже когда многочисленные женщины участвовали в обороне. Не удивительно, что после войны последовательно акцентировались биологические, репродуктивные способности женщин.<sup>20</sup> В качестве основной задачи женщин, в рамках пропаганды восстанавливающейся страны, было определено материнство и забота о доме.

---

<sup>16</sup> См. Aleksijewiĉ 1989; Fieseler 2002; Moll-Sawatzki 2002.

<sup>17</sup> Fieseler 2002, S. 18.

<sup>18</sup> См. Clements 1991, p. 268.

<sup>19</sup> См. Lapidus 1978, p. 117, Clements 1991, p. 268.

<sup>20</sup> См. Fieseler 2002, S. 17.

Участие в войне оказалось ‚не женским‘, как рассказывает бывшая женщина-снайпер: «Внучке стала рассказывать, а невестка меня одернула: зачем девочке такое знать? Это, мол, женщина растёт ... мать растёт. ...»<sup>21</sup>

Такая установка была широко распространена, если обратиться к рассказам бывших участниц в книге Светланы Алексиевич «У войны – не женское лицо». Этот подход восстанавливает традиционную схему распределения половых ролей, учреждая формирование национального государства.<sup>22</sup>

### Гендер и национальная память

В своей работе о связи социальной памяти и дифференциации полов Зильке Венк и Инза Эшебах пришли к выводу, что конструирование женственности имеет особое значение для сохранения национальной памяти.

При этом мужчинам приписывают активную роль как защитникам нации, а женщины, напротив, играют ‚метафорическую‘ или символическую роль: Они активно не действуют, но репрезентируют мнимое (со)общество и отвечают за его репродукцию – как персонифицирует аллегория „Родина-Мать.“ Таким образом, образ женского становится «сигнификантом репродукции и устойчивости.»<sup>23</sup> В тот момент происходит смыкание государственной пропагандированной памяти героев и традиционных представлений о ролях, которыми мужчины и женщины должны оставаться верны.

В памяти героизма содержится доказательство могущества и стабильности государства, которое может защитить себя и пассивных женщин, и прогнать врага. Это именно та задача, которую, по традиционной логике, не могут выполнить женщины. Противоречие скрывается при замалчивании действительного участия женщин в боях, так как это признано ‚мужским делом‘.

И так, во *Введении* книги Светланы Алексиевич есть пассаж, в котором говорится о том, как люди ставили под вопрос участие женщин в военных действиях: «Разве вы, женщины, воевали? Интересно было бы знать, за какие такие подвиги вам эти удостоверения дали?»<sup>24</sup>

Участие женщин в военных действиях отказываются признать, пытаясь тем самым в какой-то мере восстановить конструкцию маскулинности, которая сильно страдала, когда мужчины не были в состоянии защищать женщин и детей, и те должны помогать себе сами.

Если говорить о различной оценке специфичных форм сопротивления уничтожению, то решающий момент заключается в объединении понятий женственности и пассивности и в

---

<sup>21</sup> Aleksijewič 1989, S. 9. В новом, нецензурованном издании книги здесь использованных цитат не включены. (см. Алексиевич 2004).

<sup>22</sup> См. Wenk/ Eschebach 2002, S. 28.

<sup>23</sup> Там же, S. 29.

<sup>24</sup> Aleksijewič 1989, S. 9.

противопоставлении их понятиям активности, силы и маскулинности. Так, Ронит Лентин обращает наше внимание на то, что призывы к защите женщин или представителей (мнимого) сообщества женского пола часто сопряжены с призывом к защите нации или этничности: Жертвами называют женщин, матерей, детей, нацию. Косвенно это указывает на ‚мужские‘ способности защищать и завоевывать.<sup>25</sup>

Вследствие этого систематически обесцениваются женщины, воевавшие с оружием в руках. В обращении обесценивают и действия, закодированные как ‚женские‘. Возможно, что именно такая девальвация стала причиной невключения главной для евреев заботы о выживании в общее понимание сопротивления против немецкой оккупации.

Таким образом, взгляд на пол совмещается с антисемитскими стереотипами, согласно которым евреи традиционно признаются слабыми и неспособными к активному бою, считаются жертвами и феминизируются. Иными словами, отказ от признания специфичных для евреев форм сопротивления направлен на сохранение представления об евреях как о беззащитных и не готовых к защите отечества – что поддерживает стремление исключать евреев как из общества, так и из памяти.

## Literatur

- Aleksijewič, Swetlana (1989), *Der Krieg hat kein weibliches Gesicht*, Hamburg (Алексиевич, Светлана [1984], *У войны – не женское лицо*, Москва.)
- Алексиевич, Светлана (2004), *У войны – не женское лицо*, Москва.
- Anderson, Benedict (1988), *Die Erfindung der Nation: zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts*, Frankfurt/ M.
- Arad, Yitzhak (1994), *Der Holocaust an den sowjetischen Juden in den besetzten Gebieten der Sowjetunion*, in: Grossman/ Ehrenburg, S. 1015-1062.
- Arnold, Sabine (2002), *Generationenfolge. Gedanken zum sowjetischen Kriegsgedenken und Geschichtsbild*, in: Quinkert, S. 188-206.
- Bonwetsch, Bernd (2002), *Der „Große Vaterländische Krieg“: Vom öffentlichen Schweigen unter Stalin zum Heldenkult unter Breschnew*, in: Quinkert, S. 166-187.
- Clements, Barbara Evans, *Later Developments: Trends in Soviet Women's History, 1930 to the Present*, in: *Russia's Women. Accommodation, Resistance, Transformation*, ed. By Barbara Evans Clements, Barbara Engel and Christine D. Worobec, Berkeley 1991, pp. 267-278.
- Deutsch-Russisches Museum Berlin Karlshorst (2002), *Mascha + Nina + Katjuscha. Frauen in der Roten Armee 1941-1945*. Katalog zur Ausstellung 15.11.2002-23.2.2003, Berlin.

---

<sup>25</sup> Lentin 1999, S. 76.

- Eschebach, Insa/ Jacobeit, Sigrid/ Wenk, Silke (Hg.) (2002), *Gedächtnis und Geschlecht. Deutungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen Genozids*, Frankfurt/M.
- Fieseler, Beate (2002), *Der Krieg der Frauen: die ungeschriebene Geschichte*, in: Deutsch Russisches Museum, S. 11-20.
- Friedländer, Saul (2000), *History, Memory, and the Historian: Dilemmas and Responsibilities*, in: New German Critique, No. 80. pp. 3-15.
- Grossman, Vassili/ Ehrenburg, Ilja (1994), *Das Schwarzbuch. Der Genozid an den sowjetischen Juden*, hrsg. von Arno Lustiger, Hamburg.
- Krall, Hanna, (1980 [1977]), *Schneller als der liebe Gott*, Frankfurt/M.
- Lapidus, Gail Warshofsky (1978), *Sexual Equality in Soviet Policy*, in: *Women in Russia*, ed. By Dorothy Atkinson, Alexander Dallin, Gail Warshofsky Lapidus, Sussex 1978, p. 115-138.
- Lentin, Ronit (1999), *(En)gendering Genocide. Die Feminisierung der Katastrophe*, in: Zeitschrift für Genozidforschung, Jg. 1 (1999), No. 1, S. 70-89.
- Локшин, А. (1994), „Дело Врачей“: „Отклики трудящихся“//Вестник Еврейского Университета в Москве, No. 1(5), с. 52-62.
- Lustiger, Arno (2000 [1998]), *Rotbuch: Stalin und die Juden. Die tragische Geschichte des Jüdischen Antifaschistischen Komitees und der sowjetischen Juden*, Berlin.
- Lustiger, Arno (1997), *Zum Kampf auf Leben und Tod! Vom Widerstand der Juden 1933-1945*, München.
- Maihofer, Andrea (1988), *Ansätze zur Kritik des moralischen Universalismus. Zur moraltheoretischen Diskussion um Gilligans Thesen zu einer 'weiblichen' Moralauffassung*, in: Feministische Studien 1988, No. 1, S. 32-54.
- Moll-Sawatzki, Andrea (2002), *Freiwillig an die Front? Junge Frauen zwischen Motivation und Mobilisierung*, in: Deutsch Russisches Museum, S. 21-27.
- Quinkert, Babette (Hg.) (2002), *„Wir sind die Herren dieses Landes“. Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion*, Hamburg.
- Редлих, Шимон (2000), Еврейский антифашистский комитет в СССР и антисемитская политика советских властей в послевоенные годы// *Холокост – Сопротивление – Возрождение. Еврейский народ в годы Второй Мировой Войны и послевоенный период 1939-1948гг.*, Фонд Холокост (сост.), Москва, с. 213-261.
- Tec, Nechama (2003), *Resilience and Courage. Women, Men, and the Holocaust*, New Haven/ London.
- Todorov, Tzvetan (1993 [1991]) *„Angesichts des Äußersten“*, München.
- Tumarkin, Nina (1994), *The Living and the Dead. The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia*, New York.

Wenk, Silke/ Eschebach, Insa (2002), *Soziales Gedächtnis und Geschlechterdifferenz. Eine Einführung*, in: Eschebach/ Jacobeit/ Wenk, S. 13-38.

## REPLACING THE LOSS: *Local Wars and Private Traumas in a Russian Province*

June 1 is a peculiar date in the Russian calendar. During the Soviet time, it was officially marked as *The International Day of Children's Protection* (*Mezhdunarodnyi den' zashity detei*). It never had its own ritual or its own symbol, and usually the celebration included a stream of publications and TV reports about the plight and problems of children in the world.

The *post-socialist* history of this Day acquired a more localized meaning. In Barnaul, the administrative center of the Altai region, located in the southwest Siberia, June 1 became also a date to commemorate Russian soldiers killed in the Afghan and other "*local wars*," as they are increasingly called in Russia.

This shift of emphasis from protecting children to commemorating deaths of "children's protectors", as a Barnaul newspaper recently framed it,<sup>2</sup> happened first time on June 1, 1991. Back then, two regional organizations – the *Altai Committee of Soldiers' Mothers* and the *Union of the Afghan War Veterans* – opened in downtown Barnaul a memorial to the soldiers who died during the Soviet military campaign in Afghanistan in 1979-89.

Five years later, on June 1, 1996, another public ceremony marked the anniversary of the veterans' movement. This time a different war preoccupied the attention of people collected in the main square of the city. In front of a big screen with Russian churches, various speakers talked about soldiers who were killed in military conflicts in Chechnya, Tajikistan and Abkhazia.

There was a clear difference between the ways in which the local officials and the *Mothers* framed the tragic losses in their speeches. Nikolai Shooba, the Permanent Envoy of President of Russian Federation in the region (and a veteran of the Afghan war himself) in his short speech urged people to refrain from quick and simple conclusions about the reasons for the new deaths. As the veteran put it: "let's stay away today from political evaluations; we are here to express our human attitude to what these soldiers did... There might be different political opinions [about the conflicts] but we have done here everything we could ... to commemorate the people [who died]."

Svetlana Pavlukova, the head and the founder of the *Altai Committee of Soldiers' Mothers*, whose own son died in Afghanistan, also refrained from making a political statement but in a somewhat indirect way. As she put it:

---

<sup>1</sup> E-mail: oushakine@columbia.edu

<sup>2</sup> Dmitrienko, Tamara. 1 iunia v Barnaule zashishali detei i materei. *Svobodnyi kurs*, 2004, June 3.

Today our big family got bigger. In addition to four thousands guys who fought in Afghanistan and 144 families who lost their sons there, we now also have soldiers who fought or died in Chechnya: 76 people who were killed and about two thousands of those who came back.<sup>3</sup>

Thanking the veterans and the regional administration for their help in creating *The House of Veterans* (Dom veteranov), Pavlukova proceeded then to the main part of the ceremony and unveiled several memorial plaques with the names of killed soldiers. A thoroughly scripted and organized event quickly transformed into a lasting frenzy of despair, crying, and wailing of people who attended the meeting, only to follow later by a concert of a rock-group, and fireworks.

I want to follow this tendency to “familiarize” and “domesticate” the field of social relations hinted in the Mother’s speech and explore how *Mothers* deal collectively with political traumas in a situation when the public opinions about the causes of these traumas are ambiguous or polarizing.

Before I turn to my materials, I want to describe briefly the location of my fieldwork. Barnaul is the administrative center of the Altai region, located on the border with Mongolia, China and Kazakhstan. Barnaul and Altai in general have a limited exposure to the new trends usually associated with post-Soviet reforms. The region can not sustain itself economically and is often labeled by mass media as “economically depressed”.<sup>4</sup> More than 50% of the region’s expenses is covered by subsidies from Moscow. The region is one of the poorest provinces in the country (following the Caucasus province of Dagestan).<sup>5</sup>

The military-industrial complex that once dominated the local economy has been replaced by labor-intensive “merchant capitalism,” which relies on profit from trade (rather than production) and depends upon privileged relations with local authorities.

As many scholars have noticed, this form of economic development prevents rather than contributes to formation of economically and politically independent groups.<sup>6</sup> Because of this political and economic situation, the local government has become a major – and often the only – source of financial and political support available for local educational, civic and political organizations.

The city and regional administrations cover the rent and utility costs of the *Mothers’ Committee* and sponsor the *Committee’s* publications. In many interviews with *Mothers* I was also

---

<sup>3</sup> I quote Shooba and Pavlukova from the video-film of the ceremony that I obtained during the fieldwork.

<sup>4</sup> At least seventy one Russian provinces (out of eighty nine) rely on financial subsidies from the federal center. See, e.g.: *Vedomosti*, November 24, 2003.

<sup>5</sup> *Altay Daily Review* 28-11-2003; URL: < <http://www.bankfax.ru/page.php?pg=22254> > Accessed last time on June 20, 2004.

<sup>6</sup> See: Burawoy, Michael, Krotov Pavel. The Economic Basis of Russia’s Political Crisis. *New Left Review*, 1993. Vol. 198, pp. 49-70; Humphrey, Caroline. *The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies After Socialism*. Ithaca: Cornell University Press, 2002, pp. 69–99.

told about monthly cash payments (100 rubles/\$3 in 2001) and food packages that some district administrations of Barnaul provide to *Mothers*.

Even with all its specificity, the Altai region is hardly an exception in today's Russia. It can be easily seen as a typical province that has to define its ways in a market economy without the influx of investment that has changed so drastically a few Russian regions rich with oil and gas.

The population's low mobility in general and a lack of resources for undertaking a move to a more prosperous area in particular, force people to take their dependency on local institutions as the primary context for devising their strategies of existence.

There are two major issues that I am interested in exploring in this paper. One of them has to do with the *structural* component of dealing with trauma. Namely: what are the organizational tools, what are the personal skills that are available to *Mothers* in order to create a functional model of civic interaction in a situation when there is no clear political, ideological, social support? In other words, given the local conditions and traditions, how did their social self-organization become possible and viable?

The *second issue* concerns *affective aspects* of trauma. I am interested in looking at the practices that help *Mothers* to inscribe their traumas in their daily life. To frame it somewhat differently: I am looking at how a particular group of women in the post-Soviet provincial Russia learns to live with a trauma.

Given the profound alteration of *Mothers'* lives forcefully imposed on them by the state's institutions, what are the forms of public self-presentation that *Mothers* could use for articulating their grief in public, without losing a vital support of the local authorities? What are the types of solidarity available for this community of loss? How could this dialectic of the public context and the private feeling, of one's institutional and personal loyalty be worked out in a post-Soviet provincial political landscape, with its lack of civic traditions, underdeveloped institutions of social help, and a somewhat muted public opinion?

When I started my fieldwork in the fall of 2001 in Siberia, I expected to find in *Mothers* a highly politically motivated and vocal group of critics of the governmental policy regarding Chechnya. To a large extent, this expectation had to do with a string of publication in Russian and American academic press that portrayed *Mothers' Committees* precisely as a form of political opposition. And to some extent this picture is not entirely wrong – several Committees in Moscow and St. Petersburg did assume a critical stance, successfully suing military and civic authorities for financial and moral compensations caused by deaths of sons in the army.

However, the *Altai Mothers Committee* pursued a very different strategy. Issues of political responsibility and issues of compensation were overshadowed here by different forms of

symbolization of loss. What became extremely important for *Mothers* was an activity aimed at commemorating their sons. Survival, in other words, was thematized “in relation to death itself, not in relation to dying for something”<sup>7</sup>. Unable and unwilling to rely on political metaphors, *Mothers* framed their losses mostly in terms of biographical facts and personalized emotional events. A traditional search for the culprit – “*Who is to blame?*” – was gradually transformed into a set of commemorating practices – “*How do we remember?*”

By translating their loss into a language of public rituals, communication exchanges, and daily routines, *Mothers* constructed, negotiated and performed new forms of collective and individual identities. It is in this process of learning to live with bereavement that a community of loss appeared.

Certainly and unfortunately, this situation is not that unique. There are two moments that make it somewhat distinctive. The first one has to do with what Slavoj Žižek calls ‘*positivization of the lack*’, that is to say, a transformation of a negative experience into a positive activity.<sup>8</sup> For *Mothers* loss becomes a starting point, a substantive core and a major motivation of activity. As a slogan of one organization of *Mothers* has it – *Information about dead sons unites their parents*.

The second moment is the type of identity around which this community of loss structures itself. As Judith Butler pointed out in a similar case, a characteristic feature of the community of loss is that it “*cannot overcome the loss without losing the very sense of itself as community*”<sup>9</sup>. Without a constant reproduction of loss – for instance through a ritual – this community could not sustain its boundaries in the public domain. At the same time, the unceasing reproduction of loss becomes a major condition for existence of this type of identity itself.

What are the forms in which this double process takes shape in Barnaul?

Explaining the history of the *Altai Committee*, Svetlana Pavlukova told me how the *Committee* decided to bring together in 1989 all the Altai mothers whose sons were killed in Afghanistan:

We needed this gathering of mothers (*sleot*), because it was ten years since the war started. And all these years, people were as if totally forgotten. You know, everyone was by herself, and suddenly they all got together and they were told about their rights and that there were other people, similar to themselves; that there were people with a similar grief (*gore*).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Koselleck, Reinhart. *The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts*. Trans. by Todd Samuel Presner and Others. Stanford: Stanford University Press. 2002, 312

<sup>8</sup> Žižek, Slavoj. *Did Somebody Say Totalitarianism: Five Interventions in the (Mis)use of a Notion*. London: Verso, 2001, p.149.

<sup>9</sup> Butler, Judith. Afterword: After Loss, What Then? Eng, David and David Kazanjian, eds. *Loss*. Berkeley: California University Press, 2003, p. 468.

<sup>10</sup> Interview with S. Pavlukova, Barnaul, October 2001.

It is this theme of the grief that has not been noticed that often brings Mothers together and structures their narratives. An ability to express their pain or, more precisely, an ability to express their pain *in public* produces a powerful binding experience that eventually results in creating “an affective enclave”, a “community of pain and wounding,” as C. Nadia Seremetakis calls it.<sup>11</sup>

For example, in an interview, Katerina, an active participant of the *Mothers' Committee* explained to me how she spent several months in a struggle with a local administration, trying to get some help in building a grave memorial (*pamiatnik*) for her son who “drowned” while in army, as official documents put it.<sup>12</sup> Contacted by the *Mothers' Committee*, she visited a conference of parents:

It was such a conference! Every mother expressed her own pain: how her son died, all these details. I sat through it, we all cried there a lot: you know, to listen to this pain, what kind of death people had, how they were buried... We sobbed and wailed, of course... and after that I started coming here once in a while. And one day I was told, “We need a *Room of Memory* (*komnata pamiati*)...” ...I promised to do it, because my [other] son can paint. And this is how it all started...”<sup>13</sup>

I want to emphasize here the trajectory that the expression of pain assumes. Social isolation is broken down by making personal suffering visible, by making it heard. Yet isolation is hardly overcome. Grief is multiplied in personal narratives but it is rarely framed as a public issue. Loss is *localized* and *contained*, first of all, spatially: as a *room* of memory, as a *row* of graves or as a *house* of veterans.

The creating of a “micromoral setting”<sup>14</sup>, a site of mourning, or a community of loss, the physical re-arranging of the space, in which the community exists, suddenly became more prominent than identities of those who died and the causes of their deaths. Describing her idea to re-bury soldiers, Pavlukova explained:

Initially, when soldiers died, they were buried on the edges of the cemetery, the [authorities] tried to hide them... and we brought all these soldiers together, initially five people, in the center ...Some parents did not want to do it in the beginning but then, several years later, they realized how nice it is when all the boys are commemorated at once, and also re-buried their sons. <...> On February 15 [the day when the Soviet troops finally left Afghanistan] we always have a memorial service (*panikhida*)... The cemetery

---

<sup>11</sup> Seremetakis, C. Nadia. *Durations of Pain: The Antiphony of Death and Women's Power in Southern Greece. Ritual, Power and the Body: Historical Perspectives on the Representation of Greek Women*. Ed. by C. Nadia Seremetakis, New York: Pella Publishing Company, 1993, p. 146.

<sup>12</sup> As the *Mothers* are convinced, direct or indirect “suicides” are often used as an explanation to hide the real reasons for soldiers' deaths (such as a death from fights, rape, murder, etc).

<sup>13</sup> Interview with Katerina M., Barnaul, November, 2001.

<sup>14</sup> Kleinman, Arthur. *Writing at the Margin: Discourse Between Anthropology and Medicine*. Berkeley: California University Press, 1995, p. 123.

now has a small chapel, so we all come, put up candles, stand a bit, nobody gets cold; then we walked through the cemetery and then go back home and lay a memorial table there (*pominal'nyi stol*).

This re-arranging of space, certainly, concerns more than the dead. (Re)burial creates and re-orders community. It provides an effective tool that draws a line between the community of mourners and the rest. Funereal practices demarcate a community of loss and by doing this they closely connect the reconfiguration of landscape and the re-organization of society.

It is instructive to see how in this particular quote consolidation of the graves, – that is, establishing a socio-spatial connectedness of the dead, – is resulted in a corresponding socio-spatial production of the community of loss. The final configuration of the public space (cemetery) that emerged as a result of the re-location of the soldiers' remains provides a ground, a literal place (“*a chapel*”) for the survivors. A new public space also determines the behavior of the community (“*we all come*”, “*put up candles*”, “*stand a bit*”, etc.). In this topography of death, the assumed identity – *mother of a soldier who is dead* – intertwines the world of family, the world of politics and the world beyond one's reach.

From a certain point of view, this active and deliberate proliferation of memorial practices and sites is understandable. The *Mothers'* activity seems to fully support the conclusion formulated some time ago by Stanley Cavell: “Studies of social suffering must contain a study of society's silence toward it”.<sup>15</sup> By performing various death rituals the *Mothers* evoked an expression of public support and succeeded in constructing what is called “good death”, that is the death that has witnesses, the death that does not fall into oblivion.<sup>16</sup>

*Mothers'* active re-organization of space associated with dead bodies can be seen as a form of taking control over the situation in which their role was previously reduced to that of a passive bystander. At the same time, Mothers' active engagement in various material practices associated with the dead sons resulted in the elevation of this loss to the status of the main integrative principle “around which, – as Slavoj Žižek puts it, – the social edifice is structured”.<sup>17</sup> Why could that be problematic?

In her work on post-socialist reburials, the anthropologist Katherine Verdery suggests that re-ordering public landscape in the process of mourning often is a beginning of a larger process of

---

<sup>15</sup> Cavell, Stanley. Comments on Veena Das's Essay “Language and Body: Transactions and Construction of Pain.” Kleinman, Arthur, Veena Das and Margaret Lock, eds. *Social Suffering*. Berkeley: California University Press, 1997, p.95).

<sup>16</sup> Serematakis, Nadia. *The Last Word: Women, Death and Divination in Inner Mani*. Chicago: University of Chicago Press, 1991, p.101; Danforth, Loring. *The Death Rituals of Rural Greece*. Princeton: Princeton University Press, 1982, p.125.

<sup>17</sup> Žižek, Slavoj. *Did Somebody Say Totalitarianism: Five Interventions in the (Mis)use of a Notion*. London: Verso, 2001, p.149.

“reordering morality.” The new physical order is turned into a moral foundation of a new life by “pursuing accountability and justice around dead bodies”.<sup>18</sup>

I want to suggest, though, that this transition from mourning to building a new moral order, outlined by Verdery, is far from being a universal one. A politics of justice aimed at “settling accounts”<sup>19</sup> could be effectively blocked by what Hanna Arendt called “the politics of pity”<sup>20</sup>, rooted in a powerful desire to preserve “wounded attachments”.<sup>21</sup> I must say, though, that I am not interested in comparing the social effectiveness of these two types of politics. Rather, I focus on politics of pity as an example of local practices utilized by a group of women devoid of high educational and political capital; women who have to act in a situation where more traditional demands for accountability and retribution are not available.

It is in this situation, by actively “inserting a configuration of passion into a communal space,”<sup>22</sup> the *Altai Mothers* created an institutional and cultural environment in which their social status resulted from the public’s recollection and recognition of what these *Mothers* lost. The community of loss, created by Mothers is built on and is sustained through coordinated affects and shared suffering. Let me give you a couple of examples to show how this coordination works.

Tatiana M., a member of the *Altai Mothers’* movement recollected her activity in the *Committee* in an interview: “When I came here, I did not know what to do... There was this permanent grief (*gore*) all the time, so... But Olga [the head of the Committee’s branch] told me: “Sit at the table. A mother comes, she cries, so you cry with her, too... This is how I started it in 1994...”<sup>23</sup>

In turn, Olga herself, whose son was apparently killed in army by his fellow soldiers, described initial stages of her own activity in the following way:

In 1991 ... we became societal (*obshchestvennaya*) organization. And the first thing I did was to introduce myself to the local administration; I had worked before in a research institute and never socialized in such high circles (*vyshie krugi*)... Usually I would come and say that I am a mother whose son died in the army in time of peace (*v mirnoe vremia*). They would open their eyes wide and say: “Is it true that there are cases like that?” I’d say: “Of course, there are! What are you talking about?” Later I put together (*organizovala*) an album, you know, an album in which all our deceased are. In which our pain is, mainly. The album of pain. Pictures, photos, things like that. So, I would

---

<sup>18</sup> Verdery, Katherine. *The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change*. New York: Columbia UP, 1999, p. 111.

<sup>19</sup> Borneman, John. *Settling Accounts: Violence, Justice and Accountability in Postsocialist Europe*. Princeton: Princeton University Press, 1997.

<sup>20</sup> See.: Arendt, Hannah. *On Revolution*. New York: The Viking Press, 1963, pp. 85-90.

<sup>21</sup> Brown, Wendy. *States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity*. Princeton: Princeton University Press, 1995. Ch. 3.

<sup>22</sup> Boltansky, Luc. *Distant Suffering: Morality, Media, and Politics*. Cambridge: Cambridge UP, 1999, p.53.

<sup>23</sup> Interview with Tatiana M., Barnaul, November 2001.

come to officials to introduce myself and I would show them portraits from the album, so that they could have a look, and I could see their reaction. If they looked at the portraits with some attention, I then would talk to them. If they just leafed the album through, I would take it back and leave. I was asked often in such cases: “Lady, why did you come, then?” So. So, thanks to this album, I found people who are interested, and not just interested but also helpful. They understand our pain, they help us.<sup>24</sup>

This “emotional reading of others”<sup>25</sup>, achieved through reliance on synchronization of affects and media, functions as the main tool for creating a “structure for attention”.<sup>26</sup> At the same time, this conflation of affects and media, this aestheticised emphasis on loss and mourning make rhetorically inappropriate and socially misplaced any questions about political conditions that have produced these losses in the first place. Because what is shared here is not a piece of information or an opinion that can be contested but rather an intimate space for emotional commitment.<sup>27</sup> Vocalization of pain and exchange of opinions about tragic losses become discursively and socially isolated. Exceeding a traditional intention to evoke an emotional response, *Mothers’* politics of pity tried to erase a difference between feeling sorry for someone and feeling someone else’s sorrow.<sup>28</sup> Purposeful coordination of affect, in other words, required a corresponding coordination of experience.

As I have already demonstrated, reciprocity of grief and a shared repertoire of affects, while providing the community of *Mothers* with an emotionally powerful binding framework, nonetheless required an additional supporting environment of artifacts capable of documenting losses and reifying the character of exchanges.

In 1991, together with the *Union of the Veterans of Local Wars*, the *Altai Committee* opened a memorial to the soldiers; in 1992 they published the book *Sons of Altai*, that contained photos and biographies of 144 soldiers killed in Afghanistan; in 1994 the Committee organized a re-burial of soldiers, and consolidated all the remains in a specially allocated row of a local cemetery.

In the second half of the 1990s, with the Chechen war in progress, the situation was repeated – in 1996 new memorial plaques were unveiled, in 1999 a new *Book of Memory* about the soldiers killed in Chechnya was published. In 2002 and 2004 new plaques were unveiled, and currently, two more *Books of Memory* are prepared for publication: one of them will present updated information

---

<sup>24</sup> Interview with Olga S., Barnaul, January, 2002.

<sup>25</sup> Ahmed, Sarah. Collective feelings or, the impression left by others. *Theory, Culture & Society*, 2004, vol. 21 (2), p. 26.

<sup>26</sup> Kleinman, Arthur. *Writing at the Margin: Discourse Between Anthropology and Medicine*. Berkeley: California University Press, 1995, p. 124.

<sup>27</sup> СМ. Boltansky, *Distant Suffering...* 42; Tsintjilonis, Dimitri. Words of intimacy: Re-membering the dead in Buntao. *Journal of Royal Anthropological Institute*, 2004, vol. 10, p.376.

<sup>28</sup> Eagleton, Terry. *Sweet Violence: The Idea of the Tragic*. Oxford: Blackwell Publishing, 2003, p. 156.

about all the soldiers from Altai who died in the “local wars” of the last twenty years; the other Book commemorates soldiers who died because of hazing and negligence in the army (*neystavnye otnoshenia*).

There was a less public process that accompanied this attempt to deal with trauma, too. *Mothers’* inability to articulate a discourse of civic rights and political responsibility or a therapeutic discourse of social help and rehabilitation led to an active elaboration of the discourse on memory. Caused by the state-organized violence, losses became incorporated in *Mothers’* daily life by activating what André Green, a French psychoanalyst, called “objectalizing function”<sup>29</sup>. Through “meaningful investments” they become inscribed into a series of personalized objects that could sustain one’s sense of the self and provide “continuing bonds” with the dead.<sup>30</sup>

Remembering here, in other words, is not so much an act of “re-evaluation of the past’s meaning”<sup>31</sup> but a process of including the traumatic past into daily practices of the present. I quote from a letter to the head of the *Committee of the Altai Soldiers’ Mothers* written by a mother whose son was also killed in the late 1980s in Afghanistan:

Svetlana, how are you. How is your health. Svetlana we live little by little, I cry a bit and live again. We must live on for the memory of our sons. Svetlana, my dear, [your son] Kostia is forever alive in our family and he lives together with our own son. In the evening, I put them asleep, all my sons, and in the morning I wake them up and live through the whole day, remembering them. ...Svetlana, we just got an apartment from the local division of the Defense Ministry; [we have to pay only] 50% of the rent. We move in around November 7 [the anniversary of the October revolution of the 1917]. You are very welcome to come and stay with us. Svetlana, can I ask you to send me a photo of Kostia. I have one, but it is so tiny. I am compiling a *Album of Memory to Those Guys Who Gave Their Lives For Freedom of Afghanistan* (*Albom pamiati rebiatam, otdavshim zhizn' za svobodu Afganistana*). And I need Kostia also on my nightstand. All of them I put on the nightstand, in frames with flowers around. Apart. is on the ninth floor in a 12-story building downtown Omsk, two rooms, 32 square meters of living surface. Larisa is a second-year college student, she spent two months in Krasnodar region as an intern (*praktikant*), collecting vegetables and fruit. She returned on the 29<sup>th</sup>. Write me, how your life is going on. How your grandsons are. Did [Kostia’s wife] Lubushka write to you at all. If you write her, pass my big maternal greeting and tell her that we remember Kostia and herself and wait to see [her] in our place. Svetlana, my dear, take care of yourself, do not cry too much. An extra-day (*lishnii den'*) of life is the best memory for our sons. It is an extra-flower planted on the graves of our sons. It is hard, there is nothing to say about it.

---

<sup>29</sup> Green, Andre. *The Work of the Negative*. Trans. by Andrew Weller. London: Free Association Book, 1999, p. 85.

<sup>30</sup> Klass, Dennis; Phyllis R. Silverman, and Steven Nickman. *Continuing Bonds, New Understanding of Grief*. Washington, D.C.: Taylor & Francis. 1996.

<sup>31</sup> Kenny, Michael G. A Place for Memory: The Interface Between Individual and Collective History. *Comparative Studies in Society and History*, 1999, vol. 41(3), p. 434.

But we must live on. Grit our teeth from pain and live, live, live. Live from the memory of our sons. All the best, my dear. Hug your firmly and wait for your reply. Luba, Omsk.<sup>32</sup>

This letter is by no means an exception. In the set of about 200 letters from *The Altai Museum of Local Wars*, Mothers often interweave the theme of loss and pain with descriptions of daily chores, illnesses, new refrigerators, TV-sets or harvest of potatoes. Trauma is constantly re-surfaced here. Yet it is broken into multiple objects of attachment, it is grounded in a multiplicity of material things.

This strategy of normalization of loss – through its localization and fragmentation – should not hide yet another corresponding mechanism through which the loss is negotiated and positivized. Namely, a series of exchanges (apartment, photos, visits, flowers), that is initiated and constantly resumed by the loss. Trauma is expressed as a circulation of emotions through the vehicle of material objects. Instead of being isolated and mourned or – as a lot of trauma studies suggest – instead of remaining as a blank spot, as a void that cannot be symbolized, it becomes the main structuring principle of the text, the main narrative device that stitches together an otherwise fragmented story.

Neither forgotten, nor recuperated, loss is transposed here to a different plane. Exchanges are not about compensation, that is to say, they are not about finding a right measurement able either to represent the depth of the loss or to justify it. Rather, exchanges function here as “a *mode of symbolizing* that is both economic and significant”<sup>33</sup>, i.e. as chain of recognition that draws public attention to the loss but fail to convey the degree of its importance.

The conflation of the symbolic and the material/economic in these exchange has yet another reason. The *Mothers’* appeal for recognition, for acknowledgment of their trauma takes place in a situation, when *cognition* and *knowledge* of what has happened are often impossible. In many cases, *Mothers* had no information about the circumstances of the death, in some – they never saw the bodies. As one of Mothers wrote in her letter, “all what remains from my son is my pain, pride and [his] award”.<sup>34</sup> In this case, domestication of trauma, its de-politicization and its re-location within the familiar context of everyday life seems to be the only narrative strategy that makes sense.

Facing death without established traditions or rituals often means, as Tony Walter suggests, that “the authority offered in the face of death is the authority not of tradition but of the self” (Walter 1994: 188). There is no coherent style or convention to follow. I argue that it is precisely these fragmented yet contiguous relations with reality established through the objects that matter but don’t

---

<sup>32</sup> Furzeva Lubov’ Ivanovna, letter to Pavlukovoi. N.D. (1990s) Altaiskii Gosudarstvennyi Kraevedcheskii Muzei; fond Pavlukovoi (not catalogued); hereafter – Pavlukova’s fond, AGKM. I keep the original punctuation intact.

<sup>33</sup> Goux, Jean-Joseph. *Symbolic economies After Marx and Freud*. Trans. Jennifer Curtis Cage. Ithaca: Cornell UP, 1990, p.4. *Italic* in the original.

<sup>34</sup> Furzeva Lubov’ Ivanovna, letter to Pavlukovoi, N.D.; Pavlukova’s fond, AGKM.

necessarily provide a coherent logic, it is this “semiotic volunteerism”, as Michel de Certeau called it,<sup>35</sup> that help Mothers to sustain themselves in an environment devoid of symbolic order.

Moreover, production of objects-re-placements might also explain why mourning is not followed by an expected disengagement from the loss. It is by constant oscillating between material references (“award”) and the absent referent (“son”) that *Mothers* remain connected with their sons and thus could cope with their bereavement.<sup>36</sup>

By drawing attention to the symbolic strategies of dealing with deaths caused by the state-organized violence, I have tried to demonstrate how people in a remote province of Russia create a network of support in a situation of drastic social changes and dysfunctional institutions. I examine how this domestication and personalization of loss, how this “localization” of wars and violence is used first of all as a means of *self*-organization, as a tool capable of shaping otherwise amorphous groups. A lack of civic discourse, I suggest, is often mitigated in these cases by powerful and emotionally charged rituals of remembrance and commemoration. Multiple sites of mourning, while helping to cope with loss, nonetheless, tend to produce an effect of self-isolation and exclusion.

---

<sup>35</sup>See: De Certeau, Michel, Luce Giard and Pierre Mayol. *The Practices of Everyday Life. Vol.2: Living and Cocking*. Trans. by Timothy Tomasik. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1998, p. 32.

<sup>36</sup> See: Klass, Dennis; Phyllis R. Silverman, and Steven Nickman. *Continuing Bonds, New Understanding of Grief*. Washington, D.C.: Taylor & Francis. 1996, p. xviii.

## Национализм. Культуры. Гендер

### 1. Понятия «нация» и «национализм».

Изобретение новой терминологии и переосмысление прежней, устоявшейся – это процесс, свойственный общественным наукам. Пересмотр старых понятий, наполнение их несколько иным смыслом, то есть то, что китайцы подразумевают, когда говорят «позаимствовать тело, чтобы вернуть душу» - позволяет приблизиться к четкому пониманию ситуации, в которой оказываются человек и общество. В политике цена слова чрезвычайно высока и разночтения в их толковании могут приводить к драматическим последствиям. Средства массовой информации используют политическую лексику и часто употребляют ее очень неосторожно и неточно. В результате получается, что привычные для нашего слуха слова обретают иное содержание или негативный оттенок. Так произошло, например, с понятием «национализм», которое на каком-то подсознательном уровне связывается у обывателя с представлением о насилии. Действительно, может ли быть иначе, если нас пугают угрозой националистических выступлений, ростом численности националистических организаций, говорят о всплеске националистических настроений. Именно поэтому, наверное, вопросы: что такое национализм, хорошо это или плохо, существуют ли точки соприкосновения между национализмом и патриотизмом, возникают редко.

Национализм стал объектом исследования многих наук: политологии, социологии, психологии,- то есть тех, которые, так, или иначе занимаются изучением, поведения или динамики сообществ. Западная антропология, традиционно изучавшая туземные культуры и многообразие общественных практик, также обнаружила нацию в качестве субъекта исследования, но произошло это во времена второй мировой войны. Маргарет Мид, Рут Бенедикт и другие антропологи допускали, что культуры меняются во времени, но они сделали ставку на их целостность и специфичность. Поскольку культура принадлежит всем, кто в нее включен изначально, можно различать национальные культуры. Исследователи сделали попытку реконструкции тех особых черт характера, которые присущи народу конкретного национального государства. Воссоздание физиогномики культуры, исследование *национального характера*, мотивации, прогнозирование поведения - вот что главным образом стало предметом изучения антропологов. Особенно важными эти исследования представлялись по отношению к государствам, которые считались врагами или соперниками. Очень популярной оказалась книга Рут Бенедикт «Хризантема и меч», где автор отразила наиболее яркие черты японского «национального характера». Однако время бросило вызов

этому подходу, потому что впоследствии, когда стала рушиться колониальная система и образовались новые независимые государства, выяснилось, что их граждане оказались скорее разъединены, чем объединены. Клиффорд Гирц в 1963 году указал на отсутствие у них национальной интеграции, что объяснялось различиями в языке, религии, в культурном наследии народов, входивших в состав новых государств. Соответственно и их гражданские чувства были противоречивыми. Более того, предполагавшиеся в гражданах высокие национальные стремления не всегда обнаруживались, хотя изначально лидеры новых государств делали на них ставку. Соответственно возникал вопрос: является ли нация реальной общностью людей или она - плод воображения? Знакомство с исследованиями позволяет сделать вывод, что ученые разделились на два лагеря – «реалистов» и «номиналистов», как в старые добрые времена. Большинство полагает, что нация – это «воображаемое сообщество» (см. 2, С.337). Оно придумано идеологами для проведения в жизнь политических проектов. То, что нации создаются, стало главной заботой теории общественных наук в 1980-х годах (Gellner, Anthony Smith, Richard Fox). Другие (например, исследователи, например, Нира Ювал-Дэвис, полагают, что нация – реальность, возникшая в результате динамики культур. Полагаю, что и те, и другие по-своему правы. Силу воздействия общественных теорий и идеологий трудно отрицать, а существенные изменения в облике современных культур, особенно за последние сто пятьдесят лет, очевидны.

Многообразие трактовок понятия «нация» можно свести к двум – в узком смысле и в широком. В узком смысле слова нация отождествляется с конкретной этнической группой, встроенной в жизнь доминирующей культуры. Это характерно и для современной ситуации, когда общество представляет собой «коктейль народов», живущих в рамках единого государства. Представители разных этнических групп пытаются сохранить свой стиль жизни, язык и свою культурную исключительность. Соответственно из-за ущемления прав какой-либо этнической группы, расовой дискриминации время от времени возникают конфликты. Если группа активно отстаивает свои права, заявляет о своих претензиях правительству или апеллирует к общественному мнению, обычно говорят об **этническом национализме**. Принцип этнической принадлежности, как справедливо утверждает Эрик Дж.Хобсбаум, «не несет в себе ничего программного и еще в меньшей степени является политическим понятием... У национализма есть много веских оснований желать, чтобы его отождествляли с принципом этнической принадлежности, хотя бы потому, что он обеспечивает «нацию» исторической родословной...» (9, С.335). Сценарии межэтнических конфликтов могут быть самыми различными. Например, на юге США, в городе Санта-Фе, издавна противостоят друг другу кастильцы (потомки испанских конкистадоров и выходцы из Испании) и «латинос», уроженцы Южной Америки. Камнем преткновения является вопрос этнической

принадлежности, связанный с правом на землю и правом на власть. Националистические настроения в этом уголке США часто оборачиваются серьезными столкновениями между представителями двух этносов, с одной стороны, и конфликтом между сообществами и полицией, с другой, что вызвало к жизни возникновение особого рода института посредничества между полицией и местными жителями. Действительно, вопрос происхождения и изначального права на землю везде оказывается связанным с правом доминирования, то есть власти, и это особенно характерно для регионов с древней культурой и письменностью (Европа, Средний и Ближний Восток).

Вторая интерпретация понятия национализм очень распространена в политологии и подразумевает **национализм в государственном измерении**. Исходное понятие нация трактуется здесь как некая общность граждан, которая имеет общую историю, язык и судьбу, живущая в рамках конкретного государства. Такое понимание нации способствует сплочению общества и призвано снимать социальное напряжение, делая акцент не на то, что разъединяет, а на то, что объединяет людей. Это очень важно, учитывая тот факт, что со временем этнический состав нации становится все более многообразным. Такое понимание нации появилось в 19 столетии, когда существовали более или менее гомогенные в этническом отношении национальные государства и границы отдельных культур примерно совпадали с государственными. Тогда классический, либеральный национализм способствовал расширению «масштабов социального, политического и культурного единства людей» и подразумевал «скорее объединение и расширение, нежели ограничение и обособление» (9, С.334) Можно сказать, что представление о нации-государстве стало складываться с периода наполеоновских войн. До этого момента внешняя политика была династической. Наполеоновские войны, а затем и первая мировая война в корне изменили ситуацию, потому что вовлекли в театр военных действий огромные массы народов. Люди сражались не только на передовой, но и в тылу, а выживание нации было и вопросом их собственного выживания.

Представление о нации как единстве создается и проводится правящей элитой, потому что реальные инструменты власти сосредоточены в ее руках. Элита обращается к воспоминаниям об общем прошлом, которое пребывает по ту сторону культурной разнородности. Воспоминания о скорбных днях, о былом величии, о жертвах поднимают в обществе сильную эмоциональную волну и способствуют единению. С одной стороны, идея нации необходима правящей элите для манипулирования общественным мнением, а с другой стороны, она придает ответственность и значимость деятельности самой элиты, потому что она выступает всегда от «лица нации». Идея нации играет и иную регулирующую роль – с ее

помощью элита пытается держать властные импульсы людей в определенных границах, направлять их по определенным каналам, чтобы отвлечь граждан от властных притязаний. Создается особая система стереотипов, законов и норм, поглощающая все внимание человека. Только очень узкий круг людей владеет властью над большинством, и на него не распространяются широкие ограничения, налагаемые на большинство. Понятие «нация» было изобретено еще и для того, чтобы скрыть тот факт, что «огромная масса населения в высшей степени является объектом власти, а не ее владельцем. Не будучи в состоянии найти полное удовлетворение своей жажде власти внутри национальных границ, люди проецируют ее на международную арену. Там они находят удовлетворение в идентификации с властными устремлениями нации» (5, С.119). Вот почему успехи национального государства воспринимаются как собственные. Гордость за ее успехи предполагает осознание себя частью великого коллектива – единой нации, которую мы, якобы, контролируем.

Итак, понятие нация является довольно абстрактным, в то время как понятие элита более конкретно, ведь она состоит из конкретных людей. Поэтому «...когда мы в эмпирическом смысле говорим о власти и о международной политике определенных наций, мы можем подразумевать только власть или внешнюю политику определенных индивидов, которые принадлежат этой нации» (5, С.117).

Ганс Моргентау также отмечает, что нация - неэмпирический феномен, потому что «она сама по себе не может быть увидена. Что можно эмпирически наблюдать, так это индивидов, которые принадлежат нации...» (5,С.117). Члены одной нации могут иметь совершенно разные убеждения, следовать разным религиям, иметь разный уровень доходов, принадлежать разным общественным слоям. «Нация – это отвлеченное множество индивидов, которые обладают определенными общими характеристиками, делающими их членами одной и той же нации» (5,С.117) . В период существования СССР, слово «нация» практически не употреблялось. Больше говорили о создании единой общности –советском народе, о национальной политике в духе интернационализма. Сегодня в России это слово тоже не в почете и, на мой взгляд, это говорит только об отсутствии конструктивной национальной политики, о разобщенности социума и бессилии закона, а также об отсутствии у политической элиты желания нести юридическую и моральную ответственность перед гражданами за свои действия. Создается впечатление, что политическая элита России боится национальной идеи, ибо на фоне резкой поляризации жизни, коррупции и бесправия граждан она чувствует угрозу своим интересам. Она демонстрирует неспособность проводить реформы в интересах большинства, боится потерять власть.

Нация – понятие коллективное, и правящая элита обычно очень заинтересована в том, чтобы внушить гражданам мысль об их причастности политике собственной нации. После второй мировой войны национализм как идеология и политическая программа, казалось бы не возрождается так откровенно в Европе в государственном смысле, потому что появляется ряд проблем, которые одна нация решить просто не в состоянии: контроль над ядерной энергией, защита и восстановление окружающей среды, проблемы транспортировки грузов и коммуникации. Возникают сверх- национальные организации, такие как Европейское Объединение Угля и Стали, Общий Рынок (Европейское экономическое Сообщество) и ЕВРАТОМ (Европейское Сообщество по Атомной Энергии). Казалось бы, глобальные задачи и проблемы должны были снять напряжение на международной арене. Но этого не произошло. Даже после создания ООН выяснилось, что «ее специализированные подразделения, созданные с целью реализации общих интересов наций мира, оказались охваченными соревнующимися национализмами» (5,С.122).

## 2. Нация и субкультуры.

Сегодня четко прослеживается тенденция отождествления понятий «нация», «национальная культура» и «культура». Если национальное государство отличается относительной однородностью населения в культурно этническом смысле (Китай, Япония), то понятие нация практически совпадает с понятием культура и эксплуатирует идею непрерывности и общности исторической судьбы. На мой взгляд, понятие нация имеет над-культурный смысл и выступает синонимом единого политического объединения граждан в рамках конкретного государства. Если исходить из того, что **нация есть некая целостность**, то «внутри» нее мы обнаруживаем *доминирующую культуру*, которая определяет магистральную политику нации, *субкультуры(этнические сообщества, религиозные, молодежные субкультуры)* , , а также *маргинальные сообщества(сексуальные меньшинства и пр.)* Между этими сегментами нации существуют определенные связи в рамках правовой системы. Нормы гендерных отношений моделируются в каждой из трех «подсистем» нации, что само по себе создает почву для непонимания, неприятия и конфликтов Диалог между тремя сегментами оказывается возможным благодаря средствам массовой информации и циркуляции различных идеологий, которые создаются на базе официальной идеологии, одобренной доминирующей культурой. В рамках режима демократии подобная свобода слова несколько снимает социальное напряжение, а возможность легализоваться через общественные организации позволяет недовольным обрести общественный статус и более спокойно и уверенно лоббировать свои идеи через

государственные каналы и структуры. Таковым был и путь феминистской идеологии, выросшей из либеральной идеи равенства. В большинстве западных государств (как правило, это государства старой демократии) феминистские идеи достаточно сильны и влияют на социальную политику. В государствах исламского мира эта идеология не совсем популярна, поскольку расходится с ортодоксальными представлениями о распределении ролей между женщиной и мужчиной. Исключение составляет, пожалуй, современная Турция, где вопрос о равенстве прав женщин и мужчин как граждан возник под влиянием идеи равенства, импортированной из Европы во второй половине девятнадцатого века. Следует подчеркнуть, что требования равных прав на исламском востоке выдвигались мужчинами - представителями интеллектуальной элиты. Практический результат движения за права женщин зависел все-таки от благосклонности официальных лиц определенной доминирующей культуры, ведь нужно помнить, что кнут и пряник узурпированы все же ею. Вот об этих-то взаимоотношениях между сегментами нации, о конфликте гендерных стереотипов и хотелось бы в общих чертах поговорить, потому что в рамках данной статьи глубокое исследование вопроса вряд ли получится.

Модернизация экономики запада и востока, ее глобализация являются сегодня очень важными факторами для понимания межкультурного диалога. Потоки иммигрантов движутся с востока на запад и с юга на север в поисках безопасности или высокооплачиваемой работы. Люди покидают свои дома, пересекают границы и напоминают деревья, вырванные из родной почвы, которым предстоит прижиться на чужой земле. Им придется влиться в ритм жизни иной цивилизации, освоить ее государственный язык, законы, нормы поведения. Доминирующая культура направит свои усилия на то, чтобы по возможности «причесать» вновь прибывших на свой лад и включить их в свое сообщество. Это оказывается возможным и потому, что у нее самой есть мистическая идея общности судьбы всех ее граждан. Так, реально «встречаются» государственный (или гражданский) национализм и этнический. И там, и здесь присутствует представление о некоей целостной общности под названием «нация», но в этой встрече заложена возможность конфликта.

Бенедикт Андерсон в книге «Воображаемое сообщество» проводит мысль о решающей роли общности языка, а не происхождения для формирования нации. Скорее всего, это вполне справедливо для государств старой демократии. Опыт образования независимых государств – бывших союзных республик – говорит скорее о том, что не только язык, но и узы крови играют здесь значительную роль в деле различения «своих» и «чужих». Это справедливо как в отношении государств Прибалтики, которые подчеркивают свою

историческую и культурную связь с Европой, так и в отношении государств Средней Азии. Здесь можно говорить о явной **этнократической** тенденции в политике, а грань между этноцентристскими установками и националистическими провести очень сложно. Знание языка не спасает, «чужих» стремятся исключить из сферы принятия решений, а дискриминация по национальному признаку становится обычной и даже программной.

Если понятие нация ассоциируется скорее с уровнем развития гражданского общества и государственных институтов, с характером ведения внешней и внутренней политики, то понятие культура указывает на глубинные исторические связи между людьми, и эти связи не зависят от жизненной «ситуации». Принадлежность нации можно изменить, сменив гражданство и сконцентрировавшись на том, что объединяет тебя с людьми, которые живут рядом. Культура подразумевает всегда происхождение, родословную индивида, а нация – его судьбу как гражданина с определенными правами и уровнем дохода. Нация, на мой взгляд, ассоциируется скорее с состоянием общества «сегодня», ибо все самое важное для нее происходит сейчас. Она в представлении граждан связана с экономическим и военным потенциалом, а культура предполагает нечто более тонкое – *стиль* (мышления и переживания мира, что воплощается в мифе, философии, изобразительном искусстве, литературе, музыке, религии, науке), а также *манеру* (одеваться, общаться, держаться). Слаженность существования полиэтнической нации обеспечивают единый государственный язык, статус которого обеспечивается авторитетом доминирующей культуры, четкое функционирование аппарата чиновников и отлаженная система работы с вновь прибывшими иммигрантами с целью их быстрой адаптации к новым условиям. Конечно, иммигранты остаются выходцами из других культур, но они становятся уже частью иной нации.

Таким образом, несмотря на видимое единство мира, он все же разделен на культуры, «чьи практики и институты охватывают весь круг человеческой деятельности, включающей публичную и частную жизнь» (З,С.75-76). Движение культур навстречу друг другу было обусловлено процессом модернизации, который немыслим без единого для всех языкового пространства, где только и могут развиваться образование, наука и производство. Это справедливо и по отношению к Западу, и по отношению к Востоку. Наглядным примером тому служат взаимоотношения между Османской империей и Европой в середине восемнадцатого века. Тогда поражения на театре военных действий заставили султана задуматься не только о причинах побед европейского оружия, но и о преимуществах Европы в других областях. Султан предпринял модернизацию турецкой армии, что подразумевало закупку нового вооружения и помощь «неверных» в подготовке офицерского состава.

Обучение велось на европейских языках, и это было весьма странно и неудобно. Дело в том, что турки вообще не изучали иностранных языков, рассматривая покоренные европейские территории, вошедшие в состав Османской империи, как окраину, лишенную высокой культуры. Соответственно, все главные события, по их мнению, происходили только вокруг их столицы и в пределах их государства. У них даже не было посольств на иноземных территориях. Если что-то было необходимо решить, посылали курьеров, и диалог с другими государствами этим только и ограничивался. Со временем будущих военных специалистов-мусульман стали посылать на учебу в европейские университеты, где готовили не только инженеров, но и переводчиков, потому что в европейских университетах изучались восточные языки, а в библиотеках было изобилие литературы, о которой турки не имели представления. Нелюбопытство им очень дорого обошлось, потому что они «проспали» тот момент, когда запад сделал качественный скачок в науках и технологиях, а приобщиться к европейским достижениям можно было только через европейские языки. Поначалу турки обратились за помощью в посредничестве к представителям религиозных и этнических меньшинств, которые по роду деятельности были связаны с Европой. Особенно им помогли христиане и евреи. Затем были организованы посольства на западе, а потоки турецких студентов устремились за знаниями в Европу. Таким образом, процесс модернизации в Османской империи начался с осознания важности создания единого международного языкового пространства, что привело к знакомству с философской, литературной традицией, обогатило информацией о политическом устройстве западных государств, о европейских идеологиях и прочее. Женский вопрос, который широко дискутировался в Европе, со временем тоже стал актуальным для Турции, потому что он всплыл в процессе обсуждения и усвоения западных либеральных идей и принципа свободы индивида. Права меньшинств, а затем и права женщин в Османской империи стали рассматриваться как разновидность и продолжение этой свободы.

Идею единой нации, хочу еще раз отметить, формирует элита, принадлежащая доминирующей культуре. Однако нация – это не просто воображаемое сообщество, но и конкретные люди, которые его воображают. Если доминирующая культура проявляет терпимость к национальным сообществам, способствует их быстрейшему включению в жизнь всей нации, то вполне вероятно, что в условиях демократии она окажется терпимой и к молодежным субкультурам, и к сексуальным меньшинствам, хотя последние все же остаются для общества маргинальными. Приверженцам этих групп доминирующая культура создает условия для легализации и отстаивания своих прав, тем более что «выборная демократия порождает готовый механизм, позволяющий меньшинствам, как только они научатся действовать, как группа и достигнут концентрации, достаточной для успеха их кандидатов на

выборах, эффективно бороться за свою долю в централизованных ресурсах... Теперь они конкурируют ... за одни и те же ресурсы на одном и том же трудовом , жилищном, образовательном и иных рынках» (9, С.339).

Доминирующая культура требует от «других» знания государственного языка, законодательства, заставляет принять во внимание стиль одежды, общения и деловой жизни. Поначалу эти стилевые особенности доминирующей культуры воспринимаются если не как шокирующее, то как чуждое, а иммигранты ощущают «культурное раздвоение». Мужчины из традиционных культур (Исламский мир, Индия) быстро к ним приспосабливаются, ибо им традиционно приписывается роль добытчика и функция общественной самореализации. Западный стиль одежды часто используется мужчинами с востока как маскировочная униформа, как сигнал о том, что он уже «свой». Одежда играет роль «первой кожи», как говорили в древности китайцы, и это высказывание вполне справедливо для культур, где жизнь сообществ неспокойна и где есть прямая угроза жизни из-за этнических размежеваний. Например, в Ю А Р, где противостояние белого и цветного населения достигает порой критической отметки, одежда может спасти или «убить». Адвокат бушменов (речь идет о представителях племен собирателей и охотников) Роджер Ченнел говорил в одном из своих выступлений о том, что в Африке бывает иногда чрезвычайно важно оказаться в нужном месте, в нужной одежде и в «нужной расе». Мужчины – бушмены, например, охотно меняют свой стиль одежды на западный (их любимая униформа - джинсовый костюм), чтобы не выделяться. Это племя было практически уничтожено белыми колонизаторами, которые согнали коренное население с территорий, где обнаружили запасы алмазов. Уничтожению племени Сан способствовал их мирный характер и доверчивость. Западный стиль одежды позволил оставшимся «раствориться» на время среди остального населения. Доминирующая культура, таким образом, влияет на стиль жизни сообществ в публичной сфере, и неважно, идет ли речь об иммигрантах, ищущих работу на чужбине, или об аборигенах, вынужденных жить в условиях колонизации и бесправия – всегда официальную, а значит, *безопасную* моду для женщин и мужчин диктует тот, кто доминирует и на чьей стороне реальная власть.

На уровне взаимоотношений между нациями вопрос доминирования стиля одежды является производным от вопроса реальной власти. Как правило, влияние на моду оказывает более сильная держава. Ориентация России на Европу выразилась не только в широкомасштабных реформах петровских и екатерининских времен. Впоследствии весь «свет» изъяснялся на французском языке (напомню, что даже пушкинская Татьяна пишет письмо Онегину на французском, а сам автор выступает скромным «переводчиком» ее письма). Что говорить о пристрастии императора Павла к прусскому оружию и форме!

Бернард Льюис, размышляя о взаимоотношениях Европы и Османской империи, особо подчеркивает, что перемены в самом укладе жизни турецких подданных начались с изменения внешнего вида мужчин, а не женщин. Когда началось реформирование турецкой армии, то «было естественно, что султан одел свою новую армию в форму, выполненную в западном стиле – действительно, один из ранних документов, настоятельно советующих проведение реформы, упоминает необходимость введения униформы, ее военную, особенно дисциплинарную полезность, например облегчение распознавания и ареста дезертиров» (4, С.75). Реформа была проведена и «...долгое время солдаты Среднего Востока носили европейскую форму с мусульманским головным убором, избегая шляп и фуражек западного образца с полями и козырьками, которые затрудняли мусульманскую молитву и рассматривались, поэтому, как символ «неверного»...Но сейчас это уже в прошлом. Сегодня вооруженные силы, гражданская служба, большая часть городского мужского населения приспособились к западному стилю одежды. Даже дипломаты Исламской Республики Иран носят западные костюмы за исключением галстука, чтобы символизировать их отказ от западной культуры и ее символов. По какой-то причине они придают галстуку символическую значимость, может быть, из-за того, что он имеет смутно крестообразную форму» (4, С.75).

Женская одежда на востоке более консервативна и традиционна. Женщинам никто не приказывал менять стиль одежды. Напротив, стабильность женской моды рассматривается как гарант незыблемости общественных и семейных устоев. Конечно, восточные женщины могут заимствовать какие-то детали западного платья, но в целом от них требуется соблюдение национального стиля. Головной убор – шаль, платок, вуаль сегодня символизируют культурный выбор женщины. Этот консерватизм в одежде санкционируется не только мужчинами. «Женщины, - пишет Нира Ювал-Девис, - воспроизводят нацию биологически, культурно и символически» (6, С.334). Для Неры Ювал-Девис нация – реальное, а не воображаемое сообщество. Реальное сообщество вырабатывает специфические, культурные коды, пребывающие в поведении, религии, языке, искусстве и так далее. Женщина – хранительница не только очага, но и этих кодов. Она, таким образом, воспроизводит нацию и как реальное, и как воображаемое сообщество. Нацию нельзя, по мнению Н.Ювал-Девис, рассматривать как иллюзорное сообщество, потому что оно – результат социально-политического творчества и основано на институциональных практиках, на гендерных отношениях, которые отражены в образе жизни и передаются поколениями. Она отмечает, что членство в нации гендерно задано, но женщина занимает в ней странное положение: она ей принадлежит, но для нее общество создает особые предписания, и в этом смысле она всегда немного «другая» для своего же сообщества. Отмечу, что шкала

исторического времени разделена между обоими полами тоже странно: мужчине как активному началу принадлежит будущее, а женщине – прошлое. Она всегда плетется вслед за мужчиной – эта идея вбивалась в женские головы веками и из этого прошлого очень трудно выбраться. Национальный костюм – это уютное прошлое, а европейский костюм – это гарантия будущего, атрибут карьерного роста для восточного представителя. Любопытно то, что все нововведения, связанные с реформированием мусульманского общества, воспринимаются мужским населением как **модернизация**, а все попытки восточных женщин во всем соответствовать времени называются уже иначе - **вестернизацией**, что предполагает отпадение от истинных национальных ценностей. Вот почему вопрос о ношении платка женщинами-мусульманками в условиях западной культуры приобретает особую остроту. Мне довелось на одной из конференций услышать из уст араба – гражданина Израиля слово «шуубизм», которым он обозначил не только попытки современных девушек вести независимый образ жизни, но и заниматься тем, чем всегда занимались мужчины. Это слово он произнес, видя как одна из представительниц прекрасного пола, лихо обыгрывала его друга в бильярд. Насколько я знаю, это слово возникло в результате филологической метаморфозы. Дело в том, что в 10 веке в Багдаде существовало движение «шуубийя» ( т.е. «обновление»). Оно было инициировано интеллектуалами персидского происхождения и было направлено против власти арабов – выходцев из Аравийского полуострова. Сегодня мужчины из этого слова сделали очередной «изм». Как мне пояснили, речь идет не о феминизме, а именно о культурной тенденции, когда женщина занимается деятельностью, свойственной только мужчинам.

Женщина – мусульманка вынуждена искать компромиссы и один из них достигается на уровне женского костюма: внешне дама может быть облачена в хиджаб, а под ним - джинсы и модные аксессуары. В дорогих европейских бутиках, куда заглядывают восточные красавицы, подобная картинка не редкость. Таким образом, она демонстрирует приверженность своей культуре и демонстрирует положительное восприятие доминирующей. Такое странное сочетание элементов одежды можно прочесть и иначе : «мы хотели бы одеваться как западные женщины, но мужчины требуют от нас соблюдать традицию». В более продвинутых сообществах (Египет, Турция) даже в этом нет необходимости: женщина может появляться на публике в пристойной западной одежде, а дома ходить в национальной – это ее право. Все зависит от среды воспитания, потому что, как известно, деревня гораздо консервативнее города, а также от уровня образования и степени вовлеченности женщины в профессию.

На чужбине, в иммигрантской среде первого поколения, «культурная раздвоенность» ощущается сильнее, и, как следствие, часто возникают конфликты, обусловленные желанием представителей этнических меньшинств выглядеть так, как того требует их культура. Например, «в 1989 году ...три северо-африканские школьницы были изгнаны из школы из-за того, что настаивали на ношении в классе своих покрывал. Шум возник вокруг «принципа светскости» государства Франция; велись дебаты и о свободе вероисповедания в условиях школьной системы, и о вопросе интеграции сообществ иммигрантов. В итоге глава Великой Мечети Парижа утвердил правило, согласно которому ношение шарфов в школе не запрещалось... Он сделал акцент на правах личности, а не на религиозных традициях или обязанностях: «Если девочка просит покрыть волосы платком, я считаю, что это ее самое изначальное право» (7, С.8). Таким образом, мусульманская идентичность утверждалась через установления доминирующей культуры, на языке понятий, выработанных ею. Иногда такая защита осуществляется иначе, когда подчеркивается особо принцип свободы как основа жизни Франции: «Пятого февраля 1994 года примерно 1500 студентов вышли на демонстрацию в Гренобле, чтобы поддержать голодовку протеста мусульманской девочки Шахерезады и ее новообращенной «сестры» Сандры. Шахерезаду выгнали из школы из-за отказа снять платок в гимнастическом классе. Главным событием в демонстрации протеста было короткое уличное представление с «привкусом» мультикультурализма направленное против дискриминации мусульманских девочек. Школьники изобразили директора школы, где училась Шахерезада, который тепло приветствует пришедшего в школу панка с разноцветными волосами, католика в коричневой мантии. Не забыли и еврея с его кипой. Игра завершилась девизами протеста: «Да! – принципу светскости и моему Шарфу! Франция - это моя свобода и потому существует и мой Шарф!» (7, С.9). Для Шахерезады ношение шарфа было ее долгом мусульманки и естественным действием, а не обузой. Ее «французскость» выглядела именно так. Совершенно очевидно, что и сама девочка, и те, кто ее поддерживал, не видели противоречий между исламскими и французскими светскими ценностями.

Обычно этнические или национальные сообщества поддерживают теплые связи с родиной, но со временем сообщество начинает жить вполне автономно. Национальный язык, вера сохраняются, а вот стиль жизни меняется, и молодежь, родившаяся в другой стране, воспринимает язык доминирующей культуры как родной. Однако в любом случае этническая группа остается прибежищем для своих по происхождению, и главной объединяющей платформой является национальная культура, происхождение - то, что изменить уже нельзя. Оно связано с памятью о доме, родной земле; оно ассоциируется с запахом национальной кухни и с образом матери. Прошлое - в голове и в сердце и убежать от него невозможно.

Национальное сообщество выполняет очень важную функцию: оно не только помогает иммигрантам приспособиться к новым условиям, но и снимает стресс, является пилулей от одиночества в океане народов, наводнивших мегаполисы. Национальное сообщество со временем выдвигает свою элиту, представители которой пытаются пробиться в элиту доминирующей культуры, чтобы отстаивать свои интересы на государственном уровне.

Однако отношения с доминирующей культурой складываются не всегда ровно, потому что проблемы время от времени возникают. Если говорить о взаимоотношениях западной и исламской культур, что сегодня более наглядно, то в них присутствует горечь недоверия. Внешнеполитические проекты и просчеты оборачиваются внутривнутриполитическими проблемами. Образ внешнего врага проецируется на гражданское общество, порождая гнусное явление – исламофобию. Средства массовой информации в рамках особой кампании демонизируют ислам, в результате которой все исламское вызывает страх: «Многие чувствуют, что этот страх поощряется теми, кто способствует распространению мысли, что ислам является первостепенной угрозой западу, сменившей коммунизм после окончания Холодной войны. Но такой подход – объявить всех мусульман воинственными фундаменталистами – слишком прост и опасен. Однако исламофобия имеет место, и каждый акт насилия, совершенный где бы то ни было вооруженными мусульманами, извлекается и выставляется на всеобщее обозрение, и везде ищут «исламский след» (1, С.8). Соответственно, у мусульман возникает ощущение, что за ними наблюдают и судят о них иначе, чем о других. Салам Ал-Мараяти, исполнительный директор Комитета по Мусульманскому Политическому Действию пишет: « Когда христианский фундаменталист громит клинику, где производятся аборт, или убивает врача, это считается помрачением рассудка. Когда мусульманин совершает акт насилия, то виноват ислам» (1, С.8).

Негативный образ мусульманина наиболее активно тиражируется через кино и телевидение. Он напоминает «анти-Рембо», потому что тиражируется образ неправильной маскулинности, не предполагающий ни высоких стремлений, ни интеллекта. Писатель Джек Шахин считает, что « с тех самых пор как движется камера, Голливуд произвел примерно тысячу кинофильмов, которые показывают мусульманина-араба как недо - человека..., примерно также как нацистское кино создавало портрет еврея... Что более всего беспокоит, так это то, что он прочно укоренился не только в душах американцев, но и за рубежом, поскольку голливудские фильмы распространяются среди 150 наций по всему миру, и почти всегда в подавляющем большинстве фильмов насилие приписывается мужчине арабо-мусульманского происхождения, а также связывается с исламом» (1, С.9). В погоне за сенсациями журналисты как бы не замечают, что мусульмане думают по-разному,

предлагают разные подходы для решения проблем и что священный огонь малого джихада горит не во всех сердцах. Такое негативное восприятие мусульман многие считают следствием негативного исторического опыта и противопоставления христианского мира мусульманскому. Например, специалист по истории религий Карен Армстронг полагает, что уже в Средние века «люди западного христианского мира развили стереотипный и искаженный образ ислама, который они считали врагом цивилизации» (1, С. 10). Был опыт жестокой священной войны против Исламского мира, а «ученые монахи Европы описывали ислам как по сути насильственную и нетерпимую веру, которая только и была способна утвердиться с помощью меча. Миф о предположительной фанатической нетерпимости ислама стал одной из идей, выработанной западом» (1, С.10).

**Маргинальные сообщества** (сексуальные меньшинства, проститутки и пр.) – интернациональная зона сосуществования. Эти сообщества тоже пытаются сначала обособиться от «других», а затем легализоваться, чтобы выйти на должный уровень общения с доминирующей культурой. Поскольку в своих национальных группах эти люди, как правило, являются изгоями, то они оказываются в условиях иной культуры как бы «вне родины», которую заменяет сообщество подобных им людей, где они могут быть такими, какие есть, где их не критикуют. Через «своих» они ищут работу и пытаются реализоваться в неподлинной для них, официальной жизни, ведь надо же как-то зарабатывать и иметь положительное для общества «лицо». Если есть творческие задатки, то геи, лесбиянки, трансвеститы осваивают шоу-бизнес, становятся моделями, художниками-дизайнерами, основателями домов моды, визажистами, певцами и политиками. Они распознают друг друга через язык жестов, символику или стиль одежды. Они - тоже часть нации.

Последний сегмент нации, о котором нужно сказать, - это **массовая и молодежная культура**. Полагаю, что этот вид культуры надо обозначать именно через «и». Дело в том, что массовая культура все же подразумевает некий «спецзаказ» доминирующей культуры и играет свою роль: она вырабатывает и навязывает общие стереотипы и целевые установки, создавая безопасное «общее поле», и снимает социальное напряжение. Пример создания стереотипов – это реклама, согласно которой все без исключения дамы в едином порыве борются с морщинами (предполагается, что мужчинам это ни к чему, они и так хороши), а мужчины пытаются заработать столько денег, чтобы купить модную марку машины.

Доминирующая культура через официальную идеологию и мораль проводит мысль о ценности семьи, о праве женщины на карьерный рост, но в рекламе женщина предстает на фоне компьютера или лимузина в нижнем белье. , что подразумевает , что ценность ее определяется сексуальной привлекательностью. Напротив, образ мужчины в рекламе

подается как символ успеха: молодой мужчина, сосредоточенный у экрана компьютера или с мобильником в руке, предстает всегда в приличном виде – он защищен дорогим костюмом от взоров толпы, его не изображают в трусах или шортах. Первая двусмысленная реклама (с девушкой в неглиже) явно предназначена мужчинам и ее можно прочесть так: купите этот компьютер, станьте с его помощью успешным, а дама в неглиже вас обязательно найдет и будет приятным приложением. Отмечу еще раз, что в рекламе отражены сценарии и стандарты доминирующей культуры.

*Молодежная культура* интернациональна. Она не причесывает всех под одну гребенку. Это – зона терпимости и сосуществования, зона условного гендерного равенства, место первого испытания на лидерство, пробы творческих задатков. Здесь символика, языки разных культур переплавляются в нечто новое и именно здесь можно узреть самые неожиданные сочетания культурных кодов: дикий причес, навеянный культурой индейцев племени ирокезов с африканскими мотивами и потрясающими цветовыми переходами; пирсинг в самых неожиданных местах. Панки, рэперы, металлисты, рокеры, байкеры и прочие – у всех свои знаки различия, все поглощено своей деятельностью и их редко заботит вопрос расовой или этнической принадлежности. Главное здесь – возрастной, а не этнический ценз. Например, «иммигрантские рэп- группы, такие как «Исламская Сила» и «Картэль», созданные в Берлине, задействуют символы и язык, копирующие культуру Черного рэпа. Они отождествляют себя с сопротивлением, братством и утверждают себя в универсальном послании Хип-хоп. Они не ограничивают себя «турецкостью», «немецкостью» или исламом как таковым» (7, С.15). Молодежь пока еще не может сделать взрослый выбор, пробует силы в небольшом сообществе единомышленников. Ее интересует музыка, спорт, техника. Ношение символики своей группы – это и знаки защиты, покровительства группы, и выражение их «символа веры» на сей день. Как и мусульманское покрывало или платок, знаки и символы молодежных сообществ заявляют о том, «кто есть мы» и что от нас ожидать. Обычно в этих субкультурах преобладают юноши, но это и понятно, потому что традиционно мальчикам предоставляется большая свобода. Молодежная культура охотно принимает в свои ряды выходцев из этнических меньшинств, что позволяет иммигрантам во втором поколении также брать символы идентичности из глобальных культурных потоков, как впрочем, и из культурных практик того государства, где им выпало родиться. Есть здесь и девочки, которых трудно назвать тихонями, и они, как и мальчики, пытаются отстаивать свое право на свободный выбор и творчество. Они пока могут и не осознавать себя членами единой нации, которая столь же реальна и воображаема, как их небольшое сообщество единомышленников. Они пока «забыли» во имя общего дела то, что их различает. Со временем под воздействием доминирующей культуры их цели и задачи

изменяться, но, ощущая себя частью нации, они повторяют опыт забвения всего «несущественного», однако об этом уже позаботится элита «воображаемого «сообщества».

#### Примечания

1. Afridi, Sam Muslims in America: Identity, Diversity and the Challenge of Understanding- Carnegie Corporation of New-York, 2001.
2. The Dictionary of Anthropology / ed. By Thomas Barfield- Dlackwell Publisher Inc., 1997.
3. Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights- Oxford, 1995.
4. Lewis, Bernard What Went wrong?: The Clash between Islam and Modernity in the Middle East- N.-Y., 2002.
5. Morgenthau, Hans Politics among Nations. The Stragle for Power and Peace.- N.-Y., 1985.
6. Nira Yuval-Devis and Marcel Stoetzler "Imagined Boundaries and Borders"//The European Journal of Women's Studies, vol.9, issue 3, August 2002, p.329-345.
7. Soysal, Yasemin Changing Parameters of Citizenship and Claims-Making: Organized Islam in European Public Spheres, EUI Working Paper, EUF No. 96/4 European University Institute, Florence, 1996, p.1-17).
8. Эрик Джю Хобсбаум Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе. // Нации и национализм- М., 2002.
9. Сильвия Уолби Женщина и национализм. // Нации и национализм- М., 2002.

## Национальный гендерный порядок: постсоветские трансформации<sup>1</sup>

Данное исследование находится в рабочей стадии, просьба не цитировать доклад. Я буду благодарна за замечания и комментарии: temkina@eu.spb.ru

Данный доклад посвящен трансформации гендерного порядка в постсоветских обществах на примере России, Таджикистана и Армении с акцентом на изменение способов социальной регуляции сексуальности. Я опираюсь на первичные материалы моих текущих исследований в Армении и в Северном Таджикистане, а также на предшествующие эмпирические и теоретические исследования, осуществленных совместно с Е.Здравомысловой и А.Роткирх.<sup>2</sup> В докладе сначала описывается общая концептуальная рамка и понятийный аппарат, затем рассматриваются некоторые особенности позднесоветского и постсоветского гендерных порядков в национальных контекстах.

### (1) Гендерный порядок и сфера сексуальности

Гендерный порядок определяется здесь как статусный гражданский порядок, для которого характерно неравное распределение благ и престижа по признаку пола. Он закреплен в исторически заданных образцах властных отношений между мужчинами и женщинами и внутри групп, выделенных по признаку пола (Здравомыслова, Темкина 2003). Концепт гендерного контракта используется нами для описания доминирующих в конкретном обществе предписаний людям и дифференциацию деятельности по признаку

---

<sup>1</sup> Автор благодарит Алижона Бойматова, Лилит Закарян, Елену Здравомыслову, Софью Касымову, Нарине и Армине Мхитарян, Мариам Оганян, Ирину Тартаковскую, Марину Хаккарайнен, Нонну Шахназарян за высказанные замечания при подготовке данного доклада и за помощь в организации исследования, а также всех участников дискуссии на семинаре в Твери

<sup>2</sup> *Исследование опирается на интервью, проведенные с городским образованным населением, поэтому его результаты не могут претендовать на репрезентативность.*

Используются материалы (1) биографических исследований сексуальности в России, (поддержанного Финской Академией наук (1995-1997, С.Петербург, 25 интервью с женщинами и 25 интервью с мужчинами трех возрастных групп)

(2) исследования, проводимого в настоящий момент в Армении (Ереван – 54 интервью, 32 женщины и 10 мужчины – биографические, 12 - экспертные). Проект «Трансформации гендерного полрядка: от позднесоветского общества к национальному государству (на примере Армении)» осуществляется при поддержке фонда Макаруров,

(3) текущего исследования в Северном Таджикистане (г.Худжанд, 11 интервью). Данное исследование осуществляется в инициативном порядке в рамках руководства проектом «Гендерное неравенство в образовании», поддержанного ХЕСПом.

Представленные здесь результаты по Армении и Таджикистану находятся in progress, в России планируется update эмпирического материала.

пола и по поколениям, определяющих их статус, права, обязанности и ответственность в сфере воспроизводства и производства (Темкина, Роткирх 2002).

Сексуальность рассматривается как компонент гендерного порядка, относительно самостоятельный, одновременно связанный с его другими составляющими. Р.Коннелл выделяет четыре относительно самостоятельные структурные модели гендерного порядка, основанные на различных принципах организации: власть, разделение труда по признаку пола, катексис (эмоциональная и сексуальная сфера) и символические репрезентации (Connell 1987, 2000). По определению Рензетти и Куранд, гендерная система включает три взаимосвязанных компонента: социальную конструкцию гендерных категорий на основе биологического пола; половое разделение труда, в соответствии с которым мужчинам и женщинам предписываются разные роли; социальную регуляцию сексуальности, позитивно оценивающую одни формы сексуального поведения и негативно – другие (Renzetti & Currand 1992). За основу в данном исследовании принято определение гендерного порядка как трехкомпонентного».

Сфера сексуальных отношений выступает своего рода «базисом» по отношению к другим уровням гендерного порядка - «надстройке» (гендерным ролям и гендерным конструкциям)<sup>3</sup>. В данной сфере постоянно создаются и воспроизводятся «натурализованные» гендерные различия. При этом «надстройка» может иметь относительно автономный характер. В частности, в условиях возрастающей эгалитарности гендерного разделения труда российского среднего класса может сохраняться (и даже усиливаться) поляризация норм сексуального поведения. Одно из ее проявлений - публичная сексуализация женственности. Другое – доминирующие идентификации женщинами себя как объекта мужского желания в сексуальных биографиях и одновременно утверждение себя в качестве активного субъекта в публичной сфере (Темкина 2001).

С другой стороны, существует комплиментарность между гендерным контрактом - предписаниями по признаку пола в приватной и публичной сферах и организацией сферы сексуальных отношений. В частности, при наличии жесткого контроля над женской сексуальностью (например, над добрачной девственностью) существует жесткий контроль выбора брачного партнера, возможностей получения образования, работы за пределами домохозяйства и пр.

Я предполагаю, что в условиях жесткой регуляции женской сексуальности правила организации сферы сексуальных отношений структурируют гендерный порядок в целом.

---

<sup>3</sup> Несмотря на очевидность того, что сексуальные отношения являются составляющей гендерного порядка, в подавляющем большинстве случаев гендерные роли и конструкции рассматриваются исследователями в отрыве от сферы сексуальности.

Сексуальность женщины становится ее «судьбой», которая тождественна браку и подчинению мужу, правила строго контролируются, их невыполнение приводит к исключению и маргинализации. Регуляция женской сексуальности составляет основу гендерного порядка<sup>4</sup>. В случае уменьшения степени контроля над женской сексуальностью, интимная сфера становится относительно самостоятельной в структуре гендерного порядка (по отношению к конструкции гендерных категорий и разделению ролей). Сексуальность выделяется в автономную (от брачно-семейных отношений) сферу, становится проявлением индивидуальности, ареной выбора и поиска удовольствий.<sup>5</sup>

Итак, нам предстоит ответить на вопрос, каково соотношение сексуальности и гендерного порядка в обществах советского типа и как данное соотношение изменяется в ходе постсоветских трансформаций.

Анализ осуществляется на примере трех случаев – России, Армении и Таджикистана. Каждый из данных случаев обладает уникальными характеристиками, одновременно эти общества имеют советское прошлое, в значительной степени структурировавшее системы гендерных отношений – женщины были вовлечены в публичное производство, материнство поддерживалось социальной политикой. При этом гендерный порядок на уровне повседневности различался существенным образом. Гендерные отношения в приватной сфере гораздо более жестко регулировались в Армении и в Таджикистане по сравнению с Россией (способы регуляции различались и между Таджикистаном и Арменией). В последние 15 лет в

---

<sup>4</sup> Приведу пример из интервью: (1) ... Я вам расскажу случай у моей подруги. Она в 19 лет вышла замуж. Он за ней красиво ухаживал, дарил цветы и все такое. Она училась в консерватории...Потом, когда они поженились, в первую же ночь они (родственники) простыню сняли, принесли в зал, постелили, и все мужики, именно вот соседи, приходили на это смотреть... И физически, и морально она была подавлена. Она сидела в кухне и плакала, не знала, что ей делать. ...Ей остался месяц учебы, буквально месяц, не больше и не меньше, а муж запретил, ...После того как она сказала, что нет, я пойду учиться... они ее выгнали из дома, а она уже была беременной...После того как ее выгнали, все, больше не пришли за ней, ничего, хотя она родила ребенка. ... Пошли разговоры, т.е. жизнь этой девушки уже сломана, все, она больше не сможет с кем-то знакомство завести, замуж выйти, потому что у нее ребенок есть, она с кем-то уже была. Семья этой девушки уехала в Россию, потому что жизнь здесь уже невозможна для нее. ... (Интервью, И, 19 лет, студентка, Ереван, 2004)

<sup>5</sup>(2)... А потом мы, чтобы избавиться от любопытных глаз, уединились в ванной и совершили половой акт, сидя на краю ванной. Поза была весьма акробатическая. Пол был скользким. Но я каждый раз испытываю восторг, когда клиторного оргазма удается достичь без помощи рук. Есть в этом что-то магическое...Отношения начались с секса в первый вечер знакомства, начало было положено... Я никогда не выйду за него замуж, слишком много недостатков... Иногда я ужасно хочу его и ужасно скучаю. Потом появляется новый объект интереса, и я вообще забываю, как его зовут и что он в принципе существует. Иногда засыпаю, мечтаю, чтобы он был рядом, хотя если бы он был рядом, мне, как всегда было бы трудно заснуть и он бы меня раздражал. Спать я вообще предпочитаю одна» (Женщина 23 лет, врач, С.Петербург, 1996 г. Фрагменты биографии, присланной на конкурс, опубликованы в: Час пик, 11 02 1998)

Я привожу данные цитаты для того, чтобы проиллюстрировать разное место сексуальности в биографии молодых женщин. Отмечу, что эти фрагменты рассказов не представляют единственно возможную интерпретацию женской сексуальности ни в Армении, ни в России (гораздо более сложную и противоречивую в повседневности), скорее они репрезентируют крайние варианты и в том, и в другом случае.

данных государствах осуществляется построение национальных государств, в Армении и Таджикистане сопровождаемое войной, тяжелыми экономическими последствиями и массовыми миграциями, которые оказывают влияние на усиление родственных связей и трансформацию гендерных отношений. В данных обществах в настоящее время наблюдаются противоположно направленные тенденции изменения: с одной стороны, рост традиционализма и усиления контроля над сексуальной сферой, с другой - либерализация гендерных ролей и смягчение контроля над сексуальностью.

## (2) Советский этакратический гендерный порядок и сексуальность

Советский гендерный порядок мы обозначаем как этакратический (Здравомыслова, Темкина 2003). Это означает, что государство претендовало на роль монопольного агента в выработке гендерной политики и идеологии, декларируя гендерное равенство, но предписывая различия гражданам по признаку пола и жестко контролируя исполнение предписаний. От советской женщины ожидалось выполнение ролей труженицы и матери (контракт «работающей матери»). Этот порядок воплощался в официальных (законы, СМИ) и повседневных дискурсах (реконструированных нами на основе биографических интервью). Ему соответствовала низкая степень институциональной рефлексивности по отношению к сексуальности (отсутствие доступного экспертного знания и институционального обеспечения репродуктивного планирования, низкая контрацептивная культура и пр.).

В наиболее полном варианте этакратический гендерный порядок был воплощен в период сер 1930-х – сер. 1950-х законодательного запрета на аборт и принудительного материнства. В позднесоветский период 1960-х – 1980-х годов относительная либерализация гендерного порядка и усиление неформальных горизонтальных связей в обществе способствовали частичной либерализации сексуальных практик городского образованного населения. Однако не существовало когерентного сексуального поколения, разделяющего общие нормы. Это было связано с отсутствием институциональной рефлексивности, с публичным умолчанием сексуальности и отсутствием информационного обмена между социальными группами (Rotkirch 2000: 167- 170). В разных национально-культурных контекстах существовали локальные вариации практик и сценариев сексуальности. Рассмотрим некоторые структурные различия гендерных порядков и организации сексуальной сферы и их воплощение в повседневности в конкретных случаях.

В позднесоветский период в России на повседневном уровне происходило постепенное изменение норм женской сексуальности, теряющей пронатальный характер при сохранении «двойного гендерного стандарта». Структурные факторы, способствующие этим изменениям – индивидуализация репродуктивного поведения (легализация абортов), относительная

экономическая независимость женщины, поддерживаемой государством и старшим поколением.

Официальная политика сексуальности при легализации абортов остается пронатальной и институционально не рефлексивной. Материнство (с которым отождествляется женская сексуальность) является гражданской обязанностью. Контроль осуществляют «расширенная нуклеарная» семья с невысокой степенью автономии супружеской пары (коммунальная квартира, совместное проживание нескольких поколений, пр.), советская медицина (Бараулина 2002).

С другой стороны, материнство обретает черты индивидуального выбора. Официальные и повседневные нормы допускают разводы и повторные браки. Расширяется неформальная публичная сфера<sup>6</sup>, в которой формируются иные нормы, допускающие внебрачную сексуальность, промискуитет. Начиная с 70-х годов, происходят существенные изменения сексуальных практик - «революция в повседневности» (Rotkirch 2000: 24). Разрыв повседневности и идеологии приобретает системный и рутинный характер, что позволило исследователям назвать такую сексуальность «лицемерной» (Zdravomyslova 2001). В неформальных практиках городского образованного населения становится легитимной нерепродуктивная сексуальность (которая не связана ни с браком, ни с деторождением). В культурных репрезентациях получают широкое распространение дискурсы о любви и дружбе (Темкина 2002). Любовь и дружба, выходящие за рамки семейных отношений, составляют основу повседневных дискурсов. В биографиях они воплощаются в рассказы о сексе, связанном с общением, влюбленностями, страстью, иногда репрезентируется как протест против официальных регламентаций.

Вместе с тем гендерно поляризованные нормы утверждают сексуальную активность и биологическую полигамность мужчин, пассивность и проблематичность женской сексуальности (Темкина 2002). Практики удовольствия, телесность умалчиваются в официальных и повседневных дискурсах, либо описываются в биографиях как проблема. В интервью о сексуальности женщины в основном позиционируют себя в качестве пассивного объекта внимания и действия мужчин. Российские женщины позднесоветского поколения рассказывают о многочисленных сексуальных партнерах, и часто - о неудовлетворенности своими сексуальными отношениями. Демонстрируется низкая контрацептивная культура, следствиями которой становятся многочисленные аборты. Страх перед нежелательными

---

<sup>6</sup> Неформальная или позднесоветская публично-приватная сфера располагается между приватной и публичной. В данном случае используется несколько подходов к интерпретации приватного и публичного. Во-первых, это феминистская трактовка – приватное – семья и домохозяйство, публичное – оплачиваемый труд, во-вторых, публичное рассматривается как сфера относительно свободной коммуникации (Хабермас) и социальности (Ариес). (см. *Weintraub J.* 1995.).

беременностями, бытовые сложности, проблемы в коммуникации с партнером затрудняют сексуальные взаимодействия. Активность ожидается от мужчин, в случае недостаточной компетентности партнера женщина оказывается «жертвой», не способной самостоятельно влиять на ситуацию. Если женщина проявляет активность, то может произойти поломка гендерной идентичности<sup>7</sup>.

Как показало настоящее исследование, в Армении и Таджикистане<sup>8</sup> позднесоветского периода женская сексуальность ограничивалась браком и репродукцией. Это ограничение, в отличие от позднесоветской России, не проблематизировалось в повседневных дискурсах, а воспринималось как естественное. Роль неформальной публичной сферы (горизонтальных, персонифицированных, неофициальных связей) выполняли расширенные родственные связи. Они же контролировали гендерное разделение труда и женскую репродуктивную сексуальность (жесткий запрет до и вне-брачных связей). В гендерном контракте более значима по сравнению с Россией была роль мужа-добытчика и свекрови. Такой гендерный контракт может быть обозначен как «муж-добытчик – частично работающая мать в системе расширенного родства». Разводы и повторные браки допускались, но в меньшей степени. Поляризация гендерных и сексуальных норм была более очевидной. Низкая степень автономии супружеской пары в патрилокальной семье, интерпретация материнства как многодетности (особенно в Таджикистане) не оставляли пространства для автономизации и индивидуализации женской сексуальности. Одновременно высокая мобильность советского периода позволяла мужчинам проявлять сексуальную активность во взаимодействии с другими этническими группами и за пределами республик (главным «ресурсом» выступали Россия и российские женщины).

Гендерный порядок в значительной степени включал патриархальный компонент, женская сексуальность контролировалась родительской семьей, семьей мужа и выступала необходимым элементом в обмене между соответствующими родами (ср. Рубин – обмен женщинами в традиционных обществах – Рубин 2000). Одновременно семьи позднесоветского периода активно пользовались социальной инфраструктурой, обеспеченной советским государством, поэтому такой порядок может быть назван патриархально-этакратическим<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Позднесоветская сексуальность была подробно проанализирована нами в предшествующих работах (Здравомыслова, Темкина 2002, 2004, Темкина 2001, 2002, 2003), здесь излагаются только основные выводы. Также см. Кон (1997), Rotkirch (2000).

<sup>8</sup> Существуют значительные культурно-исторические различия между анализируемыми случаями, которые будут более подробно рассмотрены в следующем параграфе

<sup>9</sup> Здесь под патриархальным порядком понимается система контроля, осуществляемая расширенной семьей, в первую очередь, старшим поколением при низкой степени автономии пары. Под патриархатностью понимается главенство мужчины в нуклеарной семье (паре).

Политика 1920-х годов, направленная в России на разрушение патриархальной семьи и подчинения освобожденной женщины советскому государству, в сочетании с индустриализацией и массовыми миграциями, оказалась достаточно успешной. Этакратизм гендерной политики редуцировал ее патриархатность до отдельных сфер (в т.ч. сферы сексуальных отношений). Одновременно на юге и на востоке, несмотря на агрессивную наступательную политику по преобразованию женщины и семьи, патриархальный уклад и семейно-родственные связи не были разрушены, более того в позднесоветский период они достаточно непротиворечиво вписывались в систему полу-формальных, персонифицированных отношений власти и граждан. Как указывал социолог Рубен Карапетян (экспертное интервью 2004), начиная с 1960-х годов, советскую систему в Армении пронизывали семейно-родственные связи. Советский лидер воспринимался в первую очередь как представитель определенной семьи. Существовали специальные стратегии для того, чтобы включать вышестоящих лиц в системы родства (например, их делали крестным отцом ребенка и пр.).

Гендерный порядок формально имел этакратический характер (женское гражданство, льготы, инфраструктура и пр. связывалось с материнством и занятостью), фактически женские роли (и материнство, и занятость) во многом контролировались патриархальными системами отношений<sup>10</sup>.

Советская гендерная политика выступала ресурсом для поддержания мужественности и женственности, благодаря ей мужчина мог осуществлять функции хозяина и содержать большую семью, а женщина могла быть многодетной матерью, поддерживаемой не только семьей, но и государством (Касимова 2004). С другой стороны, традиционно-патриархальные тенденции смягчались занятостью женщин в публичной сфере, высокой социальной мобильностью и низкой степенью институциональной рефлексивности по отношению как к сексуальности, так и к национальным различиям.

Образование и занятость женщин имела массовый характер в СССР, и, соответственно в позднесоветское время ни в Армении, ни в Таджикистане не существовало «жесткого» патриархата, характеризуемого полной материальной зависимостью женщины от рода и (или) от мужчины. Женщины, как и мужчины, были вовлечены в трудовую и «общественно-полезную деятельность», и соответственно, пространство их повседневных взаимодействий не ограничивалось приватной сферой. Как следствие в 1970-1980 в городах в образованным

---

<sup>10</sup> Как отмечают исследователи Армении, «система квот, государственный и партийный патернализм по отношению к женщинам, по существу не внес изменений в традиционно патриархатный подход к естественному предназначению женщины, главная обязанность которой – воспроизводство рода, забота о семье и воспитание детей... произошла простая подмена идеологии патриархатного отношения идеологией «социального материнства» (Асратян, Армаганова 1999: 119). Исследователи в Таджикистане определяют позднесоветскую гендерную систему как патриархатную – подробный анализ см. в Касимова 2004..

слоях был легитимен самостоятельный выбор супругов – браки по любви (пост фактум одобряемые и вписываемые в системы родственных горизонтальных взаимодействий), допускались «комсомольские свадьбы» и разводы, раздельное проживание поколений.

Высокий уровень социально-территориальной мобильности в СССР (обучение в вузах, служба в армии, распределение после вузов, командировки, туризм) способствовал некоторому разрушению правил межродовых обменов, распространенности межэтнических браков (особенно с русскими). Межкультурные взаимодействия и городская среда порождали более гибкие нормы в отношении сексуальности. Мои информантки в Армении рассказывали истории добрачных беременностей, гражданского сожительства, но о таких практиках, в отличие от России, говорят как о редких и тщательно скрываемых<sup>11</sup>. Эксперты, однако, предполагают их возможную распространенность в определенных социальных слоях. Альтернативные репрезентации и, возможно, сексуальные практики возникали в среде городской образованной молодежи<sup>12</sup>.

Низкая степень артикуляции сексуальности делала вопрос о «женской чистоте» скрытым и подразумеваемым как само собой разумеющееся. Если практики отклонялись от нормативных предписаний, такие отклонения умалчивались и не становились предметом проблематизации. По слова моего информанта, в советское время в Армении такой истерии вокруг этого вопроса не было (А, 42 года).

Таким образом, в России позднесоветского времени на повседневном уровне происходило изменение норм женской сексуальности, постепенно теряющей пронатальный характер.

Усиливалась значимость неформальной публичной сферы, при этом сетевые связи в обществе не имели явно выраженного характера родства, социальные взаимодействия в них были индифферентны к женскому целомудрию и создавали среду для относительно свободного проявления сексуальности. Независимость женщины (работающей матери) допускала значительную степень ее сексуальной автономии, хотя в сфере сексуальности сохранялась гендерная поляризация.

---

<sup>11</sup> Биографическое объяснение таких практик выстраивается, во-первых, через указание на их не типичность для конкретного национального контекста, обозначаемого как «традиционный», «восточный» и пр.: *У меня не было никогда вот такого восточного восприятия, чтобы сразу выйти замуж... это армяне поймут, потому что вот это очень армянское восприятие, что если влюбилась..... то надо обязательно выйти замуж (Ж, 40 лет)*. Во-вторых, информантки указывают на свое социальное происхождение и слой, к которому они принадлежат: «интеллигенция», «творческая интеллигенция», «богема», «получившие русское образование» и пр., в котором нормы отклоняются от «традиционных». К таким же слоям относятся и «старые большевики» в поколении бабушек и дедушек. В-третьих, подчеркивается либеральность и низкий уровень контроля в родительской семье.

<sup>12</sup> *в 60-ые годы параллельно или под влиянием европейской сексуальной революции происходила также легкая сексуальная революция в Армении, это миниюбки, это джинсы, это хиппи и это, конечно, внебрачные отношения. (из экспертного интервью с социологом М.Оганян, 2004)*

В Армении и Таджикистане женская сексуальность оставалась пронатальной, неформальная сфера в основном заполнялась родственными отношениями, выступающими в числе прочего агентом контроля над «чистотой» женщины<sup>13</sup>. Гендерный порядок имел характер этакратически-патриархального. Вместе с тем участие женщин в публичной сфере, межкультурные взаимодействия и мобильность способствовали независимости женщины во многих сферах жизни. К ним не относилась сфера сексуальности, в которой по умолчанию предполагалось соблюдение гендерно дифференцированных норм и строгих табу для женщин.

### (3) Постсоветский гендерный порядок и национальное строительство

В соответствии с феминистским прочтением теорий национализма, позиционирование женщины в национальном проекте зависит от варианта доминирующей интерпретации нации - как родства, как культуры, как гражданства (Юваль-Дейвис 2001; Anthias & Yuval-Davis 1992, Yuval-Davis & Anthias 1989, Уолби 2002, Walby 1996). Мужчины рассматриваются как активные агенты действия, женщины как репрезентанты, носители «чистоты» и культуры, трансляторы образцов поведения. Как утверждают исследователи, в контексте национального строительства элита и государство создают, транслируют и используют гендерные образцы.

Э. Смит, резюмируя исследования по проблематике «гендер и нации», проведенные Уолби, Ювал-Дэвис, Кандийоти и др., выделяет следующие уровни анализа проблемы: эмпирический уровень - роль женского движения и эмансипации в национальных проектах; нормативный уровень - анализ политик идентичности и политик мультикультурализма, усиления гендерных и этнических границ, эссенциализирующих различия; анализ идеологического и символического использования женщин в этнических и национальных проектах; интерпретация национализма как мужского феномена (Смит 2004, 373-382).

Конструирование женщин как символических хранителей идентичности и чести нации, определение их роли в идеологическом воспроизводстве общности и передаче культурных ценностей (Yuval-Davis, Anthias 1989, Юваль-Дейвис 2001) происходит не только на политическом и идеологическом уровне, но и на уровне повседневных практик. Повседневные практики усиливают (или ослабляют) этнические и гендерные границы. Гендерные роли и идентичности, сексуальные нормы претерпевают изменения в ходе строительства новых национальных государств. Такие изменения могут иметь интенционный характер (например, регулируемые социальной или репродуктивной политикой государства),

---

<sup>13</sup> В пост-репродуктивном (читай: пост-сексуальном) возрасте позиция женщины-матери в семье становилась более сильной, особенно в статусе свекрови. Женщины старшего поколения в семье скорее выступали не объектом. А субъектом контроля.

но в большей степени являются непреднамеренными последствиями экономических кризисов, усиления социальной стратификации, миграций, глобализации. На индивидуальном уровне гендерные и сексуальные нормы меняются под влиянием структурного напряжения, в процессе освоения новых практик и образцов или реконфигурации существующих. Эти процессы связаны с (пере)интерпретацией традиции и национальной идентичности, с изменением (или консервацией) места в ней женщины, т.е. с ее позиционированием в обществе, в семейно-репродуктивной сфере, в сфере сексуальных отношений.<sup>14</sup>

Общей характеристикой гендерных порядков постсоветских обществ является уменьшение роли государства, сокращение социального обеспечения и идеологической поддержки «работающей матери». Возникающая вариативность гендерных контрактов связана с изменением экономических условий и гендерных ролей (в значительной степени вынужденных, особенно в кризисных пост-военных ситуациях, в условиях массовых миграций в Армении и в Таджикистане), с формированием новых дискурсов и интерпретаций женственности и мужественности. Сфера сексуальных отношений также подвергается изменениям, происходит либерализация, увеличивается вариативность норм и идентичностей. Другая тенденция – усиление традиционализма.

Российский гендерный порядок мы характеризуем как неолиберальный. В его рамках в значительной степени сохраняется экономическая независимость женщины - «работающей матери». Материнство и занятость перестают быть гражданской обязанностью перед государством и становятся либо индивидуальным выбором, либо вынужденной необходимостью (о вариативности гендерных контрактов см., напр. Темкина, Роткирх 2002, Здравомыслова, Темкина 2003, Здравомыслова О. 2003, Никитина 2004 и пр.).

В повседневности брачно-репродуктивные отношения предстают как сфера индивидуального выбора, рационального планирования и регламентации совместной жизни, переговоров между партнерами и индивидуальных решений. Однако планирование часто срывается из-за эффектов недостаточной институциональной рефлексивности (недостаточности знаний, недоступности подходящей контрацепции, отсутствия навыков в переговорах между партнерами, приписывания исключительно женщине ответственности за предохранение от беременности и за принятие решения о деторождении) (Здравомыслова, Темкина 2004).

---

<sup>14</sup> Дж. Моссе, исследователь распространения национализма в Центральной Европе с 18 века, показывает, что национализм - через установление респектабельности – включает и установление «правильных» оценок сексуальности и места женщины. «Инсайдеры» разделяют эти нормы, а не разделяющие считаются «аутсайдерами» (Mosse 2985).

Сексуальность выделяется в автономную (от репродукции) область, на уровне публичных и частных дискурсов происходит плюрализация норм, повышается институциональная рефлексивность, усиливается значимость свободы и индивидуального выбора. При этом сексуальные свободы не сопровождаются массовым ответственным поведением, соответствующим представлениям о «безопасном сексе». На уровне повседневности проблематизируются опасности, связанные с сексом (СПИД и ЗППП, проституции, насилие и пр.).

В публичной и частных сферах происходит сексуализация женственности. Кодами женской сексуальности становятся рациональность, телесность и удовольствия (гедонистический сценарий). Биографические рассказы о сексуальности с «хорошим концом» - это истории поиска и обретения удовольствий (см. сноску 4); с мужем или постоянным партнером достигаются гармоничные сексуальные отношения, рождение ребенка планируется и не препятствует карьере женщины. История с «плохим концом» – это рассказ об отсутствии сексуального удовлетворения на протяжении всей жизни, идентификация себя как «жертвы» обстоятельств и некомпетентного поведения мужчины, это и рассказы о рисках и проблемах (нежелательных беременностях, заболеваниях, насилии и пр.), связанных с сексом.

Либеральные практики сексуальности сосуществуют с двойным гендерным стандартом. Сохраняется гендерная (патриархатная) поляризация, приписывающая мужчинам и женщинам различные потребности. Ответственность за качество сексуальных отношений продолжает во многом возлагаться на мужчину, а ответственность за репродуктивное поведение – на женщину. Практики спонсирования, проституции получают широкое распространение и свидетельствуют о тенденциях гендерной иерархизации. Контракт между молодой, сексуально привлекательной женщиной и богатым мужчиной претендует на гегемонный тип сексуальных отношений

Контроль над женской сексуальностью переходит на уровень частной сферы и личных взаимодействий, тем самым утрачивая гражданскую функцию (мотив которой звучит не столько в рассказах о жизни, сколько в разнообразных публичных дискурсах о рисках, демографическом кризисе, вымирании нации и пр.). Автономизация сферы сексуальности в России совпадает с распространением либеральных тенденций индивидуализации и ценностей свободы, включающих компоненты патриархатности в трактовку гендерных различий. Неолиберальный порядок имеет характер селективного традиционализма. Это означает наличие в обществе традиционалистских тенденций в отдельных сферах гендерного порядка (в частности, в сексуальной) и в определенных социальных слоях.

В Северном Таджикистане в постсоветский период контекст трансформаций определяется последствиями гражданской войны<sup>15</sup>, бедности и миграций. В этих условиях возрастает роль родственных связей, выступающих главным ресурсом выживания и обеспечения безопасности. Репродуктивно-брачное и сексуальное поведение контролируется ближайшим окружением и легитимируется культурой и традицией. Отдается предпочтение бракам по «договоренности родителей», допускаются родственные браки. Брак как обмен статусами служит сохранению и приращению ресурсов рода. Статусы партнеров эксплицитно оцениваются по происхождению (регион, этничность), экономическому положению, возрасту, внешности, образованию, его (ее) маритальному статусу и матритальному статусу его (ее) родителей.

Значимость родственных связей и обменов усиливают патриархальность национального гендерного порядка, в котором идентичность определяется через уважение к старшим и к мужчинам, ... женщина должна знать свое место<sup>16</sup> (Г., 50 лет). Категории «уважения», «субординации» и «подчинения» своим родителям, мужу и его родителям, забота об их репутации являются центральными в определении гендерно маркированной национальной идентичности:

Быть таджичкой для меня гордость... мои дети будут меня уважать так, как я уважаю своих родителей и свекровь со свекровкой (Ф, 40 лет).

Таджичка? - они слушаются своих родителей побольше. И таджички обычно...не будут делать это, это, не потому что это плохо, а просто, потому что это может повредить репутации их родителей. (М., 27 лет.).

Быть таджикской женщиной – это ... уважать семью, мужа, никогда не ставить себя выше своего мужа, у нас это так принято..... в семье мы считаемся ниже своего мужа по статусу, главным всегда считается муж. Уважение ... обязательно...(Г, 31 год).

Условием поддержания значимости семьи-рода как ресурса выживания и как ядра национальной идентичности является жесткое разделение гендерных ролей, статусов, контроль над женской сексуальностью (включая добрачное целомудрие и ограничение внесемейного общения с мужчинами) и репродуктивностью. Традиционная многодетность сокращается, однако рождение более чем одного ребенка является обязательным. Сексуальность в основном не озвучена ни в публичном, ни в приватном дискурсах.

В младших возрастных группах происходит приватная сексуализация женственности. Возможность носить короткую юбку оценивается информантками как признак

---

<sup>15</sup> Гражданская война в Таджикистане – май 1992 – декабрь 1996, возникшая в результате конфликта региональных элит – «старой (прокоммунистической) гвардии» Ленинабад (Худжанд), Куляб и оппозиции под демократическими и исламистскими лозунгами – Каратегин, Памир.

<sup>16</sup> Тема ислама в интервью возникала редко, в основном в ответах на прямые вопросы. Тема национальной традиции - уважения к старшим и приоритет мужчины – возникала спонтанно и в ответах на прямые вопросы.

цивилизированности и европеизированности, однако этими возможностями можно воспользоваться только в частных условиях<sup>17</sup>. Некоторые мои информантки рассказывали, что дома допускается свободный стиль, особенно в отсутствие старшего поколения: у нас есть такая установка, отца дома нету, хоть в шортах ходи (Н, 38 лет).

На фоне общей экономики бедности выделяются узкие слои обеспеченных людей (в основном мужчин, реже - женщин). Обеспеченные мужчины обретаю новые ресурсы для репрезентации патриархальной мужественности – например, многоженство<sup>18</sup>. Самостоятельно зарабатывающие образованные женщины или женщины, имеющие обеспеченных родственников, начинают определять свою идентичность в более широком диапазоне по сравнению с традиционными предписаниями. Может существовать большая степень свобод для образованных девушек-женщин, цивилизованные мужчины (отцы и мужья) иногда разделяют данные ценности. Такие женщины могут (не) давать согласие на брак; супружеские пары могут проживать отдельно от семьи мужа, ограничивать число детей, женщине разрешается делать карьеру, общаться за пределами семьи. В данном социальном слое формируются контр-тенденции по отношению к возрастающему традиционализму постсоветского периода<sup>19</sup>.

Диапазон свобод при этом не включает возможности не maritalных сексуальных отношений для женщины и чаще всего не включает возможность выбора супруга «по любви». В нарративах браки «по любви» (а не по согласию родителей) описываются как истории с «плохим концом». Моя информантка рассказывает про свою родственницу, она ... вышла по любви, ... они одноклассники с мужем, они сильно любят друг друга, но у них очень бедная семья. Очень бедно они живут.... Муж туберкулезом заболел (О, 27 лет). Одновременно для женщин любовь считается значимой ценностью, наличие любви, а не только уважения к мужу, признается важнейшей в супружеских отношениях<sup>20</sup>. Депривация значимого чувства закладывает основы контр-дискурса по отношению к вынужденным для женщин бракам. Эта потребность формируется в частной сфере, приходя в противоречие с интерпретацией любви как прерогативы мужчин (поскольку они имеют возможность выбирать невесту по

<sup>17</sup> На протяжении десяти дней в Худжанде в апреле 2004 года я не встретила ни одной женщины в юбке выше колен. «Европейский» стиль одежды допускает брюки и юбку до колен, в отличие от традиционной одежды, использование косметики..

<sup>18</sup> М.Хегай в исследовании многоженства в Таджикистане выделяет две группы вторых жен. Одна – это сельские одинокие женщины имеющие детей, вдовы или разведенные, без собственных доходов, которых принуждают к замужеству по экономическим причинам. Вторая – это городские образованные женщины, которые становятся вторыми женами «чтобы реализовать право на материнство или право на симпатию и любовь к мужчине, который уже женат на другой» (Хегай, 2002: 66)

<sup>19</sup> Контр-традиционалистскую политику отчасти осуществляет и государство, в частности поддерживая образование сельских девушек (президентские квоты в вузах), проводя мягкие меры по ограничению рождаемости и пр.

<sup>20</sup> Когда я попросила объяснить данное противоречие, одна из моих информанток не без иронии прокомментировала: *Восток – дело тонкое...* (М., 27 лет)

любви) и в противоречие с запретами на ухаживание и гетеросоциальное общение девушек. Некоторые молодые женщины негативно относятся к таким запретам, они хотели бы познакомиться с человеком, за которого могли бы выйти замуж, для своих дочерей они предпочитают браки «по любви». Однако, как объясняет информантка, влюбившаяся и согласившаяся на ухаживание до брака девушка вызывает подозрение: осуждает общество.. у нас ребята особой инициативы к этому не проявляют... Они ... начинают за девушкой ухаживать, девушка, возможно, влюбляется, возможно, согласна на встречи, встречаются, у них тут же (вопрос): если со мной, почему бы не с другим, она может и с другим...? Они не понимают, что девушка... выбирает этим самым, потому что ей жить надо с этим человеком (М., 27 лет).

Еще один вариант история с «плохим концом» – это традиционные родственные браки (по материнской линии), эксплицитно направленные на укрепление родственных связей, не предполагающие выбора ни для женщины, ни для мужчины.

Агентами артикулированных деприваций и (или) расширения свобод часто являются выходцы из русифицированной среды позднесоветского времени, слои, ориентированные на образование на русском языке и на межкультурную коммуникацию. Женщины из этой среды оценивают традиционалистскую обстановку как неприемлемую, они пытаются, но не могут подчиниться правилам жесткой субординации, их идентичность выстраивается как не-традиционалистская, что приводит к «плохому концу». Рассказывает разведенная женщина выданная замуж за своего двоюродного брата: Вот я вышла в эту классическую таджикскую семью, со всеми ее правилами, и ничего хорошего в этом не нашла.... (В таких семьях) женщины точно знают свою цель, они знают, что их с малого возраста воспитали, что в этом их обязанность и состоит: они должны выйти замуж, они должны родить детей, их же вырастить таким же образом. Обязательно тоже за мужем присматривать, приглядывать, ухаживать – вот в этом их счастье... Я... на начальном этапе не противилась этому, у нас все так же было (М, 27 лет).

Истории с «хорошим концом» лавируют между традиционализмом и модернизмом, их базовые фигуры – цивилизованные, демократичные мужья (и родители), которые не препятствуют некоторым свободам жен-матерей, иногда сами способствуют их продвижению в публичной сфере, изменению дисплея, улучшению качества сексуальных отношений в браке. Информантка рассказывает: он (муж) заставил меня учиться... поступить в университет... Он образованный человек, он ... цивилизованный, современный человек... Потом я поступила в университет, он мне помог, он и сейчас поможет. Он сейчас заставил меня изучать английский язык (О, 27 лет).

В Северном Таджикистане в постсоветский период в рассказах доминирующей рамкой является традиционализм гендерного порядка<sup>21</sup>. Нормы и предписания сексуального поведения подчиняются правилам родства и родственных обменов, сохраняется жесткое разделение труда, поляризация и вторичность статуса женщины. Гендерный порядок легитимируется религией (исламом), однако на уровне повседневности референции к исламу встречаются довольно редко. Гендерно маркированная национальная идентичность описывается в основном в терминах родственных отношений и поло-возрастной субординации. При этом в обществе существуют различные анти-традиционалистские противовесы. Усиление патриархальности начинает приходить в противоречие с дискурсами, носителями которой является молодая образованная элита<sup>22</sup>.

Другие противовесы патриархальности – государство и международные агенты, в частности, международные программы развития. Дискурсы о правах человека циркулируют в обществе, референции к правам женщин возникают и на уровне повседневности. В рассказах о частной жизни женщины говорят о сложностях совмещения частных и публичных ролей, запретах, которые могут наложить на них окружающие. Однако продолжает существовать советская традиция работы женщины за пределами дома. Государство через специальные программы поддерживают образование девушек из сельской местности, пытаясь восполнить отток женщин из образования и нехватку кадров в традиционных для советского периода женских областях занятости. Женщины продолжают получать образование, работать, они осваивают новые сферы занятости (например, торговлю, челночный бизнес), часто становясь единственными кормильцами в семье. Вынужденные формы занятости при этом часто оцениваются как нежелательные.

В Республике Армения контекст постсоветских трансформаций определяется последствиями борьбы за Нагорный Карабах и военными действиями<sup>23</sup>, неблагоприятной геополитикой, экономическим кризисом, массовыми миграциями и взаимодействиями с диаспорой. Также как и в Таджикистане, повышается значимость родственных связей и ближайшего окружения (в т.ч. поддержка со стороны постоянно проживающих за границей

---

<sup>21</sup> Исследователи гендерных отношений в Таджикистане указывают на усугубление патриархатных тенденций в переходный период. С их точки зрения бедность приводит к возрождению традиций раннего замужества, затворничества, падению престижа образования напр. Бозрикова 2002: 57), усиливаются традиционные представления о женщине и возвращение к домострою (Махмаджанова: 2002: 162).

<sup>22</sup> Исследователи отмечают появление новых форм семейно-брачных отношений – гражданский брак, осознанное безбрачие, активность женщины при выборе партнера (Касымова 2004). В моем ограниченном массиве интервью с образованными женщинами и мужчинами упоминания о таких формах не встречались.

<sup>23</sup> Конфликт вокруг Нагорного Карабаха (автономной области внутри АзССР) начался в 1988, с 1991 перерос в полномасштабную войну между Арменией и Азербайджаном, продолжался до 1994 года. Землетрясения, остановка АЭС, энергетический кризис, экономическая блокада (практически нет железнодорожного сообщения с окружающими странами) резко изменили организацию быта. Перебои с электроэнергией, отсутствие отопления и горячей воды – это повседневность 2004 года.

родственников). «На сегодняшний день женщина находится в «контрактных» (имеется ввиду гендерный контракт - АТ) отношениях прежде всего со своей семьей или своими социальными сетями» (Мхитарян 1999б: 256) В гендерном контракте значимыми остаются фигуры мужа-кормильца, свекрови и семьи мужа<sup>24</sup>, несмотря на проблематизацию статуса мужчины-кормильца в условиях массовой безработицы, «отсутствующих» и «исчезнувших» мужей, когда роль кормильца вынуждает их к временной миграции<sup>25</sup>, зачастую приводящей к фактическому разрыву семьи.

Контроль над женщинами добрачного и репродуктивного периодов продолжает выступать важным механизмом поддержания семейно-родственных связей как ядра гендерного порядка. По свидетельству моих информанток, этот контроль имеет тенденцию к ужесточению в связи с усилением национально-этнических стереотипов в ходе строительства национального государства. В частности, проблематизирована и обострена категория девственности: эта проблема углубляется. То есть несколько лет назад не так обращали внимание, сейчас какие-то более строгие нравы пошли, не знаю, может, это зависит от того, что мы все-таки отделились и обособились. Как-то мы жили все-таки в общей культурной массе - это одно, а сейчас, когда мы коли обособлены, нас вот стереотипы национальные этнические... (Н, 45 лет). Одновременно существует и контр-традиционалистская тенденция. Исследователи относят к ней нуклеаризацию семей, возрастающую материальную независимость женщин, распространение нормы карьерно-ориентированной женщины, стремление к эгалитарному типу семьи (Мхитарян 1999а).

В городской образованной среде широко распространено гетеросоциальное общение молодежи, практики добрачного ухаживания, традиция которых существовала и в советское время. Однако свобода общения не всегда поощряется родительскими семьями, она может вызывать и подозрения со стороны потенциальных женихов. По мнению информанток старшего поколения, возрождаются те «традиции», которые не были распространены в городской среде позднесоветского времени. В частности, матери потенциальных женихов осуществляют подбор невест, (происходит) ... возрождение традиций, и вот возврат... к таким формам. Причем наши мальчики тоже как-то на это соглашаются. Я сравниваю свое поколение, никто из моих друзей не мог бы позволить своей мамаше пойти там куда-то выбирать. (Е, 50 лет)

---

<sup>24</sup> Сохранение патриархатных тенденций, традиционного разделения труда и социальных ролей в переходный период отмечают и социологи в Армении : см. напр. Бабаян 1999. Патриархатные тенденции описываются следующим образом: «покорность, беспрекословное подчинение старшим, в первую очередь мужчинам: отцу, брату – до замужества, а после замужества – родителям мужа, брату мужа, мужу, после рождения детей – полное и беззаветное служение и подчинение интересам детей» – Мхитарян 1999: 126.

<sup>25</sup> О миграции см. Погосня 2003, о гендерном аспекте миграции: Аракелян 2001

Рассказы о жизни с «плохим концом» включают принуждение к замужеству (вплоть до похищения), конфликты со свекровью, запреты со стороны мужа (см. сноску 5), его ревность, неверность, отсутствие материальной стабильности, секс занимает незначимое место, означает для женщины только удовлетворение потребностей мужчины. Истории с трагическим концом – это обнаружение того, что невеста не является девственницей и ее выдворяют из семьи мужа. Усиление внимания к добрачному целомудрию порождает стратегии манипуляции – о хирургическом восстановлении девственности рассказывают как об устоявшемся механизме, правила которого всем хорошо известны. Такие манипуляции порождают подозрения. Эту ситуацию комментирует мужчина 42 лет: раньше все-таки была какая-то относительная уверенность в том, что... если она не ославлена, значит, скорее всего, девственница. Процентом на девяносто девять она девственница. Сейчас – есть большая... опасность ошибиться. Можно, как говорится, здорово наколоться. И поэтому они очень нервничают по этому поводу. И для кого это важно – а для многих сейчас все это еще очень важно... они... не доверяют никому.... они пытаются это проверить и перепроверить уже в сотый раз.

Рассказы с «хорошим концом» - это счастливый брак по любви, наличие детей, хорошие отношения со свекровью и родственниками по линии мужа, наличие относительной автономии в семье, экономическая состоятельность мужа. Информантки среднего и младшего поколения иногда рассказывают и о значимости секса в супружеской жизни, и о том, что благодаря мужу они испытывают удовлетворение.

Сексуальность лишь незначительно озвучена в публичном национальном дискурсе, основная информация поступает из российских СМИ, хотя существуют и малотиражные издания на армянском языке с открытым обсуждением сексуальности.

Контроль социального окружения, ограничивающий свободу женщины, в т.ч. сексуальную – проблематизированная тема повседневного дискурса. Контроль описывается интервью как «забота», он обеспечивает поддержку и безопасность. Однако среднее и младшее поколения в основном негативно относятся к контролю над сексуальным поведением, тем не менее, считая его в основном неизбежным, а себя – вынужденными ему подчиняться (По поводу сохранения добрачной девственности распространенный аргумент – мне проблемы со свекровью не нужны).

На фоне усиления традиционализма и его проблематизации происходит артикуляция альтернативных гендерных норм и норм сексуального поведения. В интервью они озвучиваются в контексте экономических и культурных различий. Правила сексуального поведения социально стратифицированы, в обществе существует дифференциация норм и

практик сексуальности в зависимости от принадлежности к определенному социальному слою и места проживания.

Уровень материального благополучия оказывает влияние на способы организации сексуальной жизни как у мужчин, так и у женщин. От мужчины ожидается материальная ответственность за обеспечение семьи, возможности женитьбы часто связываются с уровнем его (и его семьи) финансового благополучия. Обеспеченный мужчина легко может жениться, содержать семью, завести любовницу. Женственность в экономически выгодных браках обретает публичные и приватные черты патриархатной сексуализированности. В рассказах информанты часто отмечали то, что в городе нормой является модная, открытая одежда, по их интерпретациям, активный, подчеркнуто сексуальный стиль девушек направлен на привлечение потенциальных женихов (партнеров). Престижная женственность – это подчеркнутая сексуальная привлекательность<sup>26</sup>.

Происходит фактическая нуклеаризация богатых семей, обеспеченные пары оказываются менее зависимыми от родственных отношений в рамках расширенной семьи и более свободными в определении и изменении правил семейных взаимодействий. Обеспеченная женщина становится более свободной в выборе форм сексуального поведения, в то время как женщины низших слоев не имеют возможности выбора, соглашаются на вынужденные браки и пр. В интервью также представлены свидетельства того, что из-за безработицы и массовой миграции (в первую очередь мужчин) женщины часто оказываются единственными кормильцами в семье. Такая ситуация неоднозначно влияет на изменения правил сексуального поведения. Женщины-кормильцы обретают большую свободу и мобильность, они полагают возможным реорганизовывать свою личную жизнь, не обязательно ориентируясь на замужество. Однако они считают, что такое поведение не поощряется сообществом, и испытывают сложности в сексуальной жизни.

В обществе существует прослойка про-западно и про-российски ориентированной молодежи. Эти слои исповедуют ценности индивидуального выбора и значительных свобод в проявлении сексуальности, получают распространение практики знакомства по интернету, добрачного сожительства, гражданских браков, отложенного деторождения. Любовь, влюбленность, привязанность – становятся важными категориями при описании сексуальных отношений как мужчинами, так и женщинами. Гендерная поляризация при этом сохраняется. Такая молодежь включена в глобализационные дискурсы (российские и западные СМИ,

---

<sup>26</sup> По моим наблюдениям, большое количество девушек в Ереване демонстрируют сексуализированный дисплей – короткие юбки, высокие каблуки и пр. Он противопоставляется традиционной, более скромной одежде. Унисекс в одежде практически не встречается. Что касается приватной сексуализации женственности, то эксперты-психологи отмечают усиливающееся внимание женщин к сексуальной сфере, стремление к изменениям и разнообразию, преимущественно для того, чтобы удовлетворить желания мужа (партнера).

интернет), имеет высокий уровень образования. Модернизированный гендерный дисплей, отказ от ритуала красное яблоко<sup>27</sup> и сохранения девственности до брака становится наиболее проблематизированными темами в повседневном дискурсе.<sup>28</sup>

Проблематизация и изменения норм и практик гендерного порядка находят свое выражение в современных трактовках национальной идентичности. В интерпретации национальной идентичности и традиции в Армении важны не только непосредственное социальное окружение и подчинение его правилам-традициям, но и культура, история, современная геополитика<sup>29</sup>. Многие женщины позитивными компонентами национальной идентичности считают культуру, древнюю историю, религиозные обряды, некоторые психологические характеристики народа (отзывчивость, эмоциональность, гостеприимность, верность и пр.), но негативно оценивают чрезмерный контроль социального окружения над приватной жизнью человека<sup>30</sup>. Из интервью:

Быть армянкой - это жертвовать собой во имя наших традиций. (Но я при этом)... за большую свободу (Аг, 21)

Быть армянкой – это гордость для меня, ведь я родилась и выросла в Армении.... Но мне не нравится скованность, несвобода, когда, например, указывают, не носи короткие юбки (Ан, 20).

В национальной традиции выделяются гендерно маркированные компоненты, утрачивающие свою легитимность. По самоопределению многих информанток, «быть

---

<sup>27</sup> Данный ритуал связан с контролем добрачной девственности, сохранение которой в символической форме подтверждается передачей красного яблока свекровью матери невесты после первой брачной ночи.

<sup>28</sup> По свидетельству информантов: *Очень часто у нас теперь семья держится, вот особенно в столице, на квалификации этих молодых англоязычных, которые устраиваются во всякие фонды, и содержат и свою семью, если они поженились, то и семью мужа, и семью, и с одной и с другой стороны поддержку обеспечивают.* (Е, 50 лет)

<sup>29</sup> Как указывает Н. Дадвик, для Армении характерно определение нации как «воображаемого сообщества» через родство и историю (Dadwick 1996: 434). В исследовании Ювайль-Дэйвис показывается, что интерпретация нации в терминах родства позиционирует женщин как биологических производителей нации, в терминах культуры – как носителей традиции и культуры, передающих их от поколения к поколению, (вос)производя границы между группами. (Ювайль-Дэйвис, 2001). На уровне повседневных дискурсов в Армении культура и традиция в национальной идентичности занимают важное значение, также подчеркивается значимость семьи и родственных отношений. Такое мнение можно встретить и у экспертов. Так, социолог Ю.Гаспарян рассматривает семью и церковь в Армении как важнейшие системы контроля, регуляции и сохранения народных традиций и обычаев, женщина, соответственно, «по их предназначению, является душой общества, и потому ей предназначена великая роль определять судьбу индивида, общества, нации» (Гаспарян 2002: 38). На уровне повседневности контроль семьи и ближайшего окружения постепенно начинает оспариваться и представлять как «отживающий» компонент традиции.

<sup>30</sup> В интервью тема национальности всплывала либо спонтанно, либо в ответах на прямые вопросы. В некоторых интервью стержнем является национальная идентификация. В других – рассказ о сексуальности национально-нейтрален. Референции по отношению к церкви и религии встречаются гораздо реже, чем референции к традиции, культуре и истории.

армянкой» означает «скованность» и «несвободу», зависимость от контроля ближайшего окружения. Эти компоненты получают негативную оценку.

Итак, в Армении постсоветского периода традиционализация гендерного порядка рассматриваются образованными женщинами как принудительные и нежелательные. Этническая идентичность легитимируется традицией, однако сама традиция (в области ограничения свобод) может подлежать пересмотру. Гендерный традиционализм проблематизирован в повседневном дискурсе, ему противостоят процессы нуклеаризации и индивидуализации, агентами которых выступает молодая образованная элита.<sup>31</sup>

В целом, если говорить об образованных городских слоях, то в России в переходный период возникла вариативность разных легитимных практик в сфере сексуальности. Сексуальность в значительной степени выделилась в автономную сферу жизни. Традиционализм в сфере сексуальности проявляется в патриархатной интерпретации женственности (женщина позиционируется как объект мужского желания), однако возникают и альтернативные трактовки женщины как активного субъекта сексуальности. В Армении существует ядро традиционалистского гендерного порядка, означающего подчинение сексуальной сферы правилам родства. Однако на периферии существуют альтернативные сексуальные практики. Традиционализм усиливается как реакция на инволюции, однако он проблематизируется в повседневном дискурсе и частично теряет свою легитимность. В Северном Таджикистане традиционализм является доминирующей рамкой, организующей повседневность. При этом в обществе существуют различные анти-традиционалистские противовесы. Изменения гендерного порядка, допускающего относительную автономию женщины, в основном не затрагивают сферу сексуальных отношений.

## Заключение

Проекты национального строительства включают использование государством и идеологией гендерной политики, идеологии и символики, определяющих роль женщин в национальном строительстве (Ювайль-Дэйвис 2001). На уровне повседневности возникают

---

<sup>31</sup> Н. Шахназарян показывает на примере анализа карабахского наречия армянского языка тенденции маскулинизации и патриархатности. Опора на традицию, референция к тому, что «так было всегда» служит способом организации действительности и залогом некоторой стабильности. Эти стратегии позволяют противостоять страху перед неуправляемыми инновациями и потере контроля над индивидом. При этом автор отмечает и тенденцию к установлению новых, более эгалитарных и индивидуалистически ориентированных гендерных парадигм (Шахназарян 2003: 94). С точки зрения автора на изменение оказывают влияние распространение ценностей западной культуры, а также участие женщин в войне (Шахназарян 2003: 94, Шахназарян 2004).

непредвиденные последствия. Инволюции переходных обществ приводят к усилению традиционализма, интенсифицируя наиболее устойчивые и легитимные, а значит и наиболее эффективные для выживания и поддержания безопасности институты семейно-родственных связей. Категории «родственных отношений» составляют ядро национальной идентификации. Женственность определяется через подчинение старшим и мужчинам, контролирующим сексуальность и материнство.

С другой стороны, неолиберальные тенденции подразумевают нуклеаризацию супружеской пары и выделение ее в автономную (от контроля родства и экономической зависимости) систему. По мере формирования неолиберального гендерного порядка происходит автономизация сферы сексуальности, ослабевает контроль над женской сексуальностью. Родственные связи в рамках расширенной семьи в таком случае перестают быть значимыми в национальной идентичности, либо их властные иерархии проблематизируются и начинают оспариваться. Получают распространение романтические и гедонистические ценности, выводящие женскую идентичность за пределы репродукции и материнства, но сохраняющие патриархатные компоненты в ее интерпретации. Традиционализм обретает селективный характер: он присутствует в трактовке женственности и женской сексуальности, однако возникают и их альтернативные интерпретации. Традиционализму гендерных ролей (в приватной и публичной сферах) противостоят вынужденно происходящие изменения, а также изменения, осуществляемые как целенаправленные проекты.

## Литература

Аракелян (2001). Трудовая эмиграция: гендерный подход Гендерные исследования. Ассоциация женщин с университетским образованием. Ереван: ЕЦГИ. С. 107 – 125

Асратян Д, Армаганова Г. (1999) Женская активность и женское общественное движение в Армении в трансформирующийся период. Перспективы развития // Женщины в развитии. Гендерные проблемы современного общества (по результатам социологического опроса). Ереван: Ассоциация женщин с университетским образованием. Центр гендерных исследований. С 114- 131

Бараулина Т. (2002). Моральное материнство и воспроизводство женского опыта / В поисках сексуальности: Сборник статей. СПб.: Изд-во Д.Буланин / Под ред. Е.Здравомысловой и А.Темкиной. С. 366-405

Бабаян С. (1999). Гендерное состояние трансформирующегося общества //«Женщина и общество. Гендерное равноправие в перспективе демократического развития». Материалы 3 международной конференции. Армения. С. 111-116

Бозрикова Т. (2002). К проблеме гендерных ролей и стереотипов в Таджикистане// Современные проблемы гендерных исследований в Таджикистане. Материалы республиканской научно-практической конференции. Душанбе: ЦГИ. С. 57-60

Гаспарян Ю (2002). Семья и церковь как единая система регуляции народных традиций и обычаев . СПб: Петрополис

Здравомыслова О. (2003) Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации. М. Едиториал УРСС

Здравомыслова Е, Темкина А., ред (2002). В поисках сексуальности: Сборник статей. СПб.: Изд-во Д.Буланин.

Здравомыслова Е, Темкина А. (2003). Трансформация гендерного гражданства в современной России / Куда пришла Россия / ред. Т. Заславская. М. МВШСЭН. С. 140-150

Здравомыслова Е, Темкина А (2004). От лицемерия к рационализации: дискурсивная трансформации в сфере сексуальных отношений Гендерные исследования № 11 С. . 176 –186

Касимова С. (2004). Гендерная система в контексте социальных изменений таджикского общества. Манускрипт книги

Касимова С (2004б) Гендерная система в контексте социальных изменений таджикского общества. Автореферат диссертации. Душанбе.

Кон И. (1997) Сексуальная культура в России. Клубничка на березке. М.: О.Г.И.

Махмаджанова М. (2002) О социальном образе таджикской женщины // Современные проблемы гендерных исследований в Таджикистане. Материалы республиканской научно-практической конференции. Душанбе: ЦГИ. С. 159-162

Мхитарян А (1999а) Преемственность и конфликт ценностей различных поколений женщин в армянском обществе. //«Женщина и общество. Гендерное равноправие в перспективе демократического развития». Материалы 3 международной конференции. Армения. С. 125-127.

Мхитарян А. (1999б). Гендерные отношения и лидерство в армянской семье // Женщины в развитии. Гендерные проблемы современного общества (по результатам социологического опроса). Ереван: Ассоциация женщин с университетским образованием. Центр гендерных исследований. С 251-266

Никитина О. (2004) Экзистенциальный выбор современной женщины между материнством и профессией: женские нарративы о профессиональном пути Устная история и биография: женский взгляд. М. : Невский простор. С. 91-131

Погосян Г. (2003) Армянское общество в трансформации. Ереван: ЛУСАБАЦ.

Рубин Г. (2000) Обмен женщинами. Заметки о «политической экономии» пола // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 2000. С. 89–140.

Смит Э.( 2004) Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма. М.: Праксис

Темкина А. (2001). К вопросу о женском удовольствии: сексуальность и идентичность // Мишель Фуко и Россия: Сб. статей / Под ред. О.Хархордина – СПб, М.: ЕУСПб: Летний сад. С. 316- 347.

Темкина А. (2002). Сценарии сексуальности и гендерные различия. // В поисках сексуальности: Сборник статей. СПб.: Изд-во Д.Буланин / Под ред. Е.Здравомысловой и А.Темкиной. С. 247-286

Темкина А. (2003). Половая жизнь в позднесоветском браке // Семейные узы: модели для сборки / Под ред. С.Ушакина. М.: НЛО. С. 515-547

Уолби С. (2002) Женщина и нация //Нации и национализм М. Праксис. С. 308-331

Хегай М. (2002) Современные формы брачных отношений в Таджикистане и права человека. Некоторые аспекты гендерных исследований в Таджикистане. Сборник материалов научных семинаров. Душанбе.

Шахназарян Н. (2003) Язык как маркер отношений господства и подчинения (гендерный аспект). Бюллетень. Антропология, меньшинства, мультикультурализм. 4. Краснодар. С. 84-96.

Шахназарян Н. (2004) Хороший солдат хорошая мать: карабахский фрагмент, или история Сатеник// Гендерные исследования. 10. С.133-146.

Юваль-Дейвис Н (2001)Гендер и нация. Sage: Elpa.

Anthias F. & Yuval-Davis N. (1992)Racialized Boundaries. Race, Nation, Gender, Colour and Class and the Anti-racist Struggle. L, NY: Routledge.

Connell R. (1987). Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics. Polity Press.

Connell R. (2000). The Man and the Boys. Allen and Unwin, Univ. of Calif. Press.

Dadwick N. (1996) Nagorno-Karabakh and the Politics of Sovereignty // Transcaucasia, Nationalism, and Social Change; Essays in the History of Armenia, Azerbaijan, and Georgia. Ed. By Ronald Grigor Suny. Ann Arbor, MI University of Michigan Press. P. 427-440

- Mosse G. (1985). Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe. NY: Howard Fertig
- Renzetti C & Currand D. (1992). Women, Men and Society. Boston: Allyn & Bacon.
- Rotkirch A. (2000). The Man Question: Loves and Lives in Late Twentieth Century Russia. Helsinki: University of Helsinki
- Roy O. (2000) The New Central Asia – the Creation of Nations L, NY/
- Yuval-Davis N and Anthias F.(1989). Woman-Nation – State L, Sage
- Walby S. (1996) Women and Nation // Mapping the Nation L, NY Verso Ed by G. Balakrishman. P.235-54
- Weintraub J. (1995).The Theory and Politics of the Public/Private Distinction // Public and Private in Thought and Practice / Eds. J. Weintraub, K. Kumar. Chicago; London P. 1–42.
- Zdravomyslova E. ( 2001). «Hypocritical Sexuality of the Late Soviet Period: Sexual Knowledge and Sexual Ignorance» // S. Webber and I. Liikanen (eds). Education and Civic Culture in Post-Communist Countries. Palgrave. PP. 151-167.

**«Признать за русской женщиной без различия национальности все политические и гражданские права...»**

Ведущие политические партии России не обращали серьезного внимания на национальные особенности положения соотечественниц, но вообще игнорировать эту проблему они не могли. Как правило, впервые она возникала при принятии их программ. Обосновывая политические задачи ближайшей демократической революции, РСДРП в практической части своей программы (Программе минимум), требовала ряд политических свобод, включая необходимость всеобщего равного и прямого избирательного права для всех граждан и гражданок, уничтожения сословий и полную равноправность всех граждан независимо от пола, религии, расы и национальности, права получать образование на родном языке. Экономическая часть документа содержала целую программу преобразований, призванных улучшить положение работницы промышленных предприятий. При этом ее национальная принадлежность не подчеркивалась. Очевидно, в этом не было необходимости, т. к. подавляющая часть пролетарок были русскими, да и, независимо от национальной принадлежности, перед ними стояли одни и те же задачи. Интересы остальных трудящихся россиянок, партии рабочего класса интересовали мало<sup>1</sup>. Необходимость данных требований признавали и большевики и меньшевики.

Равное избирательное право без различий пола, религий и национальности при условии прямой системы выборов и закрытой подачи голосов отстаивали в своей программе эсеры<sup>2</sup>. Что касается вопросов рабочего законодательства, то непосредственно к женщине относилось только одно неконкретное и нечеткое требование - запрещение детского и женского труда в известных отраслях производства и в известные периоды<sup>3</sup>.

Интересно проследить отношение буржуазных российских партий к данной проблеме. Октябристы в своей программе упомянули о соотечественницах только раз - предлагая ограничить продолжительность рабочего дня для них в особо вредных для здоровья производствах<sup>4</sup>.

Делегаты первого съезда партии народной свободы согласились с общим требованием равенства всех граждан страны перед законом без различия пола, вероисповедания и национальности и с отменой всех ограничений прав поляков и евреев. Жаркие споры разгорелись при утверждении положения об избирательных правах для женщин всех

---

<sup>1</sup> Программы политических партий России конец XIX-XX вв. М. 1995. С. 47-48

<sup>2</sup> Там же. С. 144

<sup>3</sup> Там же. С. 145.

<sup>4</sup> Там же. С. 346.

национальностей. Учредительный съезд не пришел к единому мнению по этому поводу и тем, кто не был согласен с данным требованием, разрешено было оставаться при своем мнении<sup>5</sup>. Правда, уже на втором съезде кадетов это примечание было снято.

Монархические партии и, прежде всего самая массовая из них в годы первой русской революции - Союз русского народа - отстаивали идеи превосходства русского народа над всеми «иногородцами». Особенно досталось евреям, обвиненным в стремлении к всемирному владычеству. Монархисты требовали недопущения их в армию, ограничения их числа в высших учебных заведениях, на государственной службе. И практически полностью пересказывая свои программные требования в тексте своей избирательной платформы во 11 Государственную Думу, представители Союза русского народа единственный раз конкретно указали пол. Перечисляя должности, которые, по их мнению, не могут занимать евреи, они через запятую назвали и еврейку<sup>6</sup>.

Во всех российских партиях, кроме черносотенных, в уставе которых оговаривалось, что членами ее могли быть русские подданные без различия пола, сословия, состояния и возраста, за исключением евреев, состояли россиянки, принадлежащие к различным национальностям<sup>7</sup>.

В некоторых партиях женщины занимались теоретической разработкой национального вопроса, но не связывали его, как правило, с решением женской проблемы. Среди них – меньшевичка Лидия Арманд. Она неоднократно выступала с лекциями по этому вопросу и на митингах, и на пропагандистских курсах, организованных партией в 1917 г.<sup>8</sup>

Одним из ведущих специалистов эсеровской партии по национальному вопросу была Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская. Ее перу принадлежало несколько специальных брошюр, изданных в 1917 г.<sup>9</sup>. Она представляла ПСР в Совете (Бюро) национально - социалистических партий России, была делегатом 3 партийного съезда (25 мая – 4 июня), на котором выступила с основным докладом по национальному вопросу. «Нация есть социальная среда личности, - считала Надежда Владимировна, - Личность определяет сама себя, к какому национальному комплексу она принадлежит, с кем она чувствует себя более всего связанной... Через понятия личности и народа, через понятия труда и творчества

---

<sup>5</sup> Там же. С. 326, 328, 334. Русские ведомости. 1905. 20 окт.

<sup>6</sup> Программы политических партий России конец XIX-XX вв. С. 438, 442, 443, 445, 451.

<sup>7</sup> Вестник народной свободы. 1907. №41-42. Стол.1825, №43-44, Стол.1901, №49. Стол. 2138, Там же. Стол. 2160. Труд.1917. 15(28) нояб.

<sup>8</sup> Труд. 1917. 23(5) авг

<sup>9</sup> См. Народности России и их требования. Пг. 1917, Национальный вопрос в России. Пг. 1917, Партия социалистов-революционеров и национальный вопрос. Пг. 1917, Как жить между собою народам России. Пг. 1917.

мы переходим к нашему социальному пониманию нации»<sup>10</sup>. Н. В. Брюллова-Шаскольская не только дала определение понятия нации, но и указала цели национальной политики эсеров: «С точки зрения социализма, понятие нации есть понятие ее трудовых народных масс... Одиночки могут оторваться от своей культуры, но народ должен быть в своей культуре, должен иметь свою школу, свою широко развитую национально-культурную жизнь»<sup>11</sup>. 3 июня съезд принял предложения Надежды Владимировны за основу резолюции по национальному вопросу, - федеративное устройство Российского государства, удовлетворения права каждого гражданина участвовать в культурном развитии своей нации, выработка единой платформы социалистических партий по национальному вопросу. Н. В. Брюллова-Шаскольская считала, что нет разницы между малыми и большими нациями и к каждой надо относиться с большим уважением<sup>12</sup>. С докладом о работе в Совете национально - социалистических партий Надежда Владимировна выступала на 4 партийном съезде (26 ноября-5 декабря 1917 г.).<sup>13</sup>

Писала об отношении эсеров к национальному вопросу и бабушка русской революции Е. К. Брешко-Брешковская. Ее брошюра «Партия Социалистов-Революционеров и национальный вопрос» распространялась с книжных складов эсеров по всей стране.<sup>14</sup>

У кадетов в 1907 г. за работу иностранного бюро партии отвечала графиня В. Н. Бобринская. Ее обязанности не напрямую, но были связаны и с национальными проблемами<sup>15</sup>.

В первые годы своего существования, проблема специальной работы с женщинами различных национальностей практически не интересовала российские партии. Это не удивительно, важность национального вопроса еще не была серьезно осознана обществом. Основные работы по данной проблеме представителями различных политических сил будут написаны намного позже и авторами их, как правило, станут не партийные лидеры. Кроме того, в то время политические партии с трудом осознавали необходимость специальной работы среди женщин. Поэтому они не ставили перед собой задачу учитывать различные национальные особенности россиянок. Не случайно очень часто в печати партий всех ориентаций в эти годы мы находим обращение русские ко всем соотечественницам. Иногда это выглядит очень интересно. Так, в Херсонское губернское земское собрание 8 апреля 1905 г. местными либералами была подана записка с 432 подписями с требованием

---

<sup>10</sup> Протоколы третьего съезда Партии социалистов-революционеров, состоявшегося в Москве 25 мая-4 июня 1917 г. (Стенографический отчет). Пг. 1917. С. 296.

<sup>11</sup> Там же. С. 298.

<sup>12</sup> Русские ведомости. 1917. 1 июля.

<sup>13</sup> О ней см. Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М. 1993. С. 44-45.

<sup>14</sup> Дело Сибири. Омск. 1917. 26 окт.

<sup>15</sup> Аракелова М. П. Емельянова Е. Д. Кулик В. Н. Женщина в российском обществе. XX век история и современность. М. 1996. С. 30.

законодательных прав для женщин и признания за русской женщиной без различия национальностей, сословий и верований всех политических и гражданских прав.<sup>16</sup> Исключения очень редки. Чаще всего они относились к еврейкам и иногда к мусульманкам.

На практике, пытаясь найти общий язык с представительницами различных районов империи, партийные работники вынуждены были учитывать и некоторые национальные особенности женщин. Печать тех дней, пожалуй, содержит больше всего данных о деятельности кадетов так или иначе, обращавшей внимание на национальную принадлежность россиянок. Они знакомили читательниц с жизнью зарубежных соотечественниц. Особенно часто подобные материалы публиковались во время революций. Например, в 1906 г. организуя многочисленные женские митинги в поддержку требования избирательных прав для соотечественниц, кадеты рассказывали на них и о постановке данного вопроса в Финляндии и Польше, подчеркивая, что там эта проблема решается основательнее и серьезнее<sup>17</sup>.

Авторы статей, публикуемых в газетах и журналах партии народной свободы, показывали глубокие знания особенностей положения женщин в различных регионах Российской империи. Так, например, рассказывая о жизни современниц, подчеркивалось, что женщины могут быть свидетелями при совершении гражданских актов на всей территории империи, за исключением Полтавской и Черниговской губерниях. Только в этих двух украинских губерниях женщины не могли свидетельствовать при составлении завещаний. Только в Полтавской и Черниговской губерниях приданое жены находилось в безраздельном владении мужа. Везде, в соответствии с законодательством, было раздельное владение, и супруги не отвечали за доли друг друга<sup>18</sup>.

Партийные издания сообщали читателям о широкой поддержке требования избирательных прав для женщин в национальных районах империи, например, в Грузии и на Украине<sup>19</sup>.

Публикуя материал о собраниях кадеток, газеты не забывали рассказывать о выступлениях на них женщин, состоящих в других партиях (таких, как Союз Русского народа), о призывах последних бросить играть в опасную игру-политику и заняться своим настоящим делом, а именно воспитывать подрастающее поколение настоящими русскими людьми.<sup>20</sup> На общих собраниях членов партии народной свободы часто поднимался вопрос о политическом равноправии россиянок, и каждый раз подчеркивалось: без различия

---

<sup>16</sup> Русские ведомости. 1905. 8 мая

<sup>17</sup> Речь. 1906. 7(20) мая.

<sup>18</sup> Русские ведомости. 1905. 16 июля.

<sup>19</sup> Русские ведомости. 1905. 8 мая.

<sup>20</sup> Вестник народной свободы. 1907. № 43-44. Стол. 1901.

национальности.<sup>21</sup> Эта проблема рассматривалась и при обсуждении деятельности кадетов в 1 Государственной думе. Их обвиняли в нерешительности,<sup>22</sup> подчеркивая, что партия не может отказаться от избирательных прав для женщин всех национальностей, иначе это было бы ее политической смертью.<sup>23</sup>

В годы первой русской революции партия народной свободы активно сотрудничала с российскими равноправками, которые поддерживали требование предоставить демократические и политические свободы для женщин всех национальностей, населяющих империю. Для пропаганды этих требований российские феминистки широко использовали деятельность благотворительных обществ. Так в 1905 г. «Русское женское взаимоблагодарительное общество» подало 398 просьб в земские и 108 просьб в городские управы о поддержке требования женского политического равноправия независимо от национальной принадлежности. Кроме того, было отправлено 6 тыс. обращений в различные общественные и государственные учреждения, послано 5 генерал-губернаторам, 80 губернаторам 46 предводителям дворянства ходатайства об оказании поддержки этому требованию. Подобные обращения были адресованы и к министрам и в Совет министров.

Традиционную форму воздействия на представительные и общественные органы власти – писание петиций, воззваний и обращений, продолжил созданный в феврале 1906 г. Всероссийский союз равноправия женщин<sup>24</sup>.

Уже в годы первой русской революции кадеты обратили внимание на мусульманку. Мусульманская делегация во главе с Ю. Акчуриным, была приглашена на второй съезд партии народной свободы, проходивший в январе 1906 г. На нем вновь разгорелись споры по поводу избирательных прав для россиянок. Получивший европейское образование в Париже Ю. Акчурин заявил, что: «мусульмане против женского равноправия. Так не полагается ни по нашему закону, ни по нашему обычаю. Наши женщины не желают равноправия. Если вы вставите в вашу программу, что и женщины должны голосовать, тридцать миллионов мусульман не дадут вам своих голосов. Я - против»<sup>25</sup>. Тем не менее, единогласия по данной проблеме среди гостей съезда не было. Может быть, некоторые из них изменили свое мнение под воздействием услышанных уже в Москве доводов. В конце концов, мусульмане потребовали от присутствующих разъяснений по некоторым пунктам программы, в том числе можно ли вести обучение на родном языке. Кроме того, они настаивали в случае внесения в программу положения об избирательных правах для женщин, внести туда и требование об устройстве особых участков для подачи голосов женщинами-мусульманками,

---

<sup>21</sup> Вестник народной свободы. 1906. № 4. Стол. 213-1214.

<sup>22</sup> Вестник народной свободы. 1906. № 11. Стол. 739-740.

<sup>23</sup> Вестник народной свободы. 1906. № 12. Стол. 810, 823.

<sup>24</sup> Аракелова М. П. Емельянова Е. Д. Кулик В. Н. Указ соч. С. 31.

<sup>25</sup> Тыркова-Вильямс А. На путях к свободе. Изд. 2. Лондон. 1990. С. 239.

где бы они могли удостоверить свою личность в отсутствие мужчин. После обсуждений делегаты согласились с возможностью получать образование на родном языке. ЦК посчитал, что организация отдельных избирательных участков для мусульманок, не противоречила программе кадетов, мало того, она полностью соответствовала ей, т. к. облегчала для части населения империи подачу голосов и таким образом приближала выборы к началу всеобщности. Но вносить подобные технические уточнения в теоретический документ, коим является программа, не стоит<sup>26</sup>. Подводя итоги данным спорам, кадетские деятели, отказались от примечания по поводу избирательного отношения членов партии к требованию политического равноправия россиянок. И, по словам А. Тырковой, «вытащили русскую, а вместе с ней и мусульманскую женщину из незаметного примечания мелким шрифтом, под строкой, внизу страницы, и торжественно водворили ее в кадетской программе на заслуженное место»<sup>27</sup>.

Однако, иногда в азарте полемики, кадеты забывали о чувстве такта и недоумевали, почему правительство, предполагая предоставить избирательное право «некультурным и диким инородцам», отказывает в нем «женщине, развитой, образованной работнице на общественном поприще»<sup>28</sup>.

Большевики, пытаясь вести агитацию среди нерусских пролетарок, так же столкнулись с необходимостью учета местных условий. Так иногда они беседовали с ними и на русском и на национальных языках. Используя уже отработанную методику работы с женщинами работницами, обращались к национальным песням<sup>29</sup>. Но в каком бы крае империи представители ленинской партии не выступали, на каком бы языке не говорили, цель выступлений всегда была одна – убедить пролетарок в единстве интересов рабочего класса и необходимости поддержки его выступлений. Говоря о важности и необходимости решения женского и национального вопроса, но, не объясняя, как предполагалось это делать после победы пролетарской революции, большевики, тем не менее, рассчитывали, что пропаганда указанных требований обеспечит им союзников в будущем выступлении. Показательна тема одной из лекций предлагаемых в 1905 г. ЦК РСДРП для слушателей пропагандистского кружка высшего типа - равенство полов, языков и национальностей<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Вестник народной свободы. 1906. № 2. Стол.92, Там же. № 7.Стол. 493.

<sup>27</sup> Тыркова-Вильямс А. Указ соч. С. 241-242.

<sup>28</sup> Русские ведомости. 1905. 8 мая.

<sup>29</sup> Пролетарий. 1905. №13. // Пролетарий. Вып.4. М. – Л. 1925. С.119. Газета сообщила о забастовке 29 июля 1905 г на джутовой фабрике в г. Риге, где работали в основном женщины. Большевики организовали на бастующем предприятии митинг, на котором выступили с речью о положении работницы. Через некоторое время это выступление перевели на латышский язык и еще раз познакомили присутствующих с ее содержанием. И далее все фабричные дела обсуждались на латышском языке.

<sup>30</sup> Там же. С.27 – 31.

После окончания революции 1905-1907 гг., какое либо упоминание о национальностях в связи с положением женщин в стране встречается очень редко и чаще всего просто как констатация, какого то факта, без объяснений. Например, большевики, сообщая о закрытии акушерско-фельдшерских курсов Венгеровой в Петербурге 1 июня 1913 г., упомянули о том, что большинство курсисток – еврейки <sup>31</sup>. Однако, жизнь продолжала вносить свои поправки и иногда вопреки мнению руководителей и идеологов ленинской партии, в национальных районах учитывались местные особенности. Так произошло в Тифлисе, где, судя по всему, влияние рабочих партий в послереволюционное время, было минимальным, а находящаяся под влиянием кадетов, буржуазно-демократическая организация «Общество Кавказских женщин» - работала довольно интересно. До 1912 г. серьезно трудящимися женщинами равноправки не занимались, ограничиваясь уроками шитья и арифметики. Но стоило появиться в Тифлисе всего одной активной работнице социал-демократке и все изменилось. В 1912 г. при «Обществе Кавказских женщин» был создан «Клуб работниц», начавший самостоятельно готовить тружениц к общественной деятельности. На первых порах равноправки активно помогали ему. Например, пока не было введено самоуправление, они руководили деятельностью школы при нем. А вот совместные заседания Клуба и Общества остались, и после этого как рабочая организация приобрела известность. Эти встречи были полезны и интересны и тем и другим. Мало того, равноправки поддерживали все инициативы работниц, помогли им с помощью буржуазных газет организовать сбор подписей под большевистскими петициями, и создать общественное мнение в поддержку требований тифлисских тружениц. Руководители большевистского Клуба охотно пользовались опытом и помощью буржуазных дам, тем более что своих газет в Тифлисе у пролетариата в то время не было, и работу среди женщин Кавказа ленинцы только начинали. Поэтому они использовали и уже не раз опробованные кадетами методы воздействия на местные власти, в частности, письменные обращения в городскую думу, на этот раз, с предложением наладить доставку молока для маленьких детей работниц города.

Большевики организовали при Клубе библиотеку, устроили ряд докладов, тематику которых максимально приблизили к местным условиям. Например, в связи с предстоящими в г. Тифлисе выборами в Государственную Думу, прочитали лекцию «Выборы в Государственную Думу и всеобщее избирательное право». Вызвал интерес присутствующих доклад «Доходы и расходы казны и трудящиеся». По желанию слушательниц подготовили лекцию «Социальный состав населения и народное хозяйство России». Серьезное внимание было уделено докладу «О буржуазном и пролетарском женском движении». Количество членов Клуба и тех, кто просто посещал лекции, резко возросло. Это были портнихи,

---

<sup>31</sup> Правда. 1913. 1 июня.

горничные, работницы табачных фабрик и несколько женщин занятых на железной дороге. По национальному составу, большинство - русские, несколько грузинок и армянок<sup>32</sup>. Возможно последнее обстоятельство частично объясняет причины не очень серьезного отношения рабочих партий к проблеме нерусских соотечественниц. Ведь пролетарками, как правило, были в основном русские женщины. А социал-демократов только работницы и интересовали, прежде всего.

В 1913 г. Россия впервые отметила международный женский день. С этого времени все февральские социал-демократические издания стали помещать статьи, обращенные к русской женщине-работнице. Они объясняли необходимость проведения такого дня борьбы и солидарности со всеми трудящимися женщинами мира<sup>33</sup>. Ежегодно печатался материал о тяжелом положении работниц в европейских странах, в Америке, Японии. Газеты сообщали о положительных изменениях в жизни женщин Финляндии, где дамы уже были делегатками сейма. Обстоятельно рассказывалось и о жизни работниц этого края<sup>34</sup>. Каждый раз данный материал печатался не для того, чтобы показать специфические подходы, особенности работы с женщинами различных национальностей в разных странах, а для того, чтобы проиллюстрировать общность задач стоящих перед пролетариатом всех стран, независимо от национальности и пола. При этом социал-демократические издания не забывали напомнить читательницам, что они принимают в свои ряды всех без различия пола, национальности и вероисповедания<sup>35</sup>.

Материалы большевистского журнала «Работница» позволяют проследить еще некоторые обстоятельства, на которые редакция обращала внимание своих читательниц. Это не только общее для всех тружениц страны тяжелое положение на работе и дома, а отсюда и общие задачи, стоящие перед ними, но и одинаковое насилие, применяемое царским правительством по отношению к пролетаркам по всей российской империи, не зависимо от их национальной принадлежности<sup>36</sup>.

Меньшевики в своих газетах иногда публиковали объявления на еврейском языке<sup>37</sup>, информировали о положении еврейской работницы. Так, в номере со статьями, посвященными международному женскому дню, перепечатана заметка из еврейской газеты «Цайт». Она повествовала об участии евреек-работниц в национальном рабочем движении, начавшемся где-то в конце 80-х годов XIX века. Причем, женщины, по мнению газеты, начали, организовано отстаивать свои права раньше мужчин. Еврейки, как правило, не

---

<sup>32</sup> РЦХИДНИ Ф. 134. Оп.1. Д.487. Л.10-11об.

<sup>33</sup> Листок работницы. Спб. 1914. 27 апр.

<sup>34</sup> А. Елизарова. Женщины-работницы и их движение до мировой войны. // Коммунистка. 1922. № 2. С. 15

<sup>35</sup> Луч. 1913. 17 фев.

<sup>36</sup> См. Елизарова А. Указ. соч. С.16-17.

<sup>37</sup> Луч. 1913. 4 янв

работали на крупных предприятиях. Они были заняты в спичечном, табачном, чулочном производстве. Первый еврейский профсоюз организовали именно чулочницы и портнихи Вильно. Чулочницы и папиросницы этого города и Белостока, провели первую серьезную организованную стачку. С самого начала работницы участвовали в общеврейском рабочем движении, отстаивавшем политическое равноправие и охрану материнства. Теперь, поддерживая обще пролетарские лозунги, женщины выдвигали и свои требования. Редакция «Луча» считала, что еврейские труженицы имели более основательный опыт участия в пролетарском движении, чем их товарки россиянки. И последние могут поучиться у них сплоченности и активности.<sup>38</sup> Однако, не всегда опыт помогал. Так, Одесское общество приказчиков, одно из старейших в городе, решило не принимать в свои ряды женщин-приказниц. Объясняя неправомерность подобного решения, меньшевики подчеркивали заинтересованность самих мужчин приказчиков в организации женщин для достижения единства своих рядов<sup>39</sup>.

Очень редко в меньшевистской печати можно найти сообщения подобные тому, которое было напечатано в «Листке работницы» в 1914 г. об усилившемся национализме среди рабочих и работниц рижской фарфоровой и фаянсовой фабрики т-ва Кузнецова. Авторы заметки не объяснили, что они имели в виду, но в качестве меры борьбы с этим нежелательным, судя по тону напечатанного материала, явлением, предлагали активно записываться в профессиональные и культурно-просветительные союзы и читать рабочие газеты. Очевидно, прежде всего, общерусские издания<sup>40</sup>.

1917 г. много, по крайней мере, внешне изменил в межнациональных отношениях. В первые недели деятельности Временного правительства все ранее ругаемые, ущемленные нации, превратились в почитаемые стали почитаемыми. Очень быстро стали обязательными взаимные приветствия, посылаемые на многочисленные Всероссийские национальные и партийные съезды, региональные встречи. Стало модным показывать свое доброе отношение к людям различных национальностей.

Все газеты чаще и охотнее помещали материал о положении дел в различных национальных районах бывшей империи. В печати увеличилось внимание к деятельности национальных организаций. Такое благодушно восторженное отношение к данной проблеме постепенно сменялось обострением национальных отношений в отдельных регионах, усилением национализма некоторых народов.

Изменения произошли и в положении россиянок. Они получили избирательные права, и это впервые заставило все политические партии бороться за голоса избирательниц. Но и в

---

<sup>38</sup> Луч. 1913. 17 фев

<sup>39</sup> Луч. 1913. 25 мая.

<sup>40</sup> Листок работницы. СПб. 1914. 27 апр.

это время говорить о серьезном внимании основных всероссийских политических партий к национальным аспектам женского вопроса, нельзя.

Более внимательно эта проблема учитывалась кадетами и женскими общественными организациями, находящимися под их покровительством. Всероссийский Женский союз выпустил воззвание по поводу предоставления Временным правительством избирательных прав россиянкам. В нем подчеркивали не только огромное значение получения российскими гражданками всех национальностей вероисповеданий и вероучений этого права, но и возложенную на них огромную ответственность. Для того чтобы данная новость стала как можно быстрее всеобщим достоянием, авторы просили редакторов всех выходящих в России газет, перепечатать декларацию Временного правительства на языках всех народов проживающих в стране<sup>41</sup>.

Партия народной свободы продолжала уделять серьезное внимание положению мусульманки. С ее помощью в апреле 1917 г. в Казани был созван Всероссийский съезд мусульманок. Цель, которого была, создать женский мусульманский союз и подготовить вынесение женского вопроса на обще мусульманский съезд. Делегатки отстаивали требования политического равноправия женщин, ликвидации многоженства и затворничества, запрещения отдавать девушек замуж ранее 16 лет, обязательного присутствия жениха и невесты при совершении брачного обряда. Они считали, что все предлагаемые изменения не противоречат шариату. В Москве на 1 Всероссийском мусульманском съезде, в работе которого кадеты так же активно участвовали, по проблемам женского равноправия разгорелась серьезная борьба, достаточно сказать, что этому вопросу было посвящено три доклада и 80 человек записалось для выступлений в прениях. В конце концов, съезд принял резолюцию, утверждавшую политическое равноправие женщин и требующую полного экономического и гражданского раскрепощения мусульманок<sup>42</sup>. Данное решение многих не удовлетворило. Особенно яростно сопротивлялось ему мусульманское духовенство. Именно благодаря его непримиримой позиции в июле, на 11 Всероссийском съезде мусульман, резолюция о равноправии женщин была пересмотрена. Не помогла не благожелательная позиция кадетов, не яркие выступления мусульманской интеллигенции в защиту своих соотечественниц. Так, один из них, делегат Г. Ибрагимов четко определил суть идущих споров: «Лишить 15 миллионов мусульманок России прав или нет»<sup>43</sup> Новая резолюция требовала предоставления мусульманкам только политического

---

<sup>41</sup> РЦХИДНИ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 2483. Л.1.

<sup>42</sup> Смирнова В. Н. Женский вопрос на Всероссийских мусульманских съездах в 1917 г. //Вопросы истории, философии и педагогики. Казань. 1965. С. 10 – 12.

<sup>43</sup> Цит по Смирнова В. Н. Указ соч. С.13.

равноправия, вся остальная жизнь должна была строго соответствовать положениям Корана

44

У нас нет никаких оснований, говорить, что кадеты работали с женщинами еврейской национальности. Но то, что они выделяли ее из общей массы россиянок – безусловно. Особенно это заметно в 1917 г. Издания партии народной публиковали объявления на еврейском языке, обращенные к женщинам, как правило, с просьбой принять активное участие в благотворительных сборах. Газеты сообщали о работе еврейских общественных организаций и участии женщин в их деятельности. Так, например, сообщалось о выборах в московскую еврейскую общину и в связи с этим – призывы к беспартийным еврейкам голосовать за список № 3, список объединенной еврейской демократии. Среди кандидатов этого объединения четыре женщины, активные участницы различных национальных обществ и комитетов<sup>45</sup>. «Речь» сообщала о сборе средств в пользу военнопленных, проведенном группой еврейских женщин Петрограда. Скрупулезно перечислялось, сколько от кого было получено и куда эти средства ушли. За этой работой следили члены Государственной Думы Д. Фридман, А. Гинзбург, Я. Берлин<sup>46</sup>.

Знакомя своих читателей с хроникой событий, происходивших в стране, кадетские издания не забывали сообщать и о новостях национальных районов. Например, о начале приема слушательниц на Высшие женские курсы в Киеве<sup>47</sup>.

Большевики использовали опробованные формы борьбы за пролетарок и в 1917 г. национальный аспект проблем в их работе практически отсутствовал. Исключения составляли предвыборные кампании. В ходе которых, каждый раз подчеркивалось стремление ленинцев дать избирательное право всем гражданам страны, без различия пола, вероисповедания и национальности. Иногда на это обращали внимание и при постановке других проблем. Например, Крупская Н. К. в статье «Как организовать рабочей молодежи?» призывала всех мальчиков и девочек страны вступать в Союз Рабочей молодежи России. При этом она настаивала на необходимости специально оговорить право всех подростков быть членами данного Союза, независимо от их религии, пола или национальности. Иначе, опасалась Надежда Константиновна, «Союз молодежи какого-нибудь города может вдруг постановить, что не надо принимать девочек или латышей,

---

<sup>44</sup> Вопрос о равноправии мусульманок рассматривался в июле 1917 г. и на I Всероссийском мусульманском военном съезде, подтвердившем, по сути, ранее принятое решение, и на Всероссийском съезде мусульманского духовенства, согласившегося с частичным уравниванием женщин в правах с мужчинами в гражданско-правовой области, но настаивавшего на строгом соблюдении прав шариата в семейно-правовой области. Чувствуя шаткость своего положения на II Всероссийском мусульманском съезде, представители духовенства предъявили делегатам ультиматум, заявив, что Духовное управление во главе с муфтием уйдет в отставку, если съезд не примет его резолюции по женскому вопросу. Только после этой угрозы резолюция была изменена.

<sup>45</sup> Русские ведомости. 1917. 1(14) окт.

<sup>46</sup> Речь. 1917. 15 окт.

<sup>47</sup> Речь. 1917. 2 авг.

поляков или евреев»<sup>48</sup>. Однако, ни это, ни подобные ему указания, не содержали конкретных рекомендаций.

Меньшевики ограничивались констатацией в своих печатных органах забитости женского населения страны, особенно крестьянок

На Украине эсеры, поддерживая обще эсеровские требования предоставления всех прав всем, без различия веры, пола и национальностей<sup>49</sup>.

Монархисты по-прежнему пытались играть на патриотизме и отсталости основной массы россиянок, обвиняя во всем «жидов» и призывая избегать с ними общения, воспитывать детей в уважении к царю, не участвовать в забастовках, не распространять листовки врагов государства, а только Союза русских людей. Они приглашали всех соотечественниц вступать в свою организацию и не походить на «тех несчастных, которые устраивают революцию в России». Помнить, что «забастовщицы» втоптывали в грязь доброе имя русской женщины. Складывалось такое впечатление, что все население страны они делили на русских и евреев. Их воззвания, как правило, обращались к русской женщине и подписывались так же. Причем независимо от того, где они были напечатаны в России или, например, на Украине<sup>50</sup>.

К сожалению, и в 1917 г. всероссийские партии не осознали важности учета национальных особенностей при работе с женским населением.

Кадеты, касались в своей практической деятельности национальных аспектов женского вопроса, только пропагандируя требование предоставления политического равноправия для соотечественниц и пытаясь, насколько это было возможным, привлекать женщин разных национальностей к выборам сначала местного самоуправления, а затем и Учредительного собрания.

Национальный вопрос, так же как и женский долгое время рассматривался рабочими партиями как проблема обеспечения союзников в предстоящей революции. Именно поэтому, если и упоминалось о необходимости разрешения названных проблем, то только через призму интересов рабочего класса, достижения его единства и роста числа его союзников.

Эсеры на практике почти не обращали внимания на интересующую нас проблему. Монархические организации противопоставляли еврейкам все остальное женское население страны и обвиняли их во всех бедах, переживаемых населением.

Все перечисленные обстоятельства отвечали классовым интересам российских политических партий и не способствовали нахождению общих точек соприкосновения и объединению россиянок в тот суровое и трудное для страны время.

---

<sup>48</sup> Правда. 1917.20 (7) июля.

<sup>49</sup> Народная воля (на укр. яз.) Киев.1917. 5(18) мая.

<sup>50</sup> Черная сотня. Харьков. 1918. 5 апр., Об этом же см. Там же 8 апр., 22 апр.

### Раздел 3

## "Русский гендер как "герой" кино/теле экрана":

Рыгина Л.С.

**Гендер(ы) российского шоу-бизнеса:**

**модели рекрутирования не-нормативной сексуальности**

Высокая конкуренция на рынке современного шоу-бизнеса стимулирует продюсерский поиск новых тем, образов и презентационных стратегий. Автор настоящей работы предлагает рассмотреть три основные модели привлечения дискурса не-нормативной сексуальности в успешных проектах российской эстрады и представленные в них гендерные характеристики отечественных поп-звезд.

Первая модель нашего списка обозначена как «элитизация». Она подразумевает стремление индивида приобщиться к миру высокостатусных субъектов, к сфере элитарного и эксклюзивного. Здесь к месту будет вспомнить, что одно из англоязычных обозначений мужчины-гомосексуалы – «гей» - значит «веселый», «беспутный», «яркий» и «пёстрый». Именно эти характеристики часто ассоциируются с жизнью элиты.



Борис Моисеев представляет публике почти идеальный образ элитарного Гейя: строит глазки мужчинам, использует женские детали в одежде, женский парфюм, в интервью охотно рассказывает, что любит пить водку с пепси-колой и смотреть как раздеваются артисты, а из автомобилей предпочитает «Ягуар»<sup>1</sup>. К этой же категории представителей шоу-бизнеса могут быть отнесены Сергей Пенкин, Александр Медведев (более известный как ШурА)

и некоторые другие поп-звезды, активно обозначающие свою принадлежность к гей-сообществу.

Вторая модель - «эмансипация», реализует демонстративное пренебрежение к социальной нормативности вообще и противодействие ей через контр-культуру и контр-сексуальность. Здесь, без сомнения, может быть названа поп-группа «Тату», в творчестве которой гомосексуальность предстает как одна из форм противодействия принятым нормам вообще.



<sup>1</sup>Ю. Стоцкий-Сыч, Е. Силкина, А. Шварфарц "Борис Моисеев: «Люблю пить водку и смотреть, как актёры раздеваются»" <http://www.best-gay-club.com/comunity/publications/moiseev.html>

Такой поведенческий паттерн может быть соотнесен с психологическими феноменами подросткового возраста и обозначен термином «подростковая реакция эмансипации». В этом случае становится понятно, что популярность названных исполнителей связана не столько с эксплуатацией темы гомосексуальности, сколько с тем, что они оказываются близки целевой аудитории – подростковой аудитории – своими нон-конформистскими поведенческими установками не зависимо от формы их выражения.



Третья модель обозначена автором как «имитация», поскольку предполагает сглаживание в облике и поведении исполнителя специфичных биологически обусловленных черт или стремление к уподоблению иной сексуальности. Примером реализации данной модели являются «Полиция нравов», Земфира и лидер(ша) группы «Butch».

Соответственно перечисленным моделям оформляются три типа гендерных моделей: мужчины-геи, чья нетрадиционная сексуальная ориентация маркирует элитарности; гетеросексуальные девушки-подростки, демонстрирующие пренебрежение к нормативным сексуальным практикам; молодые женщины би-сексуальной ориентации, стремящиеся к внешней имитации черт маскулинности или нивелированию черт феминности.



Здесь следует заметить, что линия эмансипации в западном исполнении презентруется иной моделью, не замеченной пока в арсенале российских поп-звезд. Это «новые амазонки» в недавнем клипе Бритни Спирс и Мадонны<sup>2</sup>. Согласно сюжету, героини живут в параллельных мирах. Мадонна постоянно пытается соблазнить

Бритни, заставляя ее бродить по лабиринтам ночного клуба, и растворяется в воздухе, не давая той прикоснуться<sup>3</sup>.

В клипе нет ни одного мужчины в смысле активного участника действия. Мужские фигуры, в кадре с Мадонной более напоминают статуи или детали интерьера, чем живых людей. Вместе с тем поза и жесты певицы явно демонстрируют



<sup>2</sup> Речь идет о "Me Against the Music", однако подобный дискурс присутствует и в клипах других исполнительниц.

<sup>3</sup> Спирс и Мадонна в одном клипе. Музыкальная газета [www.wn.ru](http://www.wn.ru)

пренебрежение, насмешку и власть над ними. И это может быть понятно как некая матриархатная модель отношений, предлагаемая авторами-создателями сюжета взамен существующей патриархатной. Здесь, в отличие от протестных реакций «Тату», являющихся скорее проявлением психологических особенностей подросткового возраста, представлен достаточно зрелый проект – проект мира женщин, живущего по своим собственным законам.

Итак, репрезентация гомосексуальности как символа элитарности (то есть предельно высокого статуса) характерна лишь в отношении мужской гомосексуальности, а рекрутирование женской гомосексуальности репрезентируется скорее как механизм преодоления ограничений, налагаемых на женщину традиционным обществом, либо как способ их избегания через миграцию в иную гендерную позицию. Однако все это – и первое, и второе, и третье, - предполагает скорее инсценировку иной сексуальности и ведет к размыванию «гендерных портретов» названных поп-звезд.

Но такого рода эффекты наблюдаются и в более широком контексте гендерных отношений, сложившихся в современной России, поскольку с одной стороны имеются образчики западного феминизма и разнообразных форм женской эмансипации, а с другой стороны достаточно прочные патриархатные традиции организации гендерного порядка.

В заключении следует признать, что настоящее эссе ни в коей мере не претендует на статус полновесного научного исследования, а лишь являет результат рефлексии автора по поводу сюжетов популярного музыкального телеканала MTV.

## Брачная миграция на ТВ-экране: сказка и «реалити»

Когда журналист в финском документальном фильме «Приезжают Американцы» спрашивает Ирину Маслову, какого мужчину она ищет через международное брачное агентство, та отвечает просто: «Мужчину, который готов подарить мне сказку». Сказка, засевшая в воображении этой женщины, – скорее всего «Золушка», прототип женской истории успеха. То, что взрослая женщина перед камерой признается, что верит в сказки и тем самым готова подать себя наивной и сентиментальной дурочкой, – конечно, выглядит печально. Но ее высказывание нужно рассматривать в соответствующем риторическом контексте. Маслова находится в позиции, где нужно защищаться, как минимум, от двух обвинений: ее желание выйти за иностранца можно воспринять, с одной стороны, как антипатриотическое стремление, а с другой стороны – как циничную попытку выйти замуж по расчету. И первое, и второе резко осуждалось советской моралью, – моралью, которая играет важную роль и сегодня.

Эмиграция в России давно имеет большое символическое значение и долго связывалась с обостренными отношениями с политическим строем. В своем изучении послевоенного советского дискурса о Родине, Ирина Сандомирская (2001) рассматривает Родину как систему нарративов, где сюжет странствия выходит на первый план. Тут важно направление: Сандомирская указывает на резкое осуждение героев тех нарративов, которые описывают путь от Родины в *одну сторону*, без возвращения: это – трагический «изгнанник родины» и коварный «изменник родины». То, что герои мужского пола – не случайность. Патриотический дискурс, независимо от страны происхождения, обычно конструирует свой субъект в мужском роде, а женское место выделяется самой Родине – как объекту (мужского) желания.<sup>1</sup> Еще один фактор, препятствующий появлению женского субъекта в нарративах о странствии, на который указывает Сандомирская, – это отрицательные культурные коннотации, закрепленные за образом странствующей женщины: «В этимологии русского языка «передвигающаяся» женщина – это женщина *иляющаяся* (отсюда – *илюха подзаборная*), женщина *гулящая*: она *шатается, ходит по рукам, треплет юбки*, т.е. это *женщина легкого поведения* и никоим образом не то лицо, которое может позволить себе возвышенные отношения с родиной» (стр. 60, курсив И.С.).

---

<sup>1</sup> См. Сандомирская (2001, 60); Шарп (1996, 99)

Несмотря на то, что этот советский дискурс постепенно утратил свое влияние, а в постсоветские времена стал сталкиваться со множеством антагонистских дискурсов, следы его еще можно обнаружить. Один из показательных примеров – фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» (1989). Главная героиня Таня как раз – передвигающаяся женщина, и в географическом, и в том переносном смысле, о котором выше говорилось. Трагическая смерть Тани в конце фильма конструируется как последствие ее несчастной любви к Родине – той Родине, которую она предала, став жертвой соблазна западного потребительства, выйдя замуж за богатого шведа. Но любовь к Родине оказывается сильнее, и совершенно несовместима с той аморальной жизнью, которую Таня ведет на (загнивающем) Западе. В конце фильма, мечта о возвращении оказывается неосуществимой, и единственной возможной развязкой становится смерть. Когда она в сильном душевном замешательстве гоняет свое Вольво по дождевым шведским авто-трассам, на звуковой дорожке мы слышим хор, торжественно поющий народную песню «По диким степям Забайкалья». Строки «Бродяга, судьбу проклиная, / Тащился с сумой на плечах. / Бежал из тюрьмы темной ночью, / За правду он долго страдал» равняет судьбу Тани с выше-упомянутым трагическим изгнанником Родины. Таким образом, фильм описывает развитие Тани от предателя Родины к (более положительному) изгнаннику Родины. То, что фильм не может представить бродягуженщину другим способом, нежели трагической шлюхой, говорит о его участии в том послевоенном патриотическом дискурсе, который проанализировала Сандомирская. Смерть Тани эмблематически происходит *на дороге* – по которой ей не стоило идти с самого начала, если верить морали фильма.

Когда Маслова выбирает мотив Золушки, чтобы выразить свою жизненную позицию, она обращается именно к этому дискурсу, который изображает женщину-путешественницу в стигматизированных, сексуализированных формах. Невинная, угнетенная Золушка несомненно имеет право на своего принца, и на этом праве настаивает и Маслова, несмотря на то, что ее жизнь в Санкт-Петербурге, где она работает артистом эстрады, мало напоминает жизнь Золушки.<sup>2</sup>

Второе обвинение, касающееся браков по расчету, найдет поддержку в советском законодательстве. Первая статья в документе «Основы законодательства СССР и союзных республик о браке и семье» (1968) провозглашала идеал брака как институт «свободн[ый] от материальных расчетов и основанн[ый] на чувстве взаимной любви, дружбы и уважения» (цитата приведена по тексту Казьминой и Пушкаревой, стр. 204). То, что этой морали

---

<sup>2</sup> Стишова (1997) указывает на значение мотива Золушки в советской и пост-советском кино.

противостояло множество альтернативных взглядов на неформальном уровне, широко известно из советского фольклора и кино. В качестве примера можно привести художественный фильм «Москва слезам не верит» (1979), где Людмила в начале фильма объясняет своей подруге Кате азы жизни: «- Москва – это большая лотерея. Тут можно сразу все выиграть. Тут живут дипломаты, художники, артисты, поэты. А практически все они – мужчины. Понимаешь? [Катя:] – Нет. [Людмила:] - *А мы – женщины.*» Как известно, в фильме экстравагантные планы Людмилы кончаются довольно прозаично, и зрителям однозначно дают понять, что подняться по социальной лестнице посредством мужчины не одобряется Советским обществом.<sup>3</sup> Но фильм не всех убедил: его явно утопические элементы, в том числе головокружительная профессиональная карьера главной героини – матери-одиночки, побуждали сомнения в том, действительно ли так уж плоха идея выйти замуж по расчету. Руководствуясь логикой «слушайте совет и поступайте с точностью до наоборот», Маслова и другие клиенты брачных агенств вполне могут оценивать свой поступок если не как акт политического протеста, то хотя бы как отрицание чопорной общественной морали. В этом контексте слова Масловой про сказку перестают казаться исключительно выражением наивности и сентиментальности.

Другой вопрос касается уже следующего нарративного уровня финского фильма: почему же авторы выбрали именно эти кадры для окончательной версии картины из многочисленных снятых интервью? Скандинавской публике, к которой обращен фильм, слова Масловой напоминают отрывок из слабого женского романа 1950-х годов. То, что Ирина Маслова на первое место ставит материальное положение будущего мужа, и только потом упоминает личные качества («Он должен быть более чем состоятельный, и духовный, душевный, сердечный, любящий») превращает ее в живой анахронизм. С 1970-х годов людей в Скандинавии воспитывали в духе гендерного равноправия, и с тех пор подразумевается, что женщина должна сама себя обеспечивать. Налоговую систему сконструировали таким образом, что выжить на одну зарплату стало крайне сложно, и институт домохозяйки, возникший только в послевоенные годы, вскоре исчез. «Выйти замуж за богатого» перестало быть признанной целью приличной девушки и превратилось в скрытую амбицию или шутку. В этом контексте Маслова выглядит подчеркнуто другой: в отличие от нее, скандинавские

---

<sup>3</sup> И нынешним властям кажется необходимым воспитывать население в этом вопросе. Фильм «Брак по расчету» (2002), снятый по заказу правительства Москвы, призывает к тому, чтобы провинциальные зрительницы не гонялись за богатыми, но неверными московскими бизнесменами, а довольствовались местными парнями-рабочими

женские зрители якобы не должны полагаться на состоятельного мужа, чтобы заполнить выше упомянутую сказку.

Исторически гендерный порядок в России/Советском союзе и Скандинавии показывает больше схожести чем различий: в обоих случаях система государственного распределения обеспечила женщине относительную независимость от мужа, и в области занятости женщин Советский Союз конечно был впереди планеты всей. Это породило образ всемогущей женщины, которая умело справляется во всех сферах жизни, наряду с тезисом о «феминизации мужчин» в позднесоветском дискурсе (см. Здравомылова и Темкина, 2002). Гал и Клигман (2000) описывают сложившуюся ситуацию во всем социалистическом блоке как конфликт между «храброй жертвой» и «большим ребенком»: ситуация, когда сферы общественной жизни не могли создавать положительных образов гегемонной маскулинности, а сферы частной жизни, которые часто являлись самыми важными для выживания, конструировались как женские, тем самым создавая асимметрию между полами, которая никого на самом деле не устраивала. Именно недовольством этим порядком отчасти объясняется миф об удачном, богатом браке, который освобождал бы женщину от двойной нагрузки, и здесь мы находим Маслову в списке «подписчиков».<sup>4</sup> Но об этом историческом аспекте мало кто подозревает среди Скандинавских телезрителей.

Финский документальный фильм является частью обширной дискуссии на Западе, где соревнующиеся дискурсы борются за право на дефиницию смысла сигнификанта «русская женщина». Фильм вливается в уже существовавший поток слов, образов и жестов, производящий сексуализированное знание о русских женщинах: как невестах-почтой (mail-

---

<sup>4</sup> Несмотря на это недовольство, т.н. модернизированная модель брака, признающая равные обязательства за обоими супругами, по мнению Казьминой и Пушкаревой (2004, 217), становится все более и более распространенной в России. В фильме «Приезжают Американцы», одна женщина выражает свое предпочтение именно этой модели: «Я хотела бы иметь партнера в лице мужа с которым мы могли бы делать что-нибудь вместе, творить, работать, наслаждаться выходными». Эта женщина выполняет роль неудачницы фильма – та, которая никого не нашла. О Масловой наоборот один американец говорит с большим энтузиазмом, и предсказывает счастливый конец ее поисков. Фильм таким образом указывает на значение патриархатной модели брака для брачного бизнеса. Поскольку эта модель находится в маргинализованном положении в Скандинавских странах, стигма маргинала закрепляется не только за американцами-чужаками, но и за русскими женщинами, готовы вступать в такой тип брака.

order brides) и проститутках.<sup>5</sup> Когда финский фильм пытается представить русских женщин максимально другими, радикально отличающимися от местных, умалчивая о сходствах и не объясняя причин различия, то он пользуется приемом экзотизации. Этот прием входит в тот набор репрезентационных стратегий, который Эдвард Саид назвал «Ориентализмом». Саид (1978) определил этот термин как «режим правды», который производит знание о Другом, коренящееся в расовых различиях, и происходящее от неравных отношений между субъектом и объектом колониализма. Нужно признать, что ни «раса», ни «колониализм» не являются уместными категориями в этом контексте: В новой истории Россия не являлась колонией, и уж тем более не колонией Финляндии. Но все же, сходство Ориентализма и дискурса, ныне определяющего русских женщин, указывает на то, что Россия сегодня вызывает желания и беспокойства, напоминая те, которые вызывал Ближний и Средний Восток во время Британской империи.

Документальный фильм, где участвует Маслова, – одна из многочисленных картин на тему брачных игр между восточно-европейскими женщинами и западными мужчинами, которые появились в последние годы. Настоящая статья посвящается анализу трех таких фильмов, выпущенных на Западе. Затем они будут противопоставлены трем российским фильмам схожей тематики с целью выявить, каким образом эти фильмы обсуждают и решают вопросы о гендере и национальной идентичности в зависимости от коммуникативного контекста.

### Брачная миграция как реалити-ТВ

Ограничительное иммиграционное законодательство в большинстве западных стран создало ситуацию, когда брак с гражданином такой страны оказался одним из немногих технологий миграции. В России отмена ограничений на выезд совпала с введением рыночной экономики, и все это способствовало буму брачных агентств с обеих сторон российской границы (Анашкина и Погодина 2003). Агентства в изобилии производят печатные и электронные издания, иллюстрированные фотографиями женщин, почти поголовно смахивающих на топ-моделей.

В общезападном контексте невеста-почтой как культурная конструкция работает как гипербола традиционной женственности, как она выглядит в рамках гетеросексуального патриархатного брака. Этот тип женственности опирается на конструкцию женщины как

---

<sup>5</sup> Многочисленные исследования репрезентации русских женщин в западных СМИ однозначно подтверждают сексуальный аспект как доминант в этих повествованиях. См. Леонтиева и Сарсенов 2003; Лемиш (2000), Стенволл (2002)

зависимой, семейной и уязвимой, о которой должен заботиться мужчина-кормилец. Невеста-почтой доводит это представление о женственности до своего логического конца: женщина максимально зависима и уязвима, так как она иностранка, иногда без знания языка. Но красивой оболочкой романтики, которой обычно покрывают брачный обмен ресурсами и обязательствами, здесь намного сложнее воспользоваться: на обязательный вопрос журналиста, зачем она покидала свою родину, такая женщина неубедительно отвечает «из за любви», несмотря на то, что все уже за нее решили, почему именно она приехала. Во всех обществах, где мужчины располагают большими ресурсами, чем женщины, женский успех так или иначе достигается посредством мужчин и очень часто именно через брак. Невеста-почтой оголяет некрасивый каркас патриархатного брака, указывая на ту асимметрию сил между полами, на которой основывается этот институт. Этим она и волнует общественное мнение, и поэтому часто становится мишенью морального возмущения или же объектом жалости. То изобилие чувств, которое сопровождает появление невесты-почтой на общественной сцене, делает ее отличным сюжетом для журналистов.

Многие брачные агентства активно работают с СМИ, чтобы разрекламировать свой товар. Представители фирм участвуют в ток-шоу и дают интервью газетам, где их бизнес часто подвергается суровой критике, но они видимо руководствуются девизом “any publicity is good publicity». Этим скорее всего объясняется, почему агентства иногда пускают съемочные группы в свои «романтические путешествия», где журналистам дается возможность брать интервью у всех участников бизнеса. Фильмов, возникших после таких путешествий, уже появилось великое множество, и все они следуют общему сценарию.<sup>6</sup> Фильмы, которые анализируются в этой статье, – «Приезжают американцы» (Финляндия), «Ищу русскую жену» (Франция/США) и «В поисках русской женщины» (Великобритания) – являются продуктом общественных телеканалов, т.е. авторы должны руководствоваться интересами зрителей, а не коммерческими интересами агентств. Несмотря на то, что эти фильмы удивительно похожи друг на друга, их снимали совершенно самостоятельно, в трех разных странах. Но в двух фильмах выступают представители одного и того же американского агентства “A foreign affair”. Соответственно, мужчины-женихи – американцы, что и порождает обсуждение и даже некое ехидство по поводу американских вариантов маскулинности в этих европейских продукциях.

---

<sup>6</sup> Вот некоторые названия: “From Russia with Lust” (США 2003); “In the Name of Love” (США 2003); “Russian Mail-order Brides” (2003); “Seeking Russian Bride” (США), “To Russia for Love” (Ирландия 1999).

Общий сценарий таков: сначала мужчин снимают до поездки в Россию. Они листают каталоги и объясняют, почему решили обратиться в агенство. Часто выражают разочарование своими соотечественницами, которых считают слишком требовательными, самостоятельными и, наконец, находящимися под слишком большим влиянием феминизма. Потом представители фирм встречают их в аэропорту, отвозят в гостиницу, и знакомят с женщинами. В заключение объявляется результат: кто на ком женился, кто решил что не стоит. Этот субжанр документального фильма граничит с реалити-ТВ, или скорее «трэш-ТВ»: нам позволяют подглядывать в замочную скважину на якобы «реальные» свидания, что напоминает также инсценированные ухаживания в реалити-шоу как например передачи "Chains of Love", "Who Wants to Marry my Dad", «Любовь слепа», и многие другие. Все три фильма о международном сватовстве пользуются одним и тем же изобразительным приемом в отношении женщин: фильмы играют на вуаеристичными желаниях зрителей, снимая женщин с максимально выгодных, а иногда и неприкрыто эротичных сторон. В фильме «Ищу русскую жену», например, американец Пэт долго рассказывает о добродетелях некой Светланы. А когда, наконец, ее показывают, мы видим крупным планом только нижнюю часть ее тела, одетую в мини-юбку и высокие сапоги.

Еще одно сходство с реалити-ТВ обнаруживается, при изучении того как документальные фильмы конструируют своих зрителей. Эти ленты ставят их в удобную позицию, из которой они могут безнаказанно осуществлять общественный контроль, обсуждая и/или осуждая слегка дивиантное поведение участников. Лора Гриндстафф в своей статье о реалити-ТВ (1995) объясняет то удовольствие который испытывают зрители от этих шоу, именно комбинацией свободы и контроля: "The war of persuasion is now further complicated by the popularity of new television genres which use footage of actual events to endlessly narrativize experience, packaging and framing real stories/real crimes/real trauma for mass entertainment, and whose pleasures lay precisely in the link between voyeurism and surveillance, freedom and control." Документальные фильмы задают простые вопросы своей публике вроде тех увлекающих спорщиков дневных ток-шоу: может ли знакомство по интернету привести к счастливому браку? Прекрасная русская жена – лучше стервы-соотечественницы? Или, может быть, эти мужчины - просто жалкие неудачники? Здесь, как и в реалити-ТВ, предлагают индивидуальные решения сложных социальных проблем, таких как бедность, сокращение населения в сельских местностях, беспокойство по поводу маскулинности и гендерное неравенство.

То, что общественное телевидение снимают дешевые передачи низкого качества, имеющие мало общего с традицией критического анализа, с которой обычно ассоциируется документальный жанр – конечно обескураживает, но это - предмет размышлений для телевизионных критиков, а не для гендерных исследователей. Я хочу указать на то, что близость этих фильмов с реалити-ТВ и вытекающая из этого привлекательность для широкой аудитории создает ситуацию, когда очень специфические аспекты русской женственности начинают преобладать в воображении западного телезрителя. Фильмы добавляют международный элемент к концепции «подглядывания», взятой из реалити-ТВ, и, таким образом, создают фантазию о России после холодной войны как легкой добыче, готовой к потреблению.

### Брачная миграция как патриотический акт

В российских СМИ международные браки по объявлению время от времени привлекают внимание журналистов, особенно благодаря стараниям Ольги Маховской, старшего научного сотрудника Института психологии РАН. Результаты ее исследования среди брачных мигрантов во Франции и США получили большую огласку, о них писали в центральных и местных газетах, она сама публиковала статьи и выступала на радио.<sup>7</sup> Ее цель – готовить женщин к реалиям иммигрантской жизни, чтобы они не стали жертвами принуждения или торговли людьми. Но когда телеканал «Россия» в 2002 г. запустил свой документальный проект «География русской любви», посвященный русским женщинам, вышедшим замуж за иностранцев, повестка дня выглядела по-другому. Проект вылился в три самостоятельных фильма: «Женитьба по-итальянски», «За китайской стеной» и «Доброе утро, Вьетнам». Когда их показали на канале «Культура» весной 2004 г., один критик назвал свой отзыв «Кое-что о национальной гордости великороссов» (Петровская 2004) и похвалил серию за ее патриотический пафос. Авторы фильмов видимо сумели подхватить ту тему, которая в западных документальных фильмах играла на темных ксенофобских чувствах зрителей, и превратить ее в панегирик русскости. Как же им это удалось, учитывая те обвинения в измене Родины, которые до сих пор прилипают к женщинам-эмигранткам?<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> См. Например: Мода на русских жен, Известия 2003-01-24; Брачные игры в западном направлении, или дикие колеса русского счастья, Иностранец, 2003-01-21;

Замуж за Америку, Радио Свобода 2003-04-26.

<sup>8</sup> Более подробно о проблеме репрезентации женской миграции с точки зрения патриотического дискурса, см. Сарсенов (1999); (2004).

Все три фильма представляют женщин, которые самоабвенно посвящают свою жизнь мужьям, и следовательно, фильмы уделяют столько же внимание мужьям, сколько и женам. «Женитьба по-итальянски» знакомит зрителей с Тонино Гуэрра, итальянским сценаристом, поэтом и художником, который работал в том числе с Фредерико Феллини, Микеланджело Антониони и Андреем Тарковским. Знакомство проходит посредством его русской жены Лоры, чью девичью фамилию авторы даже не посчитали нужным обнародовать. В картине «За китайской стеной» рисуют портрет Ли Лисаня - китайского революционера, в 1930-ые годы женившегося на студентке факультета иностранных языков МГУ. Впоследствии его назначили министром труда в правительстве Мао Цзе-Дуна, но во время культурной революции он стал жертвой жестоких репрессий, от которых пострадала и его семья. Третий фильм, «Доброе утро, Вьетнам», представляет менее элитный брак между вьетнамским гастарбайтером и девушкой из русской провинции, которая поехала с мужем к нему на родину, когда на работе с ним произошел несчастный случай и он серьезно повредил ногу. Несмотря на то, что вьетнамца не так выгодно изображают как мужчин других фильмов, он все равно доминирует на экране и является основным рассказчиком в повествовании об их браке.

Фильмы создают триптих «русской женщины». «Женитьба по-итальянски» представляет женщину, одаренную чувствительностью и духовностью, которая реализует свой творческий потенциал косвенно, как муза гения-мужа. Второй фильм изображает женщину-жертву, которая добровольно разделяет удел мужа во время политического преследования, по образу жен декабристов. Третий фильм подчеркивает смелость и героизм русской женщины, когда она меняет свою жизнь в относительно богатой России на неуверенное существование в бедном и в культурном смысле чуждом Вьетнаме. Ограничив «Географию» странами, жизненные условия которых не лучше, чем в России, и посветив «русскую любовь» достойным гениям (которые тем более говорят по-русски!), авторы фильмов избежали широко-распространенных отрицательных коннотаций, закрепленных за понятием «женщина-замужем-за-иностранцем», в очередной раз воспевая укоренившиеся образы идеальной женственности – муза, декабристка и добровольная жертва.

Западные документальные фильмы подчеркивают сексапильность русских женщин, тогда как русские фильмы поступают как раз наоборот: нет ни одной русской жены, которой было бы меньше сорока (жене Ли Лисаня исполнилось 80) и, несмотря на их приятную внешность, главное в них не их внешняя красота. Название фильма «Женитьба по-итальянски» - игра слов: оно намекает на картину Витторио Де Сика «Брак по-итальянски» (1964), сценарий которого как раз написал Тонино Гуэрра. Сюжет фильма разворачивается вокруг сложностей,

возникших, когда преуспевающий бизнесмен соблазнил молодую девушку, но отказался жениться. Кадры из этого фильма вмонтированы в фильм о жене Гуэрра, создавая эффектный контраст между сюжетами двух фильмов. Девушка-любовница и ее активная и хитрая борьба за привилегии жены богатого бизнесмена в фильме Де Сика противопоставляется Лоре и ее пассивному, чистому пути к неведомому счастью. Когда она говорит о своем супружестве, она, также как и Ирина Маслова в финском документальном фильме, использует образ Золушки: «Я никогда не смогла за все эти 25 лет потерять вот это состояние Золушки, состояние человека который попал на бал благодаря какой-то доброй фее. Для меня самое главное в жизни – чтобы жила сказка, кто бы ее ни делал, если делает вот эту сказку красоты, сказку, которая помогает людям жить, какую-то мечту. Вот встает, и я готова служить.» Когда она это говорит, за ее спиной показывают эротичные кадры из фильма Де Сика. Как и Ирина Маслова, Лора берет образ покорной, несчастной Золушки с тем, чтобы отмыть клеймо ловкой соблазнительницы, которое с такой легкостью наделяет женщин-эмигранток. Кадры за ее спиной не позволяют нам сомневаться в том, что «Женитьбу по-итальянски» ни в коем случае нельзя путать с «Браком по-итальянски».

И русские и западные фильмы обсуждают, или имплицитно реагируют на распространенные стереотипы, связанные с брачной миграцией. Западные фильмы подчеркивают щекотливые аспекты сюжета, а русские отвечают в высокопарном стиле, воспевая супружеские и материнские добродетели русских женщин. Однако ни первые, ни вторые не критикуют тот гендерный порядок, который а) сконструировал образ гегемонной маскулинности таким образом, что множество западных мужчин чувствуют себя вынужденными жениться на иностранке, чтобы выполнить общественный заказ на мужское лидерство в семье, и б) для преуспевания в жизни предлагает русским женщинам, в основном, путь брака, и одновременно запрещает им упоминать об этом, заставляя их прибегать к сказкам о Золушке.

### Использованная литература

Анашкина Г. П., Погодина С.А. (2003) Брак с иностранцем как новая модель адаптации российских женщин в условиях переходного общества *Этно-журнал*, 3. Источник в интернете: <http://www.ethnonet.ru/lib/0903-03.html>. 2004-03-29.

Гал & Клигман (2000) = Gal, Susan & Kligman, Gail, *Dilemmas of Public and Private, The politics of gender after socialism : a comparative-historical essay*, Princeton, N.J. : Princeton University Press. 2000, 37-62.

Гриндстафф (1995) = Grindstaff, Laura, Trashy or transgressive? 'Reality TV' and the politics of social control. *Thresholds: Viewing culture* 9 (1995), 46-55.

Здравомыслова, Елена & Темкина, Анна (2002) Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе. *О муже(Н)ственности: Сборник статей*. Сост. С. Ушакин, Москва: Новое литературное обозрение, 432-450.

Казьмина, Ольга & Пушкарева, Наталья (2004) Брак в России XX века: традиционные установки и инновационные эксперименты. *Семейные узы: модели для сборки*. Москва: Новое литературное обозрение, 185-218.

Лемиш (2000) = Lemish, Dafna. The Whore and the Other: Israeli Images of Female Immigrants From the Former USSR. *Gender & Society*. 14;2 (2000): 333–349.

Леонтиева, Александра & Сарсенов, Карин, (2003) Русские женщины на страницах скандинавских газет, *My/We* 23/39, 24-27.

Петровская, Ирина, Кое-что о национальной гордости великороссов, *Известия* 21 мая 2004. Интернет источник: [http://www.izvestia.ru/petrovskaya/115511\\_print](http://www.izvestia.ru/petrovskaya/115511_print)

Саид (1978) = Said, Edward. *Orientalism*. N.Y.: Pantheon, 1978.

Сандомирская, Ирина (2001) Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик. Wien, Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien.

Сарсенов (1999) = Sarsenov, Karin, Representations of Russian Women. *Through a Glass Darkly* (= *Slavica Lundensia* 19), 1999, Lund, 79-90.

Сарсенов (2004) = Sarsenov, Karin, Women's Migration in Contemporary Russian Literature, forthcoming in *CFE working papers*

Стишова, Елена (1997), Приключения Золушки в стране большевиков, *Искусство кино*, 5: 99-107.

Стенволл (2002) = Stenvoll, Dag, From Russia with Love? Newspaper Coverage of Cross-Border Prostitution in Northern Norway, 1990–2001. *European Journal of Women's Studies*. 9 ;2 (2002), 143–162.

Шарп (1996) = Sharp, Joanne, Gendering Nationhood. A Feminist engagement with national identity, *Bodyspace: destabilizing geographies of gender and sexuality*, ed Nancy Duncan. London Routledge, 1996.

### Список фильмов

Брак по-итальянски = Matrimonio all'italiana, directed by Vittorio de Sica, France/Italy, 1964

Брак по расчету. Режиссер: Юрий Павлов. Россия 2002.

В поисках русской женщины = In Search of a Russian Woman. Produced and directed by Philip Jones, BBC, UK, 2000.

География русской любви:

Женитьба по-итальянски. Автор сценария и режиссер: Александр Бруньковский. Телеканал Россия, 2003.

За китайской стеной. Соавтор и режиссер: Ирина Бахтина, Телеканал Россия 2003.

Доброе утро, Вьетнам. Режиссер: Аркадий Коган. Телеканал Россия, 2003.

Интердевочка. Режиссер: Петр Тодоровский. Мосфильм, Filmstallet AB, 1989.

Ищу русскую жену = Seeking Russian for Wife. Directed by Jean-Luc Leon. Album Productions with France 3, 2002.

Москва слезам не верит. Режиссер: Владимир Меньшов. Мосфильм 1979.

Приезжают американцы = The Americans are coming. Directed by Tom Östling, TV1/YLE, Finland, 1998.

## Раздел 4

### "Гендер по-русски: литературный контекст".

Christina Parnell, Erfurt/Weimar

#### **Дина Рубина: "Высокая вода венецианцев"- Женский ответ на смерть?**

"Я стала странной птицей," — пишет Рубина в начале 2000-х годов о себе.

"Израильская писательница, которая пишет об израильских реальностях совершенно русские вещи."<sup>1</sup> И литературная критика была в восторге от этого смешения в стиле идишской литературы, московской женской прозы 60-ых – 70-ых гг. и еврейско-израильского романа.<sup>2</sup>

Творчество Рубиной отлично подходит для исследований проблематики идентичности. Если я в дальнейшем концентрируюсь на гендерной проблематике я учитываю не только на тему нашей конференции, но и на позицию Рубиной по вопросам гендерной идентичности и их изображения в её творчестве. Такая позиция и изображение типичны для конфликтных структур и художественной интонации советской женской прозы, где речь шла о тоске по вечной женственности и о её коллизии с бытовой жизнью или с судьбой.<sup>3</sup>

Рубина, как и почти все русские писательницы, не видит себя в контексте феминистской дискуссии. Всегда актуальные для творчества писательницы вопросы гендерной идентичности, тем не менее, вытесняются конфликтами национальной или этнической идентичности, типичными для рассказов и романов израильского периода.<sup>4</sup> Однако в рассказе "Высокая вода венецианцев"<sup>5</sup> гендерные аспекты структурируют произведения; 39-летняя израильская онкологистка русско-еврейского происхождения узнает, что безнадежно больна раком и скоро умрет. Вместо срочной терапии в больнице, она улетает в Венецию и заводит роман с молодым итальянцем, копией покойного двоюродного брата. Мертвый брат, как и

---

<sup>1</sup> Рубина, Д.: Канатоходец. В: <http://dinarubina.wallst.ru/interview/kanatohodec.html>, с. 2.

<sup>2</sup> Марченко, А.: С прекрасным видом на Ершалаим. Дина Рубина: „Вот идет Мессия“. В: Дружба народов (1996) 9-10: „Роман Рубиной – это ‚мозаичный роман‘ эпохи господства мозаичной культуры.“ Ср. <http://dinarubina.wallst.ru/critique/ershalaim.html>.

<sup>3</sup> См. Л. Петрушевская, Т. Толстая, И. Полянская, М. Палей, М. Юзефовская и др.

<sup>4</sup> Наш китайский бизнес. В: Один интеллигент уселся на дороге. СПб. 2000; Камера наезжает. Повесть. В: Высокая вода венецианцев. Москва 2001; Наш китайский бизнес. В: Там же; Во вратах твоих. Повесть. В: Там же; Большеглазый император, семейство морских карасей. В: Там же; Итак продолжаем!... Рассказы, путевые заметки (Монологи. Я и ты под персиковыми облаками. Воскресная месса в Толедо). В: Высокая вода венецианцев. Там же; Вот идет Мессия! Эссе. СПб. 2001; В: Высокая вода венецианцев. Там же; Яблоки из сада Шлицбутера. В: Один интеллигент уселся на дороге. См. выше; Воскресная месса в Толедо. Путевые записки. В: Высокая вода венецианцев. См. выше.

<sup>5</sup> Рубина, Д.: Высокая вода венецианцев. В: Высокая вода венецианцев. Москва 2001, с. 7-64.

город, символизирующий миф о смерти, а также её погибший народ, с которым она метафорично встречается на месте бывшего гетто Венеции — станут товарищами по страху. Они уже пережили то, что для нее еще впереди. Чтобы не беспокоить свою семью, протагонистка просит ее коллегу передать ей безобидный диагноз и, наконец, возвращается домой, чтобы принять судьбу.

Я хочу осмыслить гендерную специфику преодоления кризиса, а также специфику желания в аспекте смерти и любви.

Бегство протагонистки раскрывается как стремление к самопониманию и самонахождению и показывает нам ее тоску по другому, никогда не жившему "Я". Венеция не только город любви. В своей истории и культуре город репрезентирует мечту двоюродного брата, ленинградского студента-искусствоведа, который умер от наркомании. Воспоминание о нем провоцируется венецианским студентом с тем же самым именем: вместо Анатолия — Антонио. Воспоминание подтверждает мотив смерти, а также соединение между смертью и любовью: мы узнаем о страсти русского Анатолия к его двоюродной сестре, для которой он был "братом". В той страсти повторяется третий "венецианский мотив": мотив табу. В романе с итальянским парнем протагонистка аллегорично осуществляет для себя давно вытеснявшееся желание по брату. Благодаря этому она встречается как бы со своим двойником с собой двойной. С братом связаны годы детства, молодости и совместный отдых на даче возле С.-Петербурга, место приюта и семьи, из которого развивается идентичность. На фоне угрожающего ей самораспада объятие с Анатолием/Антонио становится возвращением к идентичности. Одновременно это объятие символизирует — как описано у Юнга — соединение противоречий: женского и мужского принципов.<sup>6</sup> Однако "мужской принцип" связывается с "сестрой", которая следует "генетическому наследству бабушки" в науке. Успех этого пути определяется ею традиционным "мужским качеством" — интеллектуальной абстракцией — в то время, как брат-художник отклоняет разум и порядок как диктат.<sup>7</sup>

Желание выходить из рамок, выламываться из порядка связано для протагонистки с осознанием, что она не успела прожить со своими женскими качествами и из-за этого многое упустила. Венецианский любовник зовет ее "резко" и "независимо" (с. 58, 59), когда она хочет быть в состоянии, любить "со слезами" и дарить "негу" (с. 59). Свои добропорядочные качества она объясняет влиянием мужа, от заботы и упрямства которого она убегала, чтобы отложить признание факта болезни: "Миша, со своим извечным благородством всю жизнь

---

<sup>6</sup> См. Jung, C.G.: *Mysterium Coniunctionis*, I (1971), с. 98 (к проблематике инцеста и табу).

<sup>7</sup> См. Horkheimer, M./Adorno, Th.: *Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente*. Leipzig 1989 (глава "Просвещение и искусство").

унимал хулиганские поползновения жены" (с. 14); "И вдруг она поняла, что уехала только из-за Миши. Это Миша доживал последние - дни неведения [...] и жизнь еще не накренилась в преддверии смертельного обвала" (с. 37).

В связи с этим аллегорическое возвращение к брату означает и перешагивание границ – в другое пространство вне реальности: не только в царство смерти, имажинация которого могла вызвать ужас перед переходом в другое, но и в царство опьянения, в котором границы смещены и заметены. Как мы узнаем, трагическая смерть брата-наркомана символическим образом совпала с основанием ее семьи. Его смерть и рождение дочери совпали. Дочка от "другого мужчины", мужчины другой семьи, другой звезды, которая настоящее другое существо в своем существовании – это соответствует культурным нормам. Культурно-социальный аспект ее выбора проявляется в словах брата о ее беременном животе – знаке принадлежности к другому клану. "А, ты хозяйин?" – брат спрашивает соперника. (с. 58) С этой точки зрения аллегорический инцест с итальянским Антонио представляет собой запоздавшее возвращение к идентичному. Если мы примем во внимание целеустремленность протагонистки к осуществлению любовного акта, мы можем говорить о мужском виде самоуверенности, который питается самоутверждением над другим существом. Такой вид, кажется, подтверждается "мужским" поведением протагонистки после акта: она просит "мальчика" уйти.<sup>8</sup>

Рядом с этим "нарушением гендерной роли" размышление о неизбежности смерти представляется очень "женским". Во-первых, протагонистка исключает свою семью из переживания смертельного страха, чтобы ее сберечь. Во-вторых, она размышляет о том, что по отношению к сыну она могла бы быть гораздо нежнее, чем по отношению к мужу и дочери (с. 62). Это напоминает теорию Фрейда о самоутверждении женщины рождением сына, через которое она принимает участие во фаллократической власти.<sup>9</sup> В-третьих, самоирония при оценке собственной научной работы<sup>10</sup> свидетельствует не только о "женской скромности", но и о принятии "мужских суждений", согласно которым наука для женщин – всего лишь компенсации недостаточной женственности. Такое сомнение в себе характерно для многих протагонисток женской прозы (Баранская, Грекова, Петрушевская, Полянская, Юзефовская и др.). И комплекс развивается со степенью образования. Какие бы успехи женщина ни достигла

---

<sup>8</sup> "А сейчас, дорогой, иди ... пора." (с. 62)

<sup>9</sup> Freud, S.: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse: Die Weiblichkeit. B: Studienausgabe I. Frankfurt/Main 1969.

<sup>10</sup> "Впрочем, это неважно, чепуха ..." (с. 61)

в своей профессии – все равно у нее остается чувство неполноценности по отношению к собственной женственности, как самому высшему идеалу. Так и протагонистка Рубиной жалеет, что она больше принадлежит к Деборам и Юдифям своего народа. Такие женщины стреляли бы в губернаторов, сидели бы в лагерях, однако женское очарование им чуждо: "сильные, слишком сильные женщины без проблеска тайны во взгляде" (59). Такие размышления вызвал у нее вопрос итальянского парня Антонио об ее идентичности: кто она – еврейка, израильтянка или русская? И интересно, что в этот момент она заботится не о своей национальной или этнической принадлежности, а исключительно о гендерной: "Она думала о том, что за всю свою жизнь не подарила близким ни капли настоящей нежности (...)" (с. 59)

Женственность для протагонистки рассказа предстает совсем в традиционном понятии женской роли – как что-то таинственное, чувствительное, нежное и красивое. Сознание собственной красоты описывается в этом контексте с глубоким уважением перед феноменом красоты вообще. Здесь Рубина пишет женским письмом. Восприятие пространства, а также самовосприятие – сугубо женское: восприятие комнаты гостиницы, былая элегантность которой очаровывает, наслаждение в громадной ванне, рассматривание собственного тела в зеркале ("перламутровая кипень живота", "золотистые удары кисти по обнаженной груди", "масса багряных волос", с. 22), которого она сравнивает живописью Тициана. Восприятие собственного тела подходит под позицию французского феминизма "дифференций". Протагонистка, никогда не испытывающая тоски по сладким чувствам (с. 59), близка к позиции Иригарэ о значении телесного самоощущения и чувственности. Рубина говорит о "неге" (с. 59: "(...) той нежности, что от неги, от слезных прикосновений"), Иригарэ - о "сладострастии" и требует "субъективной идентичности, которая определяется собственным полом".<sup>11</sup> При помощи такой идентичности женщина сама узнает себя и больше не принимается через восприятие Другого.<sup>12</sup>

В маленьком зеркале домашней ванной протагонистка Рубиной увидела только свое лицо, а зеркало ванной венецианской ванной открыло ей ее тело. В первый раз она приняла его, сначала "по-мужски" – глазами, потом "по-женски" – руками и пальцами. Гладить кожу живота и груди, восхищаться длинными и крепкими волосами, радоваться тому, что пока еще она могла стать беременной – это уже и любовь к себе, однако не только вопреки качеству женственности, но вопреки ЖИЗНИ. Я напому о книге *Дневники и письма* восточногерманской писательницы Макси Вандер, умиравшей от рака груди. В одном из

---

<sup>11</sup> Irigaray, L.: *Genealogie der Geschlechter*. Freiburg 1989, с. 241.

<sup>12</sup> См. также Pieper, A.: *Aufstand des stillgelegten Geschlechts*. Freiburg, Basel, Wien 1993, с. 41.

эпизодов она гладит свою грудь перед ампутацией ("Ты моя единственная. Почему я больше о тебе не заботилась?").<sup>13</sup> Прощание с самой собой – это женское прощание; трогать, чувствовать себя, желание остаться с собой ("не в силах расстаться с собой, не в силах уйти от себя"<sup>14</sup>).

С точки зрения композиции рассказа мы могли бы говорить о процессе индивидуации, в котором женщина принимает себя в новом самопонимании как *женщина* и *человек*.

Встреча со смертью изображается в соответствии с женскими принципами: Печаль из-за проходящей красоты, желание испытать беременность, отражение собственного *Я* мужчиной ("Ее волосы, Мишина гордость ...", с. 55). Описание протагонистки в ванне или в любовной постели ассоциируется с восхвалением Суламиты Соломоном в "Песни песней". В центре внимания эротический мотив волос: "на просвет сквозит пурпурно-золотым ... Рубиновые, пунцовые волосы ..." (с. 55) Стрижка или потеря волос репрезентируют потерю женственности (через стрижку или отравление химиотерапией).<sup>15</sup> Бросается в глаза, что все друзья протагонистки – мужчины, которые в первую очередь воспринимают ее как женщину. Такое восприятие соответствует самопониманию трудящихся протагонисток женской прозы. Итак, и в этом рассказе нет подруг. Отношение к женственности вначале ограничивается функцией зеркала: женщина является женщиной по мере внешнего утверждения ее женственных качеств.<sup>16</sup> Самоуверенность не включает любовь к похожему, которую Иригарэ проецирует на отношение между матерями и дочерьми.<sup>17</sup> Протагонистка Рубиной видит свою дочь как копию самой себя и по внешности, и по характеру. Отношения между ними более дружественно-дистанцированные, потому что та повторяет ее "неженственные качества" ("взедливый, настырный, пунктуальный" (с. 13) тогда, когда мать хочет быть Шехераздой.

В связи с конфликтом между *собственным* и *чужим* я вернусь к проблематике инцеста. Венецианский роман протагонистки конкретизирует глубокую, в культуре не осуществляемую тоску по другому – и в то же время собственному. То, что "сестра" в прошедшем времени не тематизировала свою тоску, соответствует культурному дискурсу, согласно которому женская сексуальность пассивна. Однако текст полон примерами эмоционального состояния "вне себя", в которых выражается ответ на желание брата. Один образ показывает

---

<sup>13</sup> Wander, M.: Tagebücher und Briefe. Berlin 1979.

<sup>14</sup> Рубина, Д.: Высокая вода венецианцев, с. 23.

<sup>15</sup> См. там же, с. 56: Брат хочет обрезать её волосы, чтобы мужчины больше не "пялили глаза" на неё; с. 55: "(...) потеряет свои прекрасные волосы как Самсон, и так же останется беззащитной."

<sup>16</sup> См. Lacan, J.: Das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion. B: Schriften I. Olten 1973 (<sup>1</sup> Paris 1949).

<sup>17</sup> Irigaray, L.: Ethik der sexuellen Differenz. Frankfurt/Main 1991, с. 125.

семнадцатилетнюю девушку перед зеркалом: дрожащими ногами, развязывает волосы и осматривает себя ("долго, испуганно и требовательно", с. 42). Этот образ женского самоосознания ищет женское Я пока еще в зеркале, которое должно ответить на вопрос, кто она для Другого. "Оставь ребенка в покое" (с. 56), требует дядя от своего сына и этим подтверждает понятие жажды как мужского элемента. Позже муж протагонистки выгоняет двоюродного брата-наркомана из дома из-за того, что тот довел жену/сестру до рыдания ("завыла в голос, как никогда в своей жизни не выла", с. 58). Оба раза интегрированные в символическом порядке мужчины (дядя и муж) охраняют молодую женщину от повреждения ее зеркального отражения. Кто принадлежит к ней и к дому ее, это, кажется, не ее дело.

Отношение протагонистки к брату, как и к еврейству (как этнической идентичности), базируется на генетических связях, усиливающих смертельную болезнь: "совсем скоро ты станешь для всех них своей" (с. 44); "скоро увидимся" (с. 46). Такое близкое отношение развивается и по отношению к Венеции – символу дискурса преходящего, декаданса и смерти,<sup>18</sup> который и образуется в рассказе. "Высокая вода венецианцев" как название и как мотив рассказа выдвигают семантику поднявшейся и падающей воды в центр внимания. Рыночная площадь залита водой, Венеция "ёжилась под ударами ветра" (с. 48), город кажется готов, исчезнуть в водах лагуны (с. 49) и приглашает протагонистку, "слиться с этим обрученным, как сама она, городом" (с. 47). Русское слово "побратья" (с. 47) не имеет в виду общество сестёр. Однако душа города называется "мужественной и женской" (46). Женское – это город в своем движении, определяющемся морем, в его текущем существовании, в его уязвимости, а также – его способность обнять обреченную на смерть протагонистку своими водными руками ("в любовных объятиях воды", с. 29) и принять навсегда. "Мужественная сторона" города, с другой стороны, существует как культурный памятник, от которого исходит уверенность вечного, непреходящего: при осмотре "Тайной вечери" Тинторетто (с. 29) или архитектурной памяти города с колокольни церкви Сан-Джорджо Маджоре (с. 31).

Такая не мужественная *или* женская, а мужественная *и* женская сторона нам открывается не только в протагонистке, но также в ее отношении к брату и к еврейству, с которыми она соединяется и в смирении и в сопротивлении. Ведь брат – это идентичное *и* противоположное: брат *и* мужчина, художник *и* мужчина, сам по себе чувственный и агрессивный. Каждый год протагонистка приезжает из "женской" Москвы в западный (и "мужественный") С.-Петербург,

---

<sup>18</sup> См. Mann, Th.: Der Tod in Venedig. 1913; См. связь австрийского композитора Gustav Mahler с Венецией (любовь с Selma Kurz, киномузыка (соната нр.3 и 5 в фильме "Смерть в Венеции" Visconti; смерть Richard Wagner в Венеции и прочее.

где брат занимается "немужественной" живописью. Однако его учителя оказываются патриархальными властолюбцами, а над сценой наркоманов господствует brutalный режим. Господство одной или другой стороны можно рассматривать в свете теории Юдит Батлер о временном характере половой идентичности. Идентичность, включая половую, имеет процессуальный характер. Батлер не просто подчёркивает, что полярности существуют друг возле друга, но и показывает их взаимное и неразрывное проникновение.<sup>19</sup> Однако, если Рубина этнические и национальные идентичности в сегодняшнем Израиле описывает как гибридные структуры,<sup>20</sup> то в отношении половой идентичности преобладает дихотомическая констелляция. Когда воды падают, взволнованная душа протагонистки находит спокойствие в "мужественном смирении" (с. 52) и "мужестве", она позволяет себе исполнение раньше отталкивающего желания. После этого вновь заявляются социальные механизмы (во сне муж бросает ее). Протагонистка возвращается домой после того, как приняла полярности своего характера как свои.

В связи с этим мы должны вспомнить символ маски, которую продавец рекомендует и от которой протагонистка в ужасе убегает. Венеция и карнавал относятся друг к другу, как Венеция и смерть. Однако, если карнавал переворачивает иерархии и заменяет идентичности, та маска подчёркивает идентичность носителя. Таким образом, идентичность становится маскарадом, она заменима и преходяща в любой момент: "[...] на ее месте стояло чужое, поглотившее ее, нечто, аноним ... ничто ... Она исчезла." (с. 51). Удовольствия постмодерна в обмене идентичностей здесь не существует. Протагонисты Рубиной всегда в поисках аутентичного именно потому, что границы этнического и национального способа смешиваются в самих себе.

---

<sup>19</sup> См. Butler, J.: *Das Unbehagen der Geschlechter*. Frankfurt/Main 1991. В понимании Butler за „выражениями половой идентичности (гендер)“ не стоят „никакие определяемые полом идентичности (*gender identity*)“. В гораздо большей степени идентичность конституируется этими *приписываемыми* качествами. Пол „нельзя больше рассматривать как внутреннюю правду основ идентичности“, а надо рассматривать как „перформативно инсценированное значение“, которое вызывает „пародийное многообразие и разрушающую игру сформированных культурой значений половой идентичности (*gendered meanings*)“ (с. 36, 49, 61); См. также Butler, J.: *Kontingente Grundlagen. Der Feminismus und die Frage der 'Postmoderne'*. B: *Der Streit um Differenz. Der Streit um Differenz. Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart*. Сост. S. Benhabib, J. Butler, D. Cornell, N. Fraser. Frankfurt/Main 1993, с. 31-58.

<sup>20</sup> Позиции гибридности я использую как модель мышления, которая понимает культурные контакты не больше „как существенные или же дуалистические“, а как образующие „третье пространство“, „в котором сущность идентичности и альтеритета моделируется не как мультикультурное сосуществование, не как диалектическое посредничество, а как неделимое, многостороннее проникновение центра и периферии, угнетающих и угнетённых“ (Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Сост. A. Nünning. Stuttgart/Weimar 1998, с. 221).

Ответ протагонистки на смерть проходит три ступени. От традиционного самопонимания красивого зеркала культуры и грустной его потери она приходит к новому самопониманию и к новой печали о самой себе, чтобы наконец вернуться на свое место в семью и профессию, пока это разрешает судьба: "Надо было дожить опущенное ей время, как доживал этот город: щедро, на людях."

Ибо каждая жизнь временна так же, как и Венеция.

Это свидетельствует об исполнении долга и принятии земных законов и является мужским и женским одновременно. Тот факт, что протагонистка выпустила в жизнь и свои женские и свои необузданные качества, поддерживает эмансипационное притязание рассказа на целостного субъекта.

Ирина Савкина,

университет г. Тампере

### **Феминизм по-русски: случай А. Марининой**

«Зритель любит детективы», как говорил приятный закадровый голос в культовом фильме «Берегись автомобиля». Любит их и читатель - и в неменьшей степени, по-моему, должен любить их исследователь, изучающий социальные, культурные и пр. пристрастия и стереотипы так называемого массового сознания, так как формульная (массовая, популярная, тривиальная) литература всегда работает с теми CONCESSIONS и концептами, которые им освоены и принимаются (одобряются), более того она есть «форма выражения коллективных желаний и фантазий читательского большинства»<sup>1</sup>. И она сама «творит мифы и оказывает влияние»<sup>2</sup>.

В России последнего времени чрезвычайно широкое распространение получил женский детектив самых различных разновидностей.

Как бы ни удивлялись и не возмущались на первых порах критики (« о Боже, кто их замолчать заставит!» и т.п.), но очевидно что ничего особенного и национально специфического в этом явлении нет. Во многих странах (и в первую очередь – в США и Великобритании) женщины - лидеры детективного жанра. Женский детектив не раз становился объектом научного исследования, в том числе и с позиции феминистской критики, для которой такие тексты - лакомый кусочек <sup>3</sup>, потому что женщина в роли сыщика, ведущего расследование (а не жертвы, помощника,слуги и т.п.) - это как бы по определению вызов традиционной патриархатной модели пассивной, эмоциональной, зависимой, приносимой в жертву и т.п. представительницы «второго пола».

Американская исследовательница Кимберли Дилли (Dilley) делит все женские криминальные произведения на три подгруппы, в зависимости от статуса главной героини, которая может быть сыщицей-любительницей, часто совершенно случайно, волею судеб оказавшейся в этой роли, частным детективом-одиночкой или женщиной-полицейским. Из всех этих жанровых разновидностей, именно последняя наиболее «связанная», представляющая меньше всего возможностей женщине-автору экспериментировать со своей героиней в духе разного рода феминистских новаций. Женщина-сыщик и особенно женщина-полицейский, по замечанию Дилли, в определенном смысле «метафора всех женщин, так как они все часть мира, где доминируют мужчины»<sup>4</sup>.

В отличие от К. Дилли, Сандра Томк (Sandra Tomcs) считает, что женский детектив с феминистским акцентом проделал некоторую эволюцию или, вернее сказать, с ним произошла некоторая метаморфоза во времени. Если начинавшие в 80-е годы в жанре “крутого (hard-

bolied) феминистского детектива” Сью Графтон или Сара Парецки писали тексты про частную сыщицу, своего рода “одинокую волчицу”, которая бунтует против репрессирующих социальных институтов, то в 90-е годы, по мысли Томк, появляются тексты совсем иного рода. Томк называет их “феминистские мистерии после феминизма” (the feminist mystery after feminism). Анализируя английский телесериал «Prime Suspect», роман Патриции Корнвелл (Patricia D. Cornwell) «Postmortem» и знаменитый американский триллер «Молчание ягнят», Томк замечает, что здесь перед нами в роли детектива – не женщина-аутсайдер, а женщина-полицейский, член организованного коллектива по борьбе с преступностью. Несмотря на свой особый статус, женщина-сыщик уязвима, она реально или метафорически всегда может оказаться на месте женщины-жертвы, убийство которой расследует. Дело не в личных ее качествах, пределах смелости, границах чувствительности и т.п. – дело в мизогинной природе преступления как такового. Женщина беззащитна перед таким преступлением по определению; прекращение работы, отказ от расследования – не являются в реальности альтернативным выбором. Чтобы защититься – ей надо вернуться в объятия мужского коллектива, полицейской семьи; ей надо признать, что она всегда и только женщина (как и определяют ее мужчины-коллеги), а не «профессионал, один из этих парней» (как определяет себя она сама). Чтоб не поменяться местами с жертвой, женщине-полицейскому надо пойти на вынужденный компромисс с мужским истемблишментом, и таким образом она оказывается пойманной в тесную ловушку, страдая от клаустрофобии<sup>5</sup>. Феминистские интенции такой криминальной драмы заключаются в обнажении патриархатной природы акта преступления и, в конечном счете, – патриархатной структуры социума.

Чтение исследовательской литературы о женском детективе, как, впрочем, и внимательное чтение самих текстов, позволяет сделать несколько достаточно очевидных выводов.

Во-первых, здесь, как и вообще в случае формульной, «схематичной» литературы,<sup>6</sup> мы имеем дело с повторяющимся и достаточно жестким жанровым шаблоном, что объясняет некоторые удивительные, на первый взгляд, переклички в творчестве писательниц, заведомо незнакомых с произведениями друг друга. Во-вторых, жанр женского детектива как бы по определению, а точнее по особому статусу героини-сыщицы обсуждает, если не прямо, то косвенно, феминистскую проблематику, то есть, вопросы о месте женщины в патриархатном мире, о моделях женственности, о гендерных стереотипах, их влиянии и границах власти. В-третьих, именно полицейский роман является самой «связанной» разновидностью женского детектива, в которой фантазии автора очень сильно ограничены «предлагаемыми обстоятельствами» работой героини внутри государственных институций, то есть, необходимостью действовать скорее по «писанным», чем по «неписанным» правилам и

инструкциям. Почти безграничная, игровая свобода таких перформативных жанров как «иронический детектив», «шоу-детектив» и прочих, происходящих в условно узнаваемом времени и пространстве приключений, так сказать, частной сыщицы Софьи Сидоровны - Золотой ручки, которая «одним махом семерых побивахом», в полицейском (милиейском) романе в принципе немыслима. Таким образом, именно названная выше разновидность жанра точнее всего описывает границы возможного или допустимого для данного времени и места.

Поэтому для обсуждения вопроса о том, как феминистская тематика и проблематика выразилась в российском женском детективе, как этот жанр представляет «коллективные желания и фантазии читательского большинства» по этому поводу и какой миф о национальных особенностях русского феминизма он творит, я хочу обратиться к творчеству Александры Марининой, которая к тому же по праву считается одной из «пионерок» утверждения на русской почве названного гендерно маркированного жанра. Тем более, что именно по поводу текстов Марининой в критике чаще всего появляется слово «феминизм» в серьезном или ироническом контексте.

«У Марининой происходит любопытная подмена – главным интеллектуальным центром становится женщина, что вроде бы противоречит советской детективной традиции, согласно которой женщина может быть лишь другом и помощницей. Но этот (не побоюсь этого слова) феминизм почему-то не вызывает читательского раздражения, этот факт даже не замечается, как будто так и должно быть. Может быть, недаром автор навязчиво педалирует некрасивость героини; ведь красивые женщины в ее романах - всегда персонажи отрицательные. Такое наложение новой политкорректности на привычные сюжетные матрицы и порождает особенно приятное чтение»<sup>7</sup>.

«Каменская – воплощенная женская мечта: сохранить все женские слабости, но быть круче всех мужиков. За образ Каменской, которая держит своего мужа под каблуком, не умеет готовить и не хочет иметь детей, Маринину часто причисляют к феминисткам. Но она к ним совсем не относится – поэтому и нашла путь к сердцу российских, чуждых феминизму, женщин. Амбиции героини Александры Марининой не идут дальше того, чтобы показать мужчинам, что она тоже кое-что может – и получше, чем они».<sup>8</sup>

«Анастасия, как и Маринина, – плохая хозяйка и домашним хлопотам предпочитает работу. И поэтому муж героини ее книги, впрочем, как и самой писательницы, взял всю женскую ношу на себя. Феминистки в восторге».<sup>9</sup>

Вопрос о феминизме так или иначе возникает в большинстве интервью с писательницами. Приведу лишь один пример: «– Ваша героиня – довольно нестандартная женщина для нашей страны. Благодаря ей вас многие считают феминисткой. – Ничего

подобного. Я просто пишу про себя. У меня отношения с мужем именно такие. И на работе <...> все ко мне бегали за советом. Я не считаю себя особенной – по вкусам, по пристрастиям, по всему остальному я довольно типичная россиянка. Хотя, конечно, я раздумывала о положении женщины у нас, потому что я сама прошла через все это. Если вы женщина, вам не положено. Женщина – вас не назначают. И через страдания, что я – моральный урод, потому что не такая, как все. Мне казалось: что же такое – все хотят иметь детей, а я не хочу. Все женщины стремятся быть замужем, а мне как-то все равно. Наверное, это неправильно. Но я решила создать такую героиню, полагая, что чем-то, может быть, она отличается от окружающих (как любой человек). Но тем не менее она не является невероятной по своим характеристикам».<sup>10</sup>

Я сама писала уже однажды об этом непоследовательном, боящемся себя самого феминизме Марининой<sup>11</sup>. Чтобы обойтись без самоповторений, приведу еще одну, довольно обширную цитату: «Серия марининских романов — безусловно феминистские произведения, однако при этом — безотчётно, подсознательно феминистские. Не правда ли, знакомая картинка: сидит какая-нибудь знаменитая дама и, поспешно уведомив слушателей, что она — не феминистка, но... — далее начинает выдавать сентенции, вполне достойные этого понятия. Маринина, судя по всему, тоже из этой когорты дам: что сей феминизм означает, они точно не знают, но поскольку смутно слыхали, будто нечто неприличное, всегда спешат откреститься заранее. Впрочем, суть течения сформулировать и впрямь не так-то просто <...> феминизм вбирает в себя множество различных, порой взаимоисключающих воззрений. Так что при слове феминизм всегда следует уточнять: какой? У Марининой он вполне центристский, умеренный, можно сказать, бархатный. Тот, что всего лишь проповедует: каждый (то есть не только, заметьте, женщина, хотя она — как существо наиболее “репрессированное” социально и культурно — прежде всего) должен жить так, как хочет, может, считает для себя нужным, а вовсе не так, как предписывается окружением, предрассудками и прочим. Настя Каменская не просто выбирает для себя нехарактерную для своего пола (в нашем, разумеется, обществе и нашем восприятии) профессию, она и в частной повседневной жизни ведёт себя не так, как “должна” (кому? чему? почему?) женщина её лет. Из джинсов-кроссовок не вылезает, косметикой раскрашиваться не любит, хозяйка весьма посредственная. Имея просто-таки идеального мужа, нет-нет да и подумывает: а надо мне было замуж-то? Да и к деторождению, похоже, ни малейшей склонности не испытывает. По закону любого жанра такое существо не может не быть чудовищем. У Марининой — очень даже напротив. Её Настя — ей-богу, отличная девушка, пользующаяся расположением окружающих — и любовью читателей».<sup>12</sup>

Словом, вероятно, надо согласиться со словами американской славистки Елены Гошило, которые приводит в своей статье Елена Трофимова, о том, что «Маринина со своей

Настей Каменской сделали для изменения патриархатного менталитета в России много больше, чем все феминистские движения и научные работы»<sup>13</sup>.

Однако, сделав подобный вывод, надо задать второй и, с моей точки зрения, более важный вопрос: если Маринина, как предположила петербургская газета «На дне», «зеркало русского феминизма»<sup>14</sup>, то каков этот русский («новорусский, народный», как пишет та же газета) феминизм, каковы его национальные особенности и как он развивается во времени. Для ответа на последнюю часть вопроса «серийный детектив» Марининой о Каменской, который продолжается уже без малого десять лет, тоже весьма выгодный исследовательский материал.

Для того, чтоб обозначить именно *национальную* специфику, не перепутать ее с общими моментами жанрового канона, о чем уже говорилось выше,<sup>15</sup> я бы хотела выбрать в качестве фона для сравнения популярную финскую писательницу Леену Лехтолайнен, автора восьми романов о женщине-полицейском (сыщике) Марии Каллио. Кроме поставленной выше главной задачи, я хотела бы введением «экзотического» финского материала, решить и еще одну, – «побочную»: показать отличие «феминистского детектива» Лехтолайнен от англоязычной модели, той «феминистской мистерии», которую описала Сандра Томк, для того, чтобы разрушить представление о гомогенности некоего «западного» образца, под которым в российской критике имплицитно почти всегда понимается американская модель.

Одна из самых популярных в современной Финляндии писательниц Леена Лехтолайнен (род в 1964 г.) опубликовала свою первую книгу в 12 лет, вторую – в 14. Она изучала финскую литературу в университете Хельсинки, выбрала для себя научную карьеру и написала кандидатскую диссертацию об истории финского женского детектива. По ее словам, именно вопросы, вызванные диссертацией и вдохновляющее чтение как финских, так и англоамериканских женских детективов подтолкнуло ее на написание первого собственного романа («Мое первое убийство» *Ensimmäinen murhani* (1992), в центре которого женщина, ведущая расследование убийств – Мария Каллио<sup>16</sup>. С тех пор Лехтолайнен написала 8 романов о Каллио и один роман и несколько рассказов, где Каллио – побочный герой.

Писательская история бывшего подполковника милиции и автора кандидатской диссертации «Личность осужденного за насильственные преступления» Марии Анатольевны Алексеевой (А. Марининой) достаточно известна. На настоящий момент она автор 25 романов, главной героиней которых является оперативник Анастасия Каменская.

Между романами Лехтолайнен и Марининой много сходного. Разумеется, как уже было не раз отмечено, большая часть переключек объясняется выбором жанровой модели, тем более,

что и Лехтолайнен и Маринина пишут в жанре, соединяющем черты классического детектива и полицейского романа, используя общий с мыльной оперой принцип «серийности»: то есть, каждый текст содержит детективную загадку, но важен и социальный фон, большое значение придается морально-дидактической составляющей. Кроме того в центре читательского интереса и история главной героини, развивающаяся из романа в роман, а также история ее ближайшего окружения – прежде всего коллег по работе: рассказ об их жизненном сюжете, их отношениях с героиней тянется из текста в текст, создавая тот эффект «замочной скважины», на котором держится мыльная опера<sup>17</sup>.

В центре и той и другой серии женщина-сыщик, профессиональный полицейский/милиционер; для обеих писательниц важно соблюдение (или имитация) принципа «реальности» – то есть, все происходящее погружено в реальный социальный контекст и ими мотивировано. Героини одного возраста (в ходе серии взрослеют от 30-ти до 40-ка лет), обе сначала незамужем, потом выходят замуж, у обеих мужья университетские ученые, доктора математических наук, обе выглядят моложе своих лет, у обеих нет близких подруг и друзей, кроме мужа и сослуживцев, обеим повезло с понимающим начальником, обе не особенно озабочены своим внешним видом, предпочитают ходить в джинсах и свитере, не любят ухаживания, сначала не умеют готовить, а потом осваивают кулинарную науку (Марию к этому вынуждает то, что у нее в последнем романе уже двое детей – шестилетняя дочь и двухлетний сын), и даже фамилии у них похожи – Каллио (Скала) и Камен(ская). Обе работают в полиции, в отделе, занимающемся преступлениями против личности в мужском коллективе, обе в какой-то момент начинают тяготиться этим и уходят на более спокойную работу (Настя в информационно-аналитическую службу главка, Мария – в юридическую контору), но потом возвращаются к любимому делу.

На фоне такого отчасти даже пугающего сходства особенно бросаются в глаза различия. различия. Я остановлюсь только на интересующих меня аспектах, связанных с моделями женственности и «феминистским вызовом»

Судя и по романам Лехтолайнен и по тем комментариям, которые она как автор и исследователь в одном лице дает по поводу своих книг, у финской писательницы при создании романов имела четко осознанная задача: она хотела создать такой тип женщины, «которая была бы рада собственной женственности, но в то же время хотела бы разрушать связанные с половой принадлежностью устоявшиеся ожидания. Которая могла бы делать что угодно и идти куда угодно»<sup>18</sup>. Лехтолайнен пишет, что сознательно дала своей героине имя Мария, вызывающее целый ряд классических женственных ассоциаций и «мужественную фамилию»<sup>19</sup>. Каллио – небольшого роста – 162 см, с короткими рыжими волосами, «смесь извилистых женских форм и мышц»<sup>20</sup>.

Лехтолайнен подробно (хотя и не сразу, а малыми «дозами», из романа в роман) рассказывает историю Марии, во многом объясняющую, почему она стала именно такой женщиной. В романе «Смертельная спираль» (*Kuolemaspiraali*), нося собственного будущего ребенка, Каллио вспоминает, что была разочарованием для своих родителей, которые ждали мальчика. В романе «Перед тем, как уйти» (*Ennen lähtöä*), более подробно анализируя свои детские отношения с матерью и отцом, Мария замечает, что ее детский гендерный «бунт» был стремлением пойти навстречу желаниям родителей – из нелюбимой дочки превратиться в любимого сына: она начала играть в футбол, играть на бас-гитаре в мальчишеской панк-группе; но и в этом качестве родители ее тоже не одобрили, за ней в семье закрепился статус «ужасного ребенка». С младшими сестрами, которые были «нормальными девочками», у Марии отношения дружбы-вражды (это интересно описано в романе «Досада» (*Harmin paikka*): сестры обожали ангелов Чарли, Мария ненавидела этих киноангелов, добросовестных исполнительниц мужских прихотей. В романе «Медное сердце» (*Kuparisydän*), возвратившись в маленький город своего детства, Мария встречает свою первую, подростковую любовь – Джонни и вспоминает, что девочкой в мечтах о «рыцаре» она всегда представляла ситуации, как *она* его спасает из беды, а не наоборот, как бывает в сказках. И уже во взрослой жизни она действительно спасает Джонни, вынеся его на себе из заминированной шахты, и тем самым навсегда изживает травму неразделенной первой любви. Учась в университете, она тоже была «девиантной девочкой» (об этом узнаем в романе «На ветру» (*Tuulen puolella*).

Мария сама выбирает себе мужа, и именно она решает, стоит ли им жить вместе. Антти хочет детей, а Мария – нет, но когда происходит непредвиденная случайность («спираль подвела»), она после долгих размышлений решается стать матерью.

Но все же самое главное в ее жизни – работа. Она делает карьеру в отделе насильственных преступлений полиции города Эспоо, перед уходом в декретный отпуск получая место начальника «убойного отдела». Почти сразу после рождения ребенка Мария выходит на работу, потому что не получивший место на кафедре в университете Антти хочет сделать «перерыв» в карьере, уходит вместо нее в «родительский отпуск» и два года сидит дома с маленькой дочкой. Чуть не потеряв дочь (в почтовый ящик подложили взрывчатку, почту обычно брала маленькая Ида, но в этот раз на ящик раньше прыгнул кот), Мария решается на второго ребенка, и рождение сына вынуждает ее сделать двухгодичный перерыв в работе. В последнем романе она возвращается на свое место начальника отдела по борьбе с насильственными преступлениями.

То есть, героиня Лехтолайнен – уже с детства сознательно и последовательно бунтует против гендерных стереотипов, ограничивающих возможности ее личностной и

профессиональной самореализации, она во всех обстоятельствах сама делает выбор и берет ответственность за него на себя.

Во многих романах «Каллио-серии» внутри расследований специально затрагиваются или оказываются в центре важные для «женских исследований» и феминистских движений темы: домашнее насилие, сексуальные перверсии, сексуальные домогательства, принудительное материнство (по религиозным причинам), вообще ограничения женщины из-за религиозных и этнических предубеждений, гомосексуальные семьи и их статус, проблемы традиционной консервативно-патриархальной семьи, мачизм и расизм, их взаимозависимость и т.д. и т.п. В нескольких романах важным героем является антипод Марии, ее коллега Петса Штрём, агрессивный сексист, который не может простить Марии ее успешности и все время хочет поставить «эту бабу» на место. Штрём является вторым претендентом на место начальника отдела по борьбе с насильственными преступлениями и, хотя у него больше опыта (а у Марии «бумаги лучше»), получает это место она. Реакция Штрёма предсказуема: «Это гребанная несправедливость если какая-то сидящая в декрете баба получит должность, принадлежащую мне»<sup>21</sup>. Объяснение такой несправедливости у него тоже наготове: «Этот поросенок в твоём животе – он от мужа или от начальника?»<sup>22</sup>. Штрём кончает жизнь самоубийством – после этого Мария все время его вспоминает и тоскует о нем и даже испытывает чувство вины перед ним.

Хотя Мария работает в мужском коллективе (в котором впрочем, большинство мужчин – ее хорошие товарищи или даже друзья) и у нее нет близких подруг, но она не показана как приятное (или досадное) исключение из правил. Почти в каждом романе у нее есть двойники – женщины, которые (разной ценой, иногда ценой жизни) бросают вызов и рискуют быть не такими, как положено «хорошей девочке» или «нормальной женщине». Например, ее коллега, вьетнамка Анна Ванг, говорит: «я выбрала эту профессию по той же причине, по которой некоторые начинают рисовать граффити или заниматься транспортировкой наркотиков. Я хотела разорвать с культурой родителей, а что может быть более финским, чем женщина-полицейский»<sup>23</sup>.

Мария всегда последовательно стоит на либерально-феминистской позиции, хотя каждое ее «завоевание» на этом поприще приводит не к идиллии, а к актуализации новых проблем. Особенно это видно в последнем романе «Ярость крови» (*Veren vimma*), где под сомнение ставится феминистский тезис о женской солидарности, сестринстве. Приверженная этим принципам Мария выбирает для работы в своем отделе из нескольких претендентов женщину Урсулу Хоукайнен. Однако Урсула абсолютно непохожа сестричку «во феминизме». Она модно и сексапильно одевается, флиртует со всеми коллегами и соблазняет их, разрушая атмосферу рабочего товарищества, то есть, она просто живое воплощение образа женщины-

соблазнительницы. При этом Урсула самоуверенная, амбициозная, честолюбивая, профессионально состоятельная женщина. Никакой женской солидарности не получается, напротив возникает острый конфликт, соперничество. Урсула обвиняет своего коллегу Пекку Койву в сексуальных домогательствах, а Койву утверждает, что все как раз было наоборот: Урсула пыталась его соблазнить, но была отвергнута и теперь мстит. Мария много лет знает Койву, он ей почти как брат, она верит ему. Но Урсула обвиняет Каллио в том, что она лишь слышит феминисткой, а в реальной ситуации разделяет патриархатное убеждение, что женщина – эта та, кто всегда лжет. Мария оказывается перед сложным вопросом: как ей, стороннице феминистских взглядов, вести себя в этой ситуации, когда соблазнитель и провокатор – женщина, которая интерпретирует ее решение как предательство и нарушение принципа политкорректности. Когда Каллио ради истины и дружбы становится в этой ситуации на сторону мужчины, Урсула обвиняет Марию в том, что ее феминизм – для единоличного пользования: она лишь хочет с его помощью обрести власть над мужчинами, и женщины-конкуренты ей в этой ситуации не нужны.

Каждое достижение Марии на ее пути разрушительницы стереотипов приводит к возникновению проблем следующей степени сложности.

Получив должность начальника «убойного отдела», став лидером мужского коллектива, Мария чувствует, что мужчины-подчиненные видят в ней «материнскую фигуру». «Меня раздражает, что в качестве начальника я должна быть всепонимающей матерью, которая сквозь пальцы смотрит на проделки детей. А если я не такая – то тогда я «гребаная баба»<sup>24</sup>. В последнем романе показано, как обостряются ее отношения с мужем, который тоже «бунтует», говоря о том, что он не может вечно быть только образцом равноправия, входить в ее интересы и жертвовать своими. Для Марии очень нелегко даже при почти идеальном (либерале, «зеленом», феминисте) муже соединять без ущерба роли жены, матери и успешной карьерной женщины.

В отличие от американских и английских произведений, которые анализировала Сандра Томк, в текстах Лехтолайнен нет идеи некоего тупика – беззащитности женщины перед преступлением как таковым, потому что преступление – это своего рода синекдоха патриархатного мира, в котором женщина – всегда в роли жертвы. Мария Каллио многократно попадает в ситуации, когда она может оказаться в роли жертвы (например, в «Смертельной спирали» – когда беременная на восьмом месяце остается один на один с преступником, совершившим убийство на сексуальной почве). Но она никогда жертвой не становится, она справляется со своим страхом и чувством беспомощности. И ситуация в обществе не показана как фатально безнадежная: она постепенно, но меняется. В романе «Перед тем как уйти» Мария с приятельницей сидят в кафе и смеются, разговаривая, и Каллио думает: «Смеющиеся

женщины в нашей молодости привлекали внимание и вызывали неодобрение... а теперь Иде (ее дочери - И.С.) можно играть в рок-группе мальчишек или девчонок – ни то , ни другое никого не удивит»<sup>25</sup>.

Но, с другой стороны, Лехтолайнен постоянно подчеркивает, насколько сильны патриархатные стереотипы. Например, Мария замечает, что ее сын и дочка играют в «мальчишеские» и «девчоночьи» игры, как ни стараются они с мужем разрушать эту связь детских игр с гендерными ролями.

Героиня постоянно проблематизирует, снова и снова обсуждает существующие гендерные стереотипы, выработанные модели женственности: во всем ли плоха была женственность бабушки – матери восьми детей? имеет ли право Ида выбирать такие модели женственности, которые не кажутся правильными ее матери? «Я не знаю, какой образ женственности я хотела бы дать Иде»,- признается комиссар Каллио.

Таким образом, можно сделать вывод, что в детективной серии Лехтолайнен есть своего рода феминистский вызов, феминистский подход к темам и героине; писательница постоянно и последовательно возвращается к обсуждению конструктов женственности, их социальной обусловленности, способов их деконструкции. Где границы возможного? Есть ли они? Как их расширить? Расширение границ создает новые проблемы, которые должны быть артикулированы и отрефлексированы. Безусловно в таком понимании и представлении феминистских идей есть финские национальные особенности. Финляндию нельзя назвать страной победившего феминизма, но я уверена, что большая часть читательниц готова отождествить себя с Марьей Каллио, а для читателей-мужчин Каллио узнаваема, хотя, наверное, у кого-то и вызывает раздражение.

У А. Марининой, автора 25-ти романов об Анастасии Каменской, судя по всему, не было никакой сознательной феминистской задачи, хотя, как уже было показано, во многих отзывах ее и называют феминисткой

Как мне кажется, и критические работы о Марининой, и ее интервью и – прежде всего – ее романы дают представление о том, что вкладывает в понятие «феминизм» современное русское массовое общественное сознание, каким образом происходит деконструкция патриархатных концептов женственности и происходит ли она вообще. Можно ли в этой ситуации говорить о деконструкции? косметическом ремонте? мимикрии? реконструкции?

Все разговоры о марининском феминизме связаны, конечно, с фигурой главной героини – Насти Каменской. В первых романах серии постоянно говорится, что она необычная женщина: не умеет чувствовать, живет умом, самодостаточна, независима (в том числе и в

личной жизни) и т.п. Настя – «компьютер на двух ногах», этакая голова профессора Доуэля плюс живое, страдающее, болезненное, ленивое, боящееся физических нагрузок (женское?) тело. Ее телесность (биологическое) репрезентирована травматическим, и одновременно все время подчеркивается, что она асексуальна, не хочет становится женой и матерью. Она может и умеет быть привлекательной и даже красивой, но не хочет тратить на это время и силы. В первом романе серии «Стечение обстоятельств» между Настей и ее коллегой Захаровым происходит следующий диалог: «– Если ты все это умеешь, то почему не пользуешься? <...> – Зачем своих обманывать? Какая есть – такая есть. – Мужики по тебе сохли бы. – Мне неинтересно. – Почему? Нормальной женщине это должно быть интересно. – Я не нормальная женщина. Я вообще не женщина. Я – компьютер на двух ногах. И потом они все равно увидели бы меня после ванны. И вся любовь тут же кончилась бы»<sup>26</sup>.

Женственность представляются в первых романах серии не как «природная сущность», а как фантазм, порождаемый мужским взглядом, проекция мужских сексуальных желаний и патриархатных гендерных установок. Прямым транслятором такого рода установок особенно очевидно выступает мачо-сыщик Стас Тихонов до своего «преображения» вследствие встречи с Татьяной Образцовой-Томилиной («Черный список»). Передав повествование в этот романе мужчине-нарратору, Маринина дает высказаться подобной мужской точки зрения. В следующем романе «Посмертный образ» Стасов вспоминает информацию о Каменской, которой владеет перед тем, как начать с ней совместную работу: «мозг как компьютер, усталости не знает, любовница Колобка, «не работает наравне со всеми, все в основном в кабинетике сидит да кофеек попивает И будто лапа у нее волосатая есть в Министерстве, в главке»<sup>27</sup> Увидев Каменскую, Стасов воспринимает ее так: «белесая, неврачная, с длинными стянутыми на затылке волосами. Интересно, как у нее с мужиками? Небось старая дева»<sup>28</sup>. То есть, женственность, с точки зрения патриархатного мужского взгляда, – это прежде всего телесность: привлекательная сексапильная внешность. Успешность женщины в деле может быть мотивирована только через идею мужского покровительства. Каменская прекрасно осведомлена о таком взгляде со всеми его плюсами и минусами, более того, она понимает, как с помощью такой отраженной женственности можно манипулировать мужчинами. Эту «женственность» Настя может на себя «надеть» или на себе «нарисовать», что она и делает в романах «Стечение обстоятельств», «Игра на чужом поле», «Убийца поневоле», «Светлый лик смерти» (здесь этим же занимается и Т. Томилина), «Не мешайте палачу». «А попробую-ка я быть ЖЕНЩИНОЙ», - думает Настя. Собираясь на завтрак, она подкрасила белесые брови и ресницы, чуть тронула губы помадой, надела яркую майку, а поверх нее не куртку от спортивного костюма, а длинный черный пушистый жакет, на фоне которого распущенные светлые волосы казались почти платиновыми <...> Движения должны быть грациозными,

мягкими, волнующими, как будто на тебя смотрит самый лучший в мире мужчина и ему необходимо понравится, зажечь желанием, влюбить в себя мгновенно и надолго <...>. Тело ее было послушным, она умела имитировать любую пластику, от стремительной разгневанной тигрицы до умиротворенной кошечки <...> Но одно дело потренироваться <...> и несколько минут попридуриваться перед зеркалом, и совсем другое – длительное время находится «в образе». Очень утомительно. Пора заканчивать этот цирк».<sup>29</sup> Сотворение такой перформативной женственности («образа») не составляет для нее особого труда, но оно бессмысленно вне «рабочего задания» («зачем своих обманывать?»), оно мучительно (часто связано с болью), оно не дает «удовольствия». «Она вышла из ванной, сверкая зелеными кошачьими глазами, изящная и элегантная <...> Да, Настя Каменкая была сейчас очень хороша собой. Она знала, что через полчаса начнут гореть и чесаться покрытые тенями веки, через час отекут и начнут невыносимо болеть ноги, зажатые в узкую колодку модных туфель, а через два часа появится и с каждой минутой начнет усиливаться ощущение, что в глаза насыпали песка, предварительно пропитав его серной кислотой <...>. Вечер будет мучительным, но Леша заслужил свой праздник, и он его получит»<sup>30</sup>. Правда такой «цирк» с переодеваниями и перевоплощениями может иметь терапевтический эффект. В романе «Мужские игры» в момент жесточайшего душевного кризиса, Настя посреди ночи начинает рисовать себе другое лицо, «лепить» из себя *Другую*. «Нежный овал лица, под высокими скулами легкие тени. Теперь контуры губ. Помягче сделать или, наоборот, пожестче? Пожалуй, помягче, она же не женщину-вамп лепит <...>. Когда Настя около полуночи закончила возиться с глазами, она чувствовала себя намного лучше. В какой-то момент она настолько перестала узнавать свое лицо в зеркале, что ей показалось, что она делает макияж посторонней женщине»<sup>31</sup>. Но все-таки отчуждение от себя с помощью маскарада женственности, не удастся. Случайно увидевшая Настю «в образе» Ирочка Милованова говорит: «Ты посмотри, что ты с собой сделала! <...> С точки зрения красоты это здорово, глаз не оторвать, но ведь это не ты. Это не ты, Настя. До какой степени ты должна стать противна самой себе, чтоб захотеть перестать быть собой»<sup>32</sup>. Пол – это то, что можно надеть и снять (в отличие от концепции Батлер у Марининой – почти «безнаказанно»). Как пишет Элен Мела, «Настя «надевает» женственность, как чужой наряд, и превращается из гадкого утенка в прекрасного лебедя, из замарашки – в Золушку. По мнению Бодрийяра, сущность женского выражается в стратегии видимости и в игре со знаками женственности в целях соблазна, но в случае Насти игра с масками и внешними атрибутами женственности совершается не ради соблазна, а лишь в рамках работы детектива»<sup>33</sup>. Приведенные выше цитаты, как мне кажутся, опровергают последний тезис Мела – перформанс женственности разыгрывается Каменской не только исключительно ради работы, но и непосредственно для себя самое, это нечто иное, чем

преображения Шерлока Холмса с целью выследить преступника. Для Насти первых романов женской сущности нет, есть ограничивающее некоторые физические возможности тело и ограничивающий интеллектуально-социальную реализацию социум (все время, например, говорится о границах карьерного роста для женщины в системе МВД и т.п.). Но, несмотря на эти ограничения, Настя в первых романах серии позволяет себе быть такой женщиной, какой она себя сама выбрала.

На первый взгляд кажется, что здесь прямые параллели с Лехтолайнен. Но это не совсем так, потому что мотивация, ответ на вопрос, почему Настя *другая* и *особенная* женщина, – не имеет ничего общего с «феминистским вызовом». У Марининой все дело в том, что ей «повезло» – повезло с родителями (прежде всего с отчимом), повезло со всепонимающим отцом-начальником Колобком<sup>34</sup>, повезло с мужем – соратником, учителем, подругой-утешителем Чистяковым. Три идеальных отца-покровителя создают «пространство сцены», на которой Настя может «делать своей гендер»: Настю/Асю/Стасю, в которой соединяются самодостаточность и безответственность – незащищенность ребенка. Тема Насти-ребенка развивается последовательно с самого первого до последнего романа. «Господи, какой ты в сущности еще ребенок»<sup>35</sup>, – говорит ей Чистяков; «ребенок Настя» – зовет ее отчим. В романе «Реквием» сама Настя размышляет о том, что она все еще чувствует себя на работе первоклашкой. «Мне и Колобок всегда говорил, что пора становится большой девочкой и Иван сегодня повторил это»<sup>36</sup>. Причем, это восприятие Насти как ребенка другими и ею самой, кажется, усиливается по мере взросления героини. По крайней мере в последних романах серии оно акцентировано сильнее, чем в первых. В книге «Незапертая дверь» Каменская думает: «Мне сорок один год. И что же я как девочка малолетняя всех боюсь? Начальников боюсь, родителей боюсь, даже просто людей на улице боюсь, а вдруг меня кто-нибудь обидит, оскорбит, нахамит мне? Ну сколько можно всех и всего бояться?»<sup>37</sup>

Именно мужчины-менторы образуют такое защищенное пространство, где «ребенок Настя» может быть детективом Каменской и такой женщиной, как она хочет. Поэтому, как только одна сторона «волшебной коробочки» падает – уходит Колобок, а другие шатаются (напряжение в отношениях с отчимом в «Мужских играх» и с Чистяковым в «Я умер вчера») – конструкция начинает валиться. Настя перестает быть ИСКЛЮЧЕНИЕМ из правил.

Через страхи, травмы и опыт взросления/старения она обретает себя, и это оказывается ничем иным, как возвращением в хорошо известные границы «женской сущности» и «женской природы» со всеми ее апробированными незатейливыми чертами: она становится нежной и страстной женой («Призрак музыки»), «матерью» (история со щенком в «Седьмой жертве»), хозяйкой и кулинаркой («Незапертая дверь»), чувствительной и даже плаксивой («Соавторы»), пассивной ученицей («Закон трех отрицаний»). Она энергично учится быть «такой, как все»

(«Если бы не Леша, она сумела бы быть такой , как все» )<sup>38</sup>. Когда у нее временно поселился ее друг и коллега Коротков, «это заставляет Настю быть хозяйкой, пусть не в полной мере, но хотя бы отчасти. Готовить еду, покупать продукты, мыть посуду, одним словом, делать все, что всегда делают все нормальные женщины и чего никогда не делала она, во всяком случае на протяжении целой недели. Периодически, раз в месяц – да, но чтобы каждый день... И что самое удивительное, это оказалось не обузой, не тягостной повинностью, а внесло приятное разнообразие в ее жизнь, чего Настя никак не ожидала»<sup>39</sup>. «Настя каждый раз с ужасом чувствовала, как растет и углубляется пропасть между прежней Настей и нынешней»<sup>40</sup>. Эта «нынешняя Настя» рассуждает так: «Все говорили, что я не женщина, а живой компьютер на двух ножках и я в это, честно признаться, сама верила до последнего времени. Но чем старше я становлюсь, тем отчетливее понимаю, что я все-таки женщина... У меня женское мышление. И женское отношение к работе. Я буду старательной и ответственной, но только при хорошем начальнике или рядом с хорошо знакомыми мне людьми. Мне, как нормальной бабе, нужен психологический комфорт. Но ведь я понимаю, что Колобок и Заточный – это штучная работа»<sup>41</sup>. Как сказано в романе «Закон трех отрицаний», «В Насте истово боролись рассудочный и хладнокровный сотрудник уголовного розыска и слабая, испуганная женщина <...>, но *женщина в ней победила милиционера*» (курсив мой - И.С.).<sup>42</sup>

Катрина Непомнящи в своей статье 1998 года, анализируя первые романы Марининой, сравнивает их с парадигмой постфеминистской мистерии, проанализированной Сандрой Томк, и пишет, что у Марининой есть существенные отличия: ее Каменская не страдает от клаустрофобии, вызванной сознанием запертости в клетку патриархатных институций, напротив, она получает товарищеское признание мужского коллектива. Второе отличие, выделенное Непомнящи, то, что Каменская не становится жертвой, так как преступления, описанные Марининой, не имеют сугубо гендерной природы, не направлены именно против женщин.

Надо заметить, что чтение следующих романов серии о Каменской, вероятно, заставило бы исследовательницу скорректировать выводы. Начиная с «Мужских игр», все сильнее и сильнее звучит у Марининой мотив «невстраиваемости» женщины-следователя в мужские игры. Настя оказывается объектом манипуляций даже со стороны ее отцов-покровителей Заточного и Гордеева (в «Мужских играх»). В романе «Незапертая дверь» в отдел приходит новый начальник Афанасьев, «Афоня, который совсем-совсем, ну ни капельки не похож на Гордеева, который не собирается ее щадить и защищать <...>, который искренне не понимает, что вообще может женщина делать в уголовном розыске, а в особенности – в «убойном» отделе, и считает, что если уж она все-таки тут работает и никуда от нее не денешься, то надо

или выжить ее, выдавить, чтобы сама ушла и освободила место для толкового мужика, или вести себя с ней как с мужиком».<sup>43</sup>

И по второму пункту, отмеченному Непомнящи, расхождений тоже больше нет: весь роман «Седьмая жертва» посвящен описанию страха и ужаса, испытываемого Каменской, когда она оказывается в роли жертвы. Тот же мотив и романе «Закон трех отрицаний». Страх и ощущение незащищенности приводят к той метаморфозе, которая происходит с Каменской. Она продолжает время от времени критиковать патриархатные стереотипы, но сама она уже согласилась жить по существующим правилам, так сказать по принципу «плетью обуха не перешибешь». В романе «Закон трех отрицаний» Настя с помощью принципов «кинезиологии» умиряет свою гордыню, стараясь простить и полюбить своего начальника (Афанасьева), пытаясь искать проблемы в себе, а не в других.

Таким образом, в конце концов мы слышим «старые песни о главном»: о женской сущности и женской судьбе, от которых уйти невозможно, но можно «перевести негатив в позитив и заменить негативно окрашенную проблему позитивно окрашенным отношением»<sup>44</sup>, то есть принять все, «как есть», убедив себя в том, что это твой собственный ответственный выбор.

Непоследовательный и противоречивый, зародышевый русский феминизм терпит «историческое поражение» в одной, отдельно взятой детективной серии.

Елена Трофимова писала в свое время о том, что образ Каменской «свидетельствует о принципиальном неприятии патриархатного гендерного конструкта, навязываемого обществом женщине»<sup>45</sup> и о том, что Маринина в Каменской предлагает публике некий альтернативный «идеологический гендерный конструкт». Но, как кажется, последнего на самом деле не произошло.

Если героиня Лехтолайнен, сталкиваясь с проблемами примерно такого же типа, что и героиня Марининой, рефлектирует над ними, проблематизирует, пытается осмыслить их внутри феминистской парадигмы, и как-то двигаться дальше, исходя из предлагаемых обстоятельств, но не изменяя себе в главном, то Маринина *закрывает проблему*. Она уходит от нее, демонстрируя, что проблема неразрешима, что приходится признать, что «анатомия – это судьба», и менять не ситуацию, а собственную мотивацию. Настя была просто везунчиком, на какое время оказавшимся в экспериментальных условиях, – там можно было играть по своим правилам, «на своем поле». Но как только с опытной «делянки» ее пересаживают на обычную, «колхозную», она вынуждена вести игру по общим, не ею придуманным законам. Недаром, в отличие от Марии Каллио Лехтолайнен у Насти нет женских двойников, исключая Томилину/Образцову. Но романная судьба последней, еще резче, чем в случае с Каменской, демонстрирует поворот на «проторенные пути».

Почему так происходит? Очевидно, что дело не только (и не столько) в персональной, человеческой истории А. Марининой. Она «рыночный писатель» и сознательно или бессознательно выполняет «социальный заказ», отражает продуктивные тенденции общественного сознания.

Вариант ответа, на мой взгляд, дают рассуждения Ирины Жеребкиной в ее книге «Гендерные 90-е, или Фаллоса не существует» где поставлен вопрос о том, почему невозможно безболезненно наложить «западную» феминистско/постфеминистскую парадигму на русские (постсоветские) реалии. Главная причина, как утверждает И. Жеребкина, заключается в том, что исходная ситуация в российском (и – шире – постсоветском) контексте принципиально иная. «Основным отличием русской культурной традиции по производству гендерно-маркированной субъективности является отсутствие критикуемых сегодня в философии постмодернизма практик и дискурса эссенциализма из-за отсутствия проблематики индивидуальности, замененной проблематикой социальных статусов. В результате ни на уровне дискурсов, ни на уровне практик здесь не может состояться классический западный феминизм с его базовыми либеральными/радикальными нормами, базирующимися на той самой эссенциалистской женской «сущности», которой у нас просто, перефразируя Лакана, не существует»<sup>46</sup>. Жеребкина пишет о том, что в советской традиции *идеологизации* пола (парадоксальным образом продолжающей в этом смысле досоветскую традицию его *тотальной символизации*) «биологического» пола не существовало, и в перестроечные и постперестроечные годы происходит реальная «трансформация власти от *бесполой* советской к *производящей пол* постсоветской с ее новыми стратегиями манипуляции на уровне *натурализации пола*»<sup>47</sup>. Другими словами, можно сказать, что в России имели место иные, чем на Западе, условия производства субъектности, «иное соотношение классических категориальных пар биологическое/социальное, приватное/публичное: биологическое было официально не репрезентировано в традиции, публичное функционировало как непубличное, а приватное – как асоциальное. В результате, если в западном классическом феминизме репрезентация женского связана с переходом от биологического к социальному и от приватного к публичному, то у нас наоборот – от социального к биологическому и от публичного к приватному (приватное – против публичного, биологическое – против социального)»<sup>48</sup>. В результате, – продолжает И. Жеребкина, – «можно сделать вывод о том, что если в западной феминистской теории *сначала* происходит акцентация «первоначального основания» («женской сущности», например), а *потом* – его деконструкция (в виде теории перформативности Батлер, номадической субъективности Брайдотти и других), то у нас, наоборот, этого первоначального основания просто не существует, однако именно на этой негативной основе базируются затем любые аффирмативные/перформативные стратегии

репрезентации женского, которые сразу же обретают или характеристики перформативного гендера, или репрессивных стереотипов натурализованного пола»<sup>49</sup>.

Женский детектив, благодаря своим специфическим жанровым чертам и гендерной маркированности, возможно с особой очевидностью воплощает эти тенденции. Иронический детектив (Д. Донцовой, Г. Кулаковой и т.п.), сознательно и безусловно рвущий всякие связи с реальностью (свалилось на женщину богатое наследство как манна небесная с ясного неба – и все проблемы и ограничения чудесным образом испарились) создает модели исключительно перформативной женственности<sup>50</sup>. Маринина, которая хочет работать в относительно реальных рамках, с опорой на социально возможное и допустимое, не может долго оставаться в сфере условности – это нарушило бы негласный контракт с читателем, лишило бы текст «договорного» правдоподобия – потому игры в перформативную женственность сменяются идеей создания телесно воплощенной, связанной с биологически определяемой «сущностью», женственности. Как только Настя начинает чувствовать себя в большей степени жертвой, чем охотником, она начинает воПЛОЩаться. «Идеологический конструкт» «натурализуется», болезни и страхи героини начинают обретать возрастно-половые признаки (например, тема раннего климакса в романе «Соавторы»). Но парадоксальным образом, ее «приватная», персональная телесность получает значения деперсонализированности, универсальности – Каменская как бы обретает «женское тело» как таковое, какую-то общую, деперсонлизированную женскую сущность, отчужденную от уникальности ее личного опыта, становится «женщиной как все», «нормальной женщиной»).

То, что происходит с героиней в описанном нами выше финском женском детективе, у Лехтолайнен, можно интерпретировать как развитие по спирали: от детской жажды быть нормальной и любимой девочкой – к бунту и освобождению – обретению самости – потом через столкновение (столкновения) с иннерционностью патриархатных институций к уяснению пределов и границ – и снова к попыткам расширить эти пределы и границы разными способами (не обязательно только путем беспощадного юношеского бунта). У Марининой происходит как бы скачок сразу в третью фазу, но без первых двух, и это приводит к возвращению на исходную позицию, то есть, к своего рода капитуляции. Для того, чтобы перемотивировать капитуляцию, очень удобна оказывается национальная религиозно-культурная традиция с ее приверженностью идеям смирения и самопожертвования. Мотив самоотвержения не как принуждения, а как сознательного и радостного выбора, сильно звучит, например, в женской русской литературе XIX века (впрочем, не только в женской).

Но эта традиция приходит в столкновение с идеей самостоятельной, «бестелесной», но идеологически значимой женственности, которая (пусть на декларативном уровне)

существовала в советское время и которую Маринина развивает и трансформирует в первых романах о Насе Каменской.

Сделала ли марининская Анастасия свой приватный выбор или капитулировала под давлением патриархатных институтов, позволив «женщине в себе победить милиционера», – точного ответа в романах Марининой не найти. Но зато можно найти важный вопрос – что делать этой смилившейся с «нормальной участью» женщине с памятью о том, что она была (и остается) милиционером?

---

<sup>1</sup> Менцель, Бригитт.: Что такое «популярная литература»? западные концепции «высокого» и «низкого» в советском и постсоветском контексте // Новое литературное обозрение, 1999, № 6 (40). С. 393. Менцель здесь в свою очередь ссылается на исследование Ф. Джеймсона (Jaemson F. Reflocation and Utopia in Mass Culture // Social Text. 1979-1980.. V. 1).

<sup>2</sup> Dilley, Kimberly J.: Busybodies, Meddlers, and Snoops: The Female Hero in Contemporary Women's Mysteries. Greenwood Press, Westport, Connecticut&London, 1998. P. 89.

<sup>3</sup> Munt, Sally, R.: Murder by the Book? Feminism and the crime novel. Routledge; London and New York, 1994.

<sup>4</sup> Dilley, Kimberly J.: Ibid. P. 90.

<sup>5</sup> См. Tomc, Sandra: Questing Women: The Feminist Mystery after Feminism. In: Feminism in Women Detective Fiction. Ed. by Glenwood Irons. Toronto: University of Toronto Press, 1995. Цит. по: Nepomnyashchy Catharine: Markets, Mirrors, and Mayhem: Aleksandra Marinina and the Rise of the New Russian Detektiv. In Consuming Russia. Ed by A.M. Barker. Duke University Press; Durham, London, 1999. P. 171-172.

<sup>6</sup> См. Кавелти, Дж.Г.: Изучение литературных формул // НЛЮ, 1996, № 26. С. 46-47.

<sup>7</sup> «На Rendez-vous с Марининой» // Неприкосновенный запас, 1998, № 1. С. 39. (Высказывание И. Прохоровой).

<sup>8</sup> Наринская, Анна: Кровь и любовь в одном флаконе: Александра Маринина как предмет российского экспорта, // Эксперт, 1998, № 10. С. 65.

<sup>9</sup> Андреева, С.: Встреча с русской Агатой Кристи // Russian Culture Navigator // [www.vor.ru/culture/cultarch141\\_rus.html](http://www.vor.ru/culture/cultarch141_rus.html). С. 3.

<sup>10</sup> Наринская, Анна: Постоянный герой не может быть отрицательным: Интервью писательницы, скрывающейся под псевдонимом Александры Марининой. // Эксперт, 1998, № 10, С. 67.

<sup>11</sup> Савкина И.: «Гляжусь в тебя, как в зеркало...» Творчество Александры Марининой в современной критике: гендерный аспект. // Творчество Александры Марининой как отражение современной российской ментальности. М.: РАН и др., 2002. С. 13-16.

<sup>12</sup> Валикова, Дарья: Массовая литература: в рамках и за рамками жанров // <http://hghd.yandex.ru/yandbtm?url=http://lit.1september.ru/2001/13/no13/1.htm> (газета «Литература», изд. «Первое сентября», 2001, № 13)

<sup>13</sup> Трофимова, Елена: Феномен романов Александры Марининой в контексте современной русской культуры // Творчество Александры Марининой как отражение современной российской ментальности. М.: РАН и др., 2002. С. 171.

<sup>14</sup> На дне, 1996, № 33.

<sup>15</sup> А. Леонтьева в своем компаративном исследовании об Александре Марининой и популярной норвежской детективной писательнице Анне Хольт прекрасно показывает, что многие новации Марининой, за которые ее хвалили или ругали, на самом деле являются специфическими чертами жанрового канона. Отводя от Марининой обвинения в «наглом плагиате» с «огромных пластов современного детектива», которые предъявляют ей некоторые российские критики, Леонтьева справедливо утверждает, что русская писательница (как и ее норвежская коллега) «использует элементы местной специфики, в то же время следуя общим тенденциям, характерным для детективного жанра в целом» (Леонтьева А. О норвежских коллегах Александры Марининой и Наси Каменской // Творчество Александры Марининой как отражение современной российской ментальности. М.: РАН и др., 2002. С. 36-53 (выделенная цитата на с. 37)

<sup>16</sup> Lehtolainen, Leena: Miten minusta tuli murhaaja // Murha pukee naista. Naisdekkareita ja dekkarinaisia. Toim.: Ritva Napuli ja Johanna Matero. KSL Kirjat, Vaasa, 1997. S. 86-100.

<sup>17</sup> О «серийности» в детективе см., например: Danielsson, Karin Molander The Dynamic Detective. Special Interest and Seriality in Contemporary Detective Series. Uppsala, 2002. 141-173.

<sup>18</sup> Lehtolainen, Leena: Miten minusta tuli murhaja. In: Murha pukee naista. Naisdekkareita ja dekkarinaisia. Toim.: Ritva Napuli ja Johanna Matero. KSL Kirjat, Vaasa, 1997. S. 91.

<sup>19</sup> Ibid. S. 96.

<sup>20</sup> Lehtolainen, Leena: Luminainen. Tammi, 1996. S. 17.

<sup>21</sup> Lehtolainen; Leena: Kuolemaspiraali. Tammi, 1997. S. 121

- 
- <sup>22</sup> Ibid: S. 123.
- <sup>23</sup> Lehtolainen; Leena: Tuulen puolella. Tammi, 1998, S. 271.
- <sup>24</sup> Lehtolainen, Leena: Ennen lähtöä. Tammi, 2000. S. 187.
- <sup>25</sup> Lehtolainen; Leena: Ennen lähtöä. Tammi, 2000. S. 108.
- <sup>26</sup> Маринина, А. Стечение обстоятельств. М.: Эксмо. 2002. С. 120.
- <sup>27</sup> Маринина, А.: Посмертный образ. М.: Эксмо, 1999. С. 55.
- <sup>28</sup> Маринина, А.: Посмертный образ. М.: Эксмо, 1999. С. 59.
- <sup>29</sup> Маринина, А. Игра на чужом поле, М.: Эксмо, 2002. С. 268-269.
- <sup>30</sup> Маринина, А. Убийца поневоле, М.: Эксмо, 1999, С. 12-13.
- <sup>31</sup> Маринина, А. Мужские игры, М.: М.: Эксмо, 2003. Т. 2. С. 186.
- <sup>32</sup> Там же. С. 201.
- <sup>33</sup> Мела, Элен: Игра чужими масками: детективы Александры Марининой. // Филологические науки, 2000, № 3, С. 99.
- <sup>34</sup> О том, что Каменская защищена мужским коллективом и своим ментором-учителем Гордеевым пишет и Катари́на Непомнящи́. Nepomnyashchy Catharine: Markets, Mirrors, and Mayhem: Aleksandra Marinina and the Rise of the New Russian Detektiv. In Consuming Russia. Ed by A.M. Barker. Duke University Press; Durham, London, 1999. P. 173-174.
- <sup>35</sup> Маринина, А. Украденный сон, М.: Эксмо, 1999. С. 91.
- <sup>36</sup> Маринина, А. Реквием. М.: Эксмо, 1999. С. 307.
- <sup>37</sup> Маринина, А. Незапертая дверь, М.: Эксмо, 2002. С. 85.
- <sup>38</sup> Там же, С. 241.
- <sup>39</sup> Там же, С. 241.
- <sup>40</sup> Там же. С. 18.
- <sup>41</sup> Там же, С. 330.
- <sup>42</sup> Маринина, А. Закон трех отрицаний, М.: Эксмо, М.: Эксмо, 2003. С. 220
- <sup>43</sup> Маринина, А. Незапертая дверь...С. 79-80.
- <sup>44</sup> Маринина, А. Закон трех отрицаний, М.: Эксмо, 200
- <sup>45</sup> Трофимова, Елена. Феномен романов Александры Марининой в культуре современной России. // Творчество Александры Марининой как отражение современной российской ментальности» . М.: РАН и др. , 2002. С. 25.
- <sup>46</sup> Жеребкина, Ирина: Гендерные 90-е, или Фаллоса не существует, Спб.: Алейтейя, 2003. С. 249.
- <sup>47</sup> Там же. С. 55.
- <sup>48</sup> Там же. С. 250.
- <sup>49</sup> Там же. С. 251.
- <sup>50</sup> Об этом пишет и И. Жеребкина в названной книге, См. гл. «Гнездо бегемота», или о перформативности женского в новой массовой женской литературе»: Указ. соч. С. 197-202.

Воробьева С.Н.

## **Повесть М.С. Жуковой «Падающая звезда» в психоаналитическом аспекте**

Мария Семеновна Жукова – известная русская писательница, творчество которой приходится на первую половину XIX в. В своих произведениях она не раз обращалась к феномену родительства, изображая специфику отношений родителей к ребенку, различие функций отца и матери. В этом смысле повесть «Падающая звезда», вышедшая в 1839 г., особенно показательна. Произведение интересно тем, что в нем представлена не просто история главного героя Леонтия Вильдерштейна, а процесс становления идентичности ребенка, осуществляющийся под непосредственным влиянием матери и отца.

Мы обратились к исследованиям психоаналитиков, показывающим, что психосексуальное и бессознательное тесно связаны между собой. Наибольший интерес в этом смысле представляет теория психосексуальной социализации З. Фрейда, который исследовал детские переживания и показал, что самоидентификация ребенка формируется под непосредственным влиянием как матери, так и отца<sup>1</sup>. Интересны также и теории таких феминистских психоаналитиков, как Х. Дойч, К. Хорни, М. Кляйн, Н. Чодоров, которые исследовали влияние гендерной дифференциации на развитие личности на самых ранних этапах, когда особое место в жизни ребенка занимает мать<sup>2</sup>. С учетом этого психоаналитического опыта мы и пытаемся рассмотреть повесть М.С. Жуковой «Падающая звезда».

Рассказанная Леонтием история его жизни может рассматриваться как поиск своего места внутри порядка полов, который дается рассказчиком через анализ собственных переживаний и ощущений. Повесть строится в форме воспоминаний, которые анализируются и комментируются рассказчиком в ходе повествования. «Я поведу вас шаг за шагом по дороге жизни моей; мы переживем, перечувствуем постепенно все, как чувствовал я сам»<sup>3</sup>.

Ранние отношения с матерью, расторжение первоначальной идентификации героя с ней, обнаружение им различий между полами и отождествление себя с отцом показаны как основные этапы формирования половой идентичности Леонтия.

Наиболее подробно рассказчик останавливается на ранних отношениях с матерью, когда детское «я» только начинает формироваться, когда доминирует мать, а не отец, и ее роль в этом процессе является определяющей. В воспоминаниях рассказчика воссоздан положительный образ матери, что объясняется особым положением ее в жизни ребенка. В детском сознании она отождествляется с состоянием удовлетворения и безопасности. С миром матери связаны у героя цветовые, предметные и чувственные ассоциации: прекрасное утро,

солнечный луч, открытое пространство, любовь, ласка, тишина, безмятежность, ощущение комфорта, наслаждение. Все детские переживания объединялись в одном - что он любим: «...Мне вспомнились матушка, мои детские игры в глазах ее, ее ласки, ее поцелуи <...> Иногда я видел ее во сне; она тихо подходила ко мне, наклонялась, целовала меня; иногда мы сидели в каком-то маленьком садике, и я играл у нее на коленях» (С. 179).

Разлука с матерью, затем постепенная уверенность в том, что она умерла, воспринимаются как настоящая трагедия. Виновником случившегося оказывается старый князь, дед главного героя, который, не смирившись со своевольной женитьбой сына, вмешивается в его судьбу, разлучает с женой и ребенком и устраивает новый брак по своему усмотрению. Таким образом, по воле деда Леонтий, оказавшийся оторванным от матери, попадает в новую, непривычную для него ситуацию. То жизненное пространство, в котором вынужден пребывать ребенок, ощущается им как чуждый, враждебный, имеющий прямо противоположные прежнему миру обозначения: вечер, луч заходящего солнца, замкнутое пространство мрачной комнаты, черная мебель, малиновые обои с черными разводами, отсутствие любви и ласки, тяжелое чувство, страх, одиночество. Бессознательно ощущаемая им вина старого князя переносится и на отца, с которым Леонтий никогда не был знаком, но о котором слышал от матери. Так на подсознательном уровне формируется отрицательный образ мужчины, поэтому мир, в центре которого оказывается мужчина, ассоциируется в сознании ребенка с исходящей от этого мира угрозой. Противопоставленность идеального мира – мира мечты и фантазии, имеющего женскую коннотацию, и мира «существенного», связанного с миром отца, подчеркивается рассказчиком на всем протяжении повествования.

Тоска по «доброй матери», желание обрести утраченное «наслаждение» (заметим, что это отглагольное существительное, как и сам глагол *наслаждаться* не раз употребляется рассказчиком по отношению к матери) приобретают все более притягательную силу: мальчик пытается найти матери равноценную замену. Его сознательные и бессознательные фантазии возникают из разных источников, в результате чего границы между фантазией и реальностью порой стираются. Желание вернуть утраченное реализуется разными путями, с помощью разных объектов, которые следует рассматривать как символические. Процесс замены каждый раз сопровождается важными «открытиями», которые впоследствии оцениваются рассказчиком как результат контакта с выбираемыми объектами. Выбор объекта соотносится с учетом возможной реализации конкретных желаний и стремлений.

Так происходит с увиденной им вскоре после разлуки с матерью картиной, изображающей святую Цецилию, которую мальчик про себя называет Дольчина. Эта картина становится для мальчика тем объектом, через который он пытается преодолеть охватившее его чувство страха и одиночества. Проецируя на картину представления, связанные с матерью, он

оживляет ее в своем воображении, мысленно возвращаясь к сохранившимся в памяти ситуациям: «...моя Дольчина принимала живые формы, играла со мною, ласкала меня; у меня была семья, братья, сестры, с которыми мне было раздольно и весело» (С. 181).

Образ святой Цецилии оказывает влияние на восприятие и других объектов. Так, например, изображенные на картинах черные, бледные, красные фигуры, которые Леонтий увидел в домашней галерее, вызывают у него первоначальный страх. Но постепенно они утрачивают враждебность и воспринимаются героем иначе: «...потом я полюбил их, эти неподвижные фигуры, которые, однако, казалось, думали и чувствовали: иные смеялись, иные плакали, иные даже будто ласково звали меня к себе» (С. 180). Обезличенные изображения свидетельствуют, на мой взгляд, об отсутствии у ребенка представлений о различии полов, так как он находится в симбиотическом, неразрывном отношении с матерью. Иное восприятие они получают после того, как произойдет расторжение первичной идентификации, – тогда некогда бесформенные фигуры приобретут черты конкретных людей. Среди полотен герой выделит портреты деда и отца: «Теперь в галерее был портрет, который я узнал по тусклым, неподвижным глазам его; вся кровь прилилась к сердцу моему <...> Подле него был другой портрет <...> я также узнал его по биению сердца моего <...> передо мною был виновник дней моих, виновник несчастья моего и бедной матери моей» (С. 243–244).

Другим объектом для мальчика становится природа, которая открывает для него особый мир: в ней он находит прелесть, очарование, наслаждение, в ней было все «звук, все ответом» ему. Мир природы имеет женскую коннотацию, он осознается героем как идеальный, совершенный, населенный ангелами. Существительное *ангел* употребляется рассказчиком только по отношению к матери, следовательно, это мир женщины.

Очень важной оказывается случайная встреча Леонтия с незнакомой дамой, произошедшая в доме старого князя. Если раньше герой умел только чувствовать, то через общение с этой женщиной он «узнал наслаждение делиться чувством». Вместе с этим желанием возникает необходимость воспроизвести, выразить все, что поражает и тревожит душу. Герой узнает «употребление языка», что, по замечанию рассказчика, является особо важным открытием. Как можно понять из текста, с точки зрения повествователя, языковое формирование личности происходит под влиянием женщины, а не мужчины (следует заметить, что современные психоаналитики вслед за Ж. Лаканом придерживаются убеждения, что язык является принадлежностью мира мужского<sup>4</sup>).

Первоначально Леонтий оформляет в слове, в «звуках» избыток чувства и мысли, затем пробует воспроизвести свои видения на бумаге, каждый раз изменяя и усовершенствуя выдуманный мир: «Я снова видел, чувствовал, я жил в моем чудном мире, который, по воле моей, переменял свои картины. Он принадлежал мне, этот мир; я был его творцом, хозяином, я

чувствовал потребность говорить о нем» (С. 190). Образ матери, который никогда не покидал Леонтия, появляясь то в снах, то в видениях, получил реальное воплощение в образе уже упомянутой незнакомой дамы, с которой у героя устанавливаются самые теплые отношения. Прямая ассоциация с матерью вызвана особым отношением этой дамы к герою. По словам Леонтия, она на протяжении нескольких лет «с нежностью матери» выполняла ее обязанности: заботилась о нем, исполняла различные желания, давала возможность совершенствовать свои познания, предостерегала от неприятностей. «Она (дама. – С.В.) оставалась для меня неизвестною, как божество, которое я знал только по благотворениям, и, как божеству, лучшим фимиамом для нее было – чистое сердце и мое счастье. Смерть похитила у меня ее, моего чистого ангела; но с тех пор все доброе в душе было жертвою памяти ее <...> мысль о ней поддерживала мужество мое <...> как светлый ангел, являлся мне образ ее с кроткою улыбкою одобрения; рука ее подавала мне выпавшую кисть, уста шептали слова надежды, упования, и снова я верил в себя, в возможность быть чем-нибудь» (С. 192–193). Только в финале повести герой узнает, что незнакомка была второй женой его отца.

Таким образом, ранние отношения ребенка с матерью и память о ней определяют формирование не только его внутреннего мира, его мыслей, чувств и представлений, но первоначальную идентификацию с ней.

Дальнейшее формирование половой идентичности мальчика связано с расторжением первоначальной идентификации, обнаружением различий между полами и полным отторжением матери.

Этот этап жизни представлен рассказчиком как самый значимый, сопровождающийся серьезными испытаниями. Решающей для героя становится встреча с Антониной, к которой он вначале испытывает чистое и возвышенное чувство. В его восприятии она – воплощение детской мечты, одушевленная Дольчина, обительница лучшего мира, идеал женщины. Первоначальное чувство перерастает в сексуальное влечение, когда герой осознает различие между собой и Антониной и понимает, что она – не идеальный символический образ, а женщина. Поцелуй мужчины, ее мужа, разрушает созданный идеал: «...в этот момент она явилась передо мной как женщина, и новый огонь загорелся в душе» (С. 200). Это открытие вносит существенные изменения в жизнь Леонтия: он по-другому начинает воспринимать окружающий мир, изменяется и сама героиня и их отношения. Отказ от любви к Антонине, с которой его, как оказалось, связывают родственные узы (она дочь его отца от второго брака), показан повествователем как трудный, мучительный, но закономерный процесс. Появляющаяся на небе падающая звезда воспринимается героями как запрет на инцест, напоминание о «непозволительности» подобной любви, символ полного отторжения мальчиком матери, символ свержения созданного им «прекрасного кумира» миром реальным,

победа мужского начала над женским. Обретение одного типа идентификации всегда связано с обесцениванием и подавлением другого: потеряв «звезду» – обретаешь «небо».

Герой неоднозначно переживает происходящее с ним. Освобождение от инцестуозной привязанности к сестре и примирение с отцом вызывают в душе Леонтия ненависть, желание наказать обидчика, которые постепенно уступают место другим чувствам. «И как будто бы возвратилось мне давно утраченное небо! Легко и отраднo стало на душе моей», – признается герой (С. 247).

Становление половой идентичности рассматривается рассказчиком как закономерный процесс, заданный природой. Заканчивая историю своей жизни, повествователь приходит к следующему выводу: «Страдания наши почти всегда происходят от борьбы между чувствами нашими и законами природы или общества <...> Сколько ни несправедливым казался мне отец мой, я страдал, обвиняя его; природа восприняла права свои – и тишина возвратилась в душу мою <...> Примирение очистило сердце мое» (С. 248).

Несколько иначе в повести представлен процесс поиска женской идентичности. И в этой связи особый интерес будет представлять письмо Антонины, адресованное Леонтию, в котором героиня, рассказывая о себе, объясняет причины невозможности их отношений. Она подробно останавливается на своих отношениях с матерью, которые всегда были основаны на любви и нежной привязанности. В жизни Антонины мать служит ролевой моделью, выступает в качестве воспитателя и учителя. Например, героиня пишет: «беседа с матушкой была лучшим моим удовольствием; разговоры ее рано развили во мне жизнь духовную», «говорила об обязанностях женщины, о свете, о добродетели и умоляла меня остаться верною правилам, внушенным мне» и т. д. Желая помочь девушке адаптироваться к жизни, она побуждала ее заниматься теми видами деятельности, которые способствовали приучению ее к женской роли.

Поскольку большую часть времени мать проводила с дочерью, то их отношения сказались на отношениях дочери с отцом. Представления о нем в значительной степени было сформировано матерью. Минимальное присутствие отца, специфика отношения к ребенку, распределение обязанностей в воспитании – все это оказало воздействие на восприятие образа отца. Почитая отца существом совершенным, она сохранила детские впечатления и впоследствии спроецировала их на Леонтия, внешнее сходство которого с отцом поразило ее. «Я увидела тебя Леонтий в храме пречистой девы, когда ты вдохновенным взором художника рассматривал прекрасное произведение Бернини; взоры наши встретились, случайное сходство твое с отцом моим и прелестные черные кудри каких я никогда и ни у кого не видала, кроме его, поразили меня; вид твой напомнил мне немногие минуты, которые посвящал нам отец мой, когда, приходя к нам, он позволял мне, сидя на его коленях, играть его прекрасными

кудрями. Не могу описать тебе чувства, произведенного тобою в душе моей...» (212). Разрыв отношений между влюбленными был неизбежен.

Падающая звезда становится и для героини запретом на инцестуозные семейные связи. Она также служит и напоминанием о клятве умирающей матери. Данное обещание навсегда соединило мать и дочь, прочно связало их навеки, разрыв этих отношений возможен лишь при «малейшем дыхании порока». Следуя завету матери, героиня сознательно отказывается от любви и покоряется воле матери.

Таким образом, представляя ситуацию формирования мужчины и женщины, писательница подробно останавливается на тех связях и отношениях, которые оказывают особое влияние на развитие самоидентификации ребенка, подчеркивая при этом важность отношений между матерью и ребенком. Позднее эта проблема будет обстоятельно изучаться в психоанализе, и станет центральной в исследованиях психоаналитиков.

---

<sup>1</sup> Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М., 1989.

<sup>2</sup> Чодороу Нэнси. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола // Антология гендерной теории. Минск, 2000. См.: Линдхоф Лена. Феминизм и психоанализ. Роде-Даксер Криста. Образ матери в психоанализе. // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования / Под. ред. Элизабет Шоре и Каролин Хайдер. М., 2003.

<sup>3</sup> Жукова М. Падающая звезда // Отечественные записки. 1839. № 9. С. 173–174 (далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в тексте).

<sup>4</sup> См.: Митчелл Джулиет. Женская сексуальность. Жак Лакан и école freudienne. Введение // Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия / Под ред. С. Жеребкина. Харьков; СПб., 2001.

## **Женское, животное и национальное в творчестве Светланы Василенко**

“Есть определенная иерархия ценностей, и человеческая жизнь – на самой вершине. И если для того, чтобы спасти жизнь одного человека, научиться лечить одно только человеческое заболевание, надо уничтожить в лабораториях сто тысяч, да сколько угодно животных, вопросов нет”.<sup>1</sup> Это – цитата Великого Ученого из романа Людмилы Улицкой “Казус Кукоцкого”, который обсуждает этос науки. Улицкая ни в коем случае не исключение. Анималистическая тема в современной русской литературе, в произведениях, например, Виктора Пелевина, Тимура Пулатова или Георгия Семенова, отражает общую тенденцию, проявляющуюся в современном искусстве<sup>2</sup>, где “человек низводится с пьедестала полубога”, как пишет Е. Останенко о современной анималистике, и продолжает: “Тот, кто считал себя венцом природы, оказывается слабее, глупее, даже уродливее дикого зверя. [...] Мы столь же незначительны, бессильны перед законами и случайностями огромного мира”<sup>3</sup>. В перестроечной литературе России звучало много критических голосов, которые затрагивают вопросы аутентичности природы и культуры, или, лучше, их метаморфозы<sup>4</sup>. Появилось много женщин-писательниц, оценивающих постмодернистский проект как кризис рационализма; среди них Людмила Улицкая, Петрушевская и Белла Улановская<sup>5</sup>, которые вообще сосредоточиваются на вопросе о взаимоотношении между человеком и животным, и другие, которые обращаются к соотношениям между наукой и жизнью в органической экосистеме. Эти писательницы фокусируют свой критический взгляд на технополитической миссии и механизации жизни в советское время. Они спрашивают о цене всех этих жертв, принесенных на алтарь науки. Они спрашивают: каким образом влияло научно-техническое и рационалистическое мировоззрение, основанное на бинарном разделении культуры и природы, человеческого и не-человеческого, животного, жизни и смерти, на самопонимание русской культуры? Что было тем контаминированным “Другим”, от которого нужно было очистить советскую утопию?

Постмодернистская деконструкция вместе с экофеминизмом подняла вопрос о соотношении между “человеком” и “животным” как одним из тех парадигматических критериев, которые используются в дискурсе о доминирующей власти

---

<sup>1</sup> Улицкая Людмила. *Казус Кукоцкого*. М.: Эксмо, 2004, С. 183.

<sup>2</sup> См. также перформансы Олега Кулика, чей *alter ego* является собакой.

<sup>3</sup> Останенко Е.А. Символ, аллегория, фантастика в современной анималистической прозе // *Природа и человек в художественной литературе*. Ред. А.И. Смирнова et al. Волгоград, 2001, С. 237.

<sup>4</sup> Genis, Alexander. *Borders and Metamorphoses. Viktor Pelevin in the Context of Post-Soviet Literature*. In: M. N. Epstein, A. A. Genis and L. M. Vladiv-Glover, *Russian Postmodernism*. Berghahn Books, New York 1999, 212-224.

<sup>5</sup> Улановская Белла. *Осенний поход лягушек*. СПб.: Советский писатель, 1992.

универсального/мужского/человеческого *логоса* над инаковостью, репрезентируемой женщинами, детьми и “не-человеческими” животными.<sup>6</sup> При фокусировании критического взгляда на “гуманизме” и “автономии” рационального субъекта с помощью анималистических нарративов открылось и новое дискурсивное место, откуда бросают вызов рационалистической вере в превосходство человека как вида; это место, объединяющее и экокритику, феминизм и постколониальную критику, из которого можно критически обсуждать складывающиеся границы в конструировании человеческого идентитета и “гендеризации”<sup>7</sup> субъекта Нового времени<sup>8</sup>.

В своем докладе я хочу высказать мысль, что дискурсы о культуре так или иначе используют и конструируют животное, чтобы создать человеческое, и что многие понятия, входившие в дискурсы о русской культуре, циркулируют в концепциях о женщине и природе. Животные играют важную роль в определении, что такое “человек”, и, так как “человек” не является нейтральной или невинной категорией, то и дискурсы о животных, гендере, классе и расе жестко связаны друг с другом: если конструкции о “животных” изменяются, то изменяется и категория “человек”. Исходя из этого, я предполагаю, что животные символы позволяют нам узнать конструкции и новые формы в дефиниции человеческого идентитета и отвечают на вопросы, кто включен в культуру и что исключено из современного контекста культуры. Животное – это Другое не только из-за его «не-человеческого» статуса, но животные используются в постсоциалистической литературе как тропы, с помощью которых исследуются расовые, сексуальные и гендерные “опасности”, угрожающие стабильности “натурализованных” социальных иерархий.

Исходя из сказанного, я выдвигаю следующие тезисы:

Животные играют важную роль в гендерном самоопределении советского/русского “человека”. Образы идентичности, которые мы встречаем у многих современных писательниц последних лет, доказывают, что аналогия между женщиной и животным предполагает объединяющий их опыт инаковости: связанность с природой и животным предполагает дефиницированную идентичность вне разума и, таким образом, меньшую ценность. “Животный вопрос” или анималистика в современной культуре и литературе и особенно

---

<sup>6</sup> Glotfelty, Cheryl and Harold Fromm (Eds.) *The Ecocriticism. Reader. Landmarks in Literary Ecology*. The University of Georgia Press, Athens and London 1996; Haraway, Donna. *Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science*. Routledge, New York 1989; Gaard, Gerda. *Ecofeminism. Women, Animals, Nature*. Temple UP, Philadelphia 1993.

<sup>7</sup> Felski, Rita. *The Gender of Modernity*. Harvard UP, Cambridge 1995, 1-3.

<sup>8</sup> Юпи Нюман пишет: “Hence it may be argued that in its emphasis on the significance of autonomy, the modern subject has both distanced itself from other people and nature and objectified them. It is here that the paths of feminism, ecocriticism and postcolonial studies meet. In their own ways, these three approaches seek to counter the claims of a Eurocentric modernity that promotes a masculinist world-view and aims at dominance at the expense of those it has made its Others: women, animals and indigenous people. Therefore, to map out the representation of the animal is at the same time to find out more about the ways in which different forms of human identity have been constructed as dominant and normative.” Nyman, Jopi. *Postcolonial Animal Tale from Kipling to Coetzee*. Atlantic. 2003, 14.

аналогия между феминизированной и животной “инакостью” может помочь нам понять, как русские женщины “чувствуют” себя после того как они были такими в высшей степени “разумно бесполоыми”<sup>9</sup> в советской дефиниции “нового разумного человека”. Аналогия между женщиной и животным дает нам также точку зрения для рассмотрения неизученного андроцентризма советских антропоцентрических ценностей, со своей стороны репрессирующих женщин и животных.

Все вышеназванное - тема творчества писательницы Светланы Василенко, у которой именно животные и дети репрезентируют виктимизированные ценности в ситуации возможного ядерного удара и бездушной человеческой грубости.<sup>10</sup> Для нее дети, женщины и животные являются ресурсом невинной инаковости, как показывают такие ее рассказы 90-х годов, как “Суслик”, “Бабочка”, “Весенняя кровь”, “Хрюша” или роман “Дурочка”. Василенко спрашивает: если советская риторика занята восхвалением разума и человеческого превосходства, которое было основано на утилитарном и инструментальном подходе рационалистической эпистемологии, то каковы те - социальные и символические - места, которые оставлены для женщин, детей и животных?

Василенко реконструирует “человеческий” идентитет по отношению к природе и животным, с помощью которого она исследует культурную традицию рационалистической парадигмы: инструментальное и технократическое мировоззрение. Суть ее концепции - исследование разорванности между человеком и природой, создающей и многие другие дуализмы: мужчина/ женщина, природа/культура, природа/ разум и чувства и т.д.

Василенко рассматривает также стратегии, с помощью которых создается дуализм, такой как, например, иерархизация на основании превосходства и маргинализации. Вместо доминирования и рационального контроля Василенко предлагает преодоление разорванности с природой, телесностью и животными. Василенко критикует научную эпистемологию и концепцию “советской” эгалитарности, которые интегрируют женщину в Культуру (и таким образом теряют ее). Она предлагает репрезентацию женского, которая находится в согласии с природой внутри себя: в “телесный язык”<sup>11</sup> ее литературы включены женская телесность, репродукция, чувственность, эмоциональность, инстинкты, чудеса, случайности. То, что привлекает внимание в литературе Светланы Василенко, - это способы изображения женской телесности и животного/природы, которые (осознанное тело и животные) выполняют одни и те же символические функции внутри андроцентрического порядка: они - репрессированные

<sup>9</sup> Lipovskaja, Olga. Der Mythos der Frau in der heutigen sowjetischen Kultur. *Feministische Studien* 1992, 2, 64-74.

<sup>10</sup> См.: Goscilo, H. Introduction. In: *Present Imperfect. Stories by Russian Women*. Ed. by A. Kagal and N. Perova. Westview Press, 1996, pp. 1-10, p. 5.

<sup>11</sup> См.: Жеребкина Ирина. *Гендерные 90-е*, или фаллоса не существует. СПб: “Алетейя”, 2003, С. 180.

“Другие”. Женщины и животные - это те “отсутствующие референты”<sup>12</sup> в дискурсивном порядке, где антропоцентризм и андроцентризм питают друг друга. Василенко поднимает вопрос о том, находит ли «инаковость» женщин, если смотреть с антропоцентрической точки зрения, свое соответствие в “другости” животного, если смотреть с антропоцентрической точки зрения. Не оказывается ли покорение природы - в особенности в советское время - андроцентрической политикой под антропоцентрической маской?

Особенно в двух своих рассказах Василенко обращается, именно через животных, к проблеме сцепления между женственностью, телесностью, чувством стыда и тематикой жертвы. Это - рассказы “Суслик” и “Хрюша”<sup>13</sup>. Эти “животные” рассказы подтверждают общность женщин и животных в их совместной позиции виктимизированных из-за телесности и циничной идеологии тоталитарного общества, которая выдвигала “хронотоп больницы”<sup>14</sup> как имплицитное место втопографии женского мира.<sup>15</sup> Рассказы о виктимизированных и немых животных находятся в центре тематики рассказов Василенко о новом восприятии тела и его самоопределении. Рассказы открывают место для рефлексирования над испытанным насилием и обращают внимание на формы сопротивления. Это то (невывраженное) переживание насилия, которое будет высказанным с аналогичных позиций женщин и животных как “других”. Для Василенко женщины, животные и дети оказываются в своем приниженном положении ресурсом “другости”, как и показывает “Суслик”, рассказ, который повествует об одном дне в советском пионерском лагере. Рассказ начинается так: “Весной мы, пионеры военного города Ярград, выходили в степь вылавливать сусликов из норок. Тихо за нашим отрядом ползла поливальная машина с хлорированной водой. Крутые бока ее были мокры, как бока зверя”<sup>16</sup>. Рассказ кончается такими словами: “В тот день мы, пионеры шестого класса “Б”, выловили двадцать два суслика и вышли на первое место по заготовке шкур”.<sup>17</sup>

Чувство ужаса возникает вследствие ситуации, где дети являются убийцами беззащитных животных: дети убивают уязвимых существ – идентичных себе. Невинная задача - убивать сусликов во имя пользы и технического прогресса, репрезентируемого ужасным “зверем” (поливальной машиной с хлорированной водой), указывает и на что-то большее: на тотальность систематической “очистки” всего общества от “Другого” и на то, как злодеяние делегировано на тех, которые не в состоянии защищать себя от насилия. Принуждение к совершению насилия над животными идентифицируется с психологическим насилием против

---

<sup>12</sup> Adams, Carol J. *The Sexual Politics of Meat*. Cambridge 1990.

<sup>13</sup> Василенко Светлана. Хрюша // *Дурочка*. М.: Вагриус, 2000, С. 185-203; Она же. Суслик // *Дурочка*. М.: Вагриус, 2000, С. 183-184.

<sup>14</sup> Goscilo, Helena. Women's space and women's place in contemporary Russian fiction. In: Marsh, Rosalind. (Ed.) *Gender and Russian Literature*. Cambridge 1996, 326-347.

<sup>15</sup> См. также у Василенко: Ген смерти // Василенко, 2000, С. 285-333.

<sup>16</sup> Василенко, 2000, С. 183.

<sup>17</sup> Василенко, 2000, С. 184.

беззащитных. Дети учатся “вырезать” из себя эмоции и эмпатию к животным и природе. Как демонстрирует конец рассказа, дети учатся отказываться от эмоций, за что их и награждают как участников жестокой игры, послушно выполняющих приказы агрессивного общества.

Другой рассказ, “Хрюша”, доводит до конца то развитие “нового” советского человека, как его обозначали в литературе с самого начала, с 1920-х годов. В центре повествования, и в начале и в конце этого пути, появляется животная жертва. В этой своей функции рассказ указывает на архетипический сюжет, о котором Щеглов пишет, что его можно рассматривать как “(...) a prototype of many works of later Soviet fiction that address analogous themes”<sup>18</sup>. Текст, на который он ссылается, это - рассказ Исаака Бабеля “Мой первый гусь”<sup>19</sup>, который основывает идентитет советского мужчины-солдата на убийстве жертвенного животного, другими словами - на акте насилия и символике власти. Рассказ Бабеля является печальным – не только из-за его “сализма по отношению к животным” и его ритуального жертвоприношения<sup>20</sup>, но и потому, что он парадигматически указывает на то, что склонность к открытой жестокости против животных может обнаружить и скрытое насилие против женщин<sup>21</sup>. Рассказ “Хрюша” является постсоциалистическим результатом деконструкционного процесса репрезентации насилия и причастности к нему, испытанного советской женщиной и, таким образом, свидетельствует о саморефлексии со стороны самых жертв.

Рассказ использует троп животного, чтобы изучать транскультурное пространство, то есть, ту контактную зону, где идентитет дочери конструируется как результат переговоров и конфликта – в отношении к матери. По типологии сюжета, нарративных структур и семантических пространств рассказ “Хрюша” следует той же самой сюжетной схеме, что и у Бабеля: героиня входит в “закрытое пространство”, в советский “закрытый” город, где она встречается и с его бытом и с разными трудностями, чтобы в конце рассказа испытать трансформацию - “возрождение”. Дочь- рассказчица возвращается домой из большого города, к матери и своему сыну - и к маминой свинье, существованию которой она противится как олицетворению «лотмановской» структуральной “преграды”<sup>22</sup>. Борьба со свиньей включает в себя тест на то, ощущает ли героиня себя частью природы и дочерью своей “природной” матери. Вопрос заключается в том, сумеет ли она принять себя амбивалентным, т.е. “нечистым” существом, наделенным и индивидуальным интеллектом, и телесным идентитетом, найдет ли

<sup>18</sup> Shcheglov, Y.K. Some Themes and Achetypes in Babel’s Red Cavalry. *Slavic Review*, 1994, 53/3, 670.

<sup>19</sup> Бабель И. Конармия // Бабель И. *Избранное*. М., 1966, С. 27-156.

<sup>20</sup> Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. *Бабель / Babel*. Carte Blanche, Москва, 1994, С. 311.

<sup>21</sup> Scholtmeijer, M. The Power of Otherness: Animals in Women’s Fiction. Adams, C.J. and J. Donovan (Eds.). *Animals and Women*. Duke UP, 1955, 232.

<sup>22</sup> Lotman, Ju. *Die Struktur des künstlerischen Textes*. Suhrkamp 1974.

героиня в себе после долгого срока гендерного андроцентризма советского эгалитаризма, путь обратно к своему телу.

Чтобы завершить нарратив и совершить “возрождение”, дочери должно убить “монстра” - который и здесь - как и у Бабеля - феминизирован: это свинья матери Васька, которого дочь хочет зарезать. Хрюша является феминизированным олицетворением тех социальных практик и ценностей, которые дочь, реализуя «проект» самоконструирования и самоконтроля, научилась презирать и которых она стыдится.

Свинья – это не только конкретные грязь и запах. Она напоминает дочери о табуизированном телесном измерении «советской культурности»<sup>23</sup>, которое дочь упорно хотела «вырезать» из своего нового “хабитуса”<sup>24</sup>. “Хабитус” – по Бурдьё<sup>25</sup> – это телесно-когнитивное воплощение социального статуса, который глубоко вписан в тело субъекта; он вообще функционирует благодаря соматическому измерению. Хабитус субъект воспринимает от общества путем неосознаваемой стратегии, и в этом процессе конструируется тело – именно гендерное тело – которое является “соматическим складом” для воплощаемых социальных идей и норм. Целью неосознанной стратегии является для рассказчицы то, чтобы достичь как можно эффективнее формы поведения, соответствующей культурным нормам среднего класса; борьба за признание создает фундаментальную дименсию социальной жизни,<sup>26</sup> - пишет Бурдьё. Дочь высоко ценит самоконтроль интеллекта, и со страхом, и с чувством отвращения относится к телесности. Как и у Бабеля, именно здесь находится центральный архетип виктимизации: оба рассказа основаны на виктимизации **феминизированных животных**. Ритуальное кровопролитие связано с животным как объектом инициации с целью найти себе гармоническое место в сообществе. Только во время жестокого и детально описываемого убийства свиньи дочь неожиданно узнаёт женский пол отвратительной хрюши: “Свинью перевернули на спину, живот ее был так грязен, что мама решила протереть его тряпочкой. И когда по бокам стекла вода, мы увидели вдруг на мягком белом животе розовые, беззащитные соски, наивно и жалко торчащие. Это была она, а не Васька, мне ведь даже в голову это раньше не приходило: всё Васька да Васька”<sup>27</sup>.

Аналогично герою Бабеля, который должен был принести в жертву свою инаковость, не свойственную солдатам интеллектуальность и не-мужскую чувствительность как феминизированный объект презрения казаков, героиня “Хрюши” также действует,

---

<sup>23</sup> Kelly, C. and Volkov, V. Directed desires: *Kul'turnost'* and Consumption. In: *Constructing Russian Culture in the Age of Revolution: 1881-1940*. Oxford UP, 1998, 291-313.

<sup>24</sup> Bourdieu, Pierre. *Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft*. Frankfurt a. Main, 1987, 102ff.

Bourdieu, Pierre. Die Objektivität des Subjektiven. Zur Logik symbolischer Formen. In: *Merkur* 1987, 41, 102.

<sup>25</sup> Bourdieu, Pierre. *Entwurf einer Theorie der Praxis*. Frankfurt a. Main, 1979, 200.

<sup>26</sup> Bourdieu, Pierre. *Rede und Antwort*. Frankfurt a. Main. 1992, 37.

<sup>27</sup> Василенко, 2000, 198.

согласно конвенциям культурных ритуалов “чистки”: дихотомия ”чистое/тело : без запаха” – ”грязное/тело : запах” охватывает и социальные, и моральные, и сексуальные бинаризмы порядочного-непорядочного, что дочь принимает на свой хабитус как норму культуры советской интеллектуальной элиты<sup>28</sup>, которая типологически напоминает феномен, о котором Петерсон пишет, как о «процессе окультуривания» среднего класса, «which starts early in life, involves training in self-discipline, disciplining the body. Both the physical body and the person's environment (including the house and to some extent even nature) are supposed to be clean and orderly. Thus the body is placed at the center of a campaign to conceal its physiology – to reduce the part nature plays in human behavior and to elevate culture to dominant status”.<sup>29</sup>

Непорядок для дочери феминизирован и представлен как женской, так и животной телесностью, телесностью и матери, и свиньи. Один и тот же самый “острый неприятный запах” (186, 188), заставивший героиню поморщиться, исходил и от маминого платья, и от свиньи (200); он объединяет маму со свиньей - и одновременно напоминает героине о её собственном “природном” - и, как кажется, надоевшем- идентитете в цепи женских поколений, как “дочи” своей матери.

Это слово - “доча” (187-188), вылетающее из уст матери, тянет героиню в состояние нестабильности, вызывающее у нее чувства вина, обиды и жалости за мать, даже отчаяние от того, “что ничего <она> не может изменить”, “никого не может наказать” (188) за то, что ее мать - настоящее **воплощение** “непорядочных” норм: и социальных, и телесных: “Ты! Инженер! Посмотри, на кого ты похожа, посмотри! На тебя ведь стыдно смотреть, с тобой идти стыдно! Завела свинью! От тебя же свиньей воняет! Я ее зарежу, твою свинью. Колхозница!” (188).

Встреча с матерью неожиданно нарушает стабильность равновесия самооценки дочери. Несомненно, артикулированный в ряду восклицательных предложениях напряженный ритм языка напоминает об идее Юлий Кристевой, согласно которой вытесненная из символической системы семиотическая модальность артикулирует чувственность “отвратительного” как “*abject*”<sup>30</sup>. Кристева пишет, что, когда говорящему субъекту грозит

---

<sup>28</sup> Peterson пишет: “Furthermore, in modern societies, cleanliness/purity is a symbolically charged value characterised by the interplay among the categories of the moral, the political, and the physical: it is, therefore, eagerly appropriated by the dominant culture in specific historical contexts for specific purposes. [...] In a middle-class culture, by contrast, lack of physical cleanliness is seen as an obstacle to equality and improvement, even though the physical body is hidden, and emphasis is placed upon a person's spiritual rather than physiological aspects. Spirituality in this culture is related to a particular kind of morality; [...]”. Peterson, N.L. *Dirty Women: Cultural Connotations of Cleanliness in Soviet Russia*. In: Goscilo, H. and Holmgren, B. (Eds.) *Russia, Women, Culture*. Indiana UP, Bloomington, 1996, p. 178, and p. 190.

<sup>29</sup> Петерсон использует термин «process of enculturation», Peterson 1996, 190-191. См. также: Dunham, Vera S. *In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction*. Cambridge UP 1976.

<sup>30</sup> “We may call it a border; abjection is above all ambiguity. Because, while releasing a hold, it does not radically cut off the subject from what threatens it – on the contrary, abjection acknowledges it to be in perpetual danger. But also because abjection itself is a composite of judgement and affect, of condemnation and yearning, of signs and drives. Abjection preserves what existed in the archaism of preobjectal relationships, in the immemorial violence with which a body

опасность потери своих границ, особенно между собой и матерью, *abject* – это тот “демаркационный императив”, который будет охранять субъект от потери самоидентичности. Очевидно, что нужда дочери в “чистой” телесности без всяких “запахов”, т.е. без знаков “анималистической” природы, заставляет дочь отдаляться от маминого тела, ибо, как пишет Мери Даглас<sup>31</sup>, “закон дистанцирования от физического оригинала” правит в ситуации, когда речь идет об определении границ между “мной” и “не-мною”.

Убийство свиньи соответствует глубокому, хоть и неосознанному чувству отвращения, которое дочь чувствует к материнскому телу и его запахам. Следовательно, именно мамино тело, которое вызывает в дочери стыд и таким образом напоминает ей о **ее собственном** амбивалентном непорядке, сама дочь не в состоянии дистанцировать себя от женской “грязной” телесности как основы собственного идентитета. Обнажается следующая метонимическая дискурсивная цепь: желание дочери зарезать свинью – это аффект, с помощью которого субъект переносит табуизированное негативное чувство “стыда”, направленное на мать, на животное, и дочь объявляет животное в качестве метонимии матери виновным за социальную и физическую грязь. Если мы считаем язык стыда-бешенства симптомом “языка травмы”, понимаемого Ириной Жеребкиной как центральный дискурсивный феномен современной литературы русских писательниц, то не трудно также согласиться и с ее тезисом, что в России “(...) женская литература является фактически одной из возможных практик женской травмы”<sup>32</sup>. Испытание героини напоминает и тот феномен, который Елизабет Спельман дефинирует как “соматофобию”<sup>33</sup>, объединяющую женщин, животных, детей и природу в контекст отвратительного тела. Рассказ также обращается к наследию советского прогресса, который многие воспринимали как «недостаток телесности», как пишет Кон, утверждая, что “[...] the bodilessness of his [советский человек. - A.R.] existence was directly related to the sexophobia of Soviet culture”<sup>34</sup>. На той же стороне, что и отвергаемое “не-чистое” тело в культуре располагались разные представители репрессированных: и животные, и политические диссиденты, которые несли печать негативных ассоциации “врагов народа” и были названы “зверями” в судебной риторике 1930-х годов.

Возрождение в форме реконструкции своего самочувствия предполагает со стороны дочери, что она будет принимать свою телесность как непрменный атрибут, что и нормы общества вписаны в тело как олицетворение ее культурного “хабитуса”. Ре-

---

becomes separated from another body in order to be – maintaining that night in which the outline of the signified thing vanishes and where only the imponderable affect is carried out.” Kristeva, Julia. *Powers of Horrors: An Essay on Abjection*. (Trans. Leon S. Roudiez). New York: Columbia UP, 1982, 9-10.

<sup>31</sup> Douglas, Mary. *Nature Symbols: Explorations in Cosmology*. London, Barrie and Jenkins 1973, 12.

<sup>32</sup> Жеребкина Ирина. *Гендерные 90-е, или фаллоса не существует*. СПб.: Алетейя, 2003, С. 180.

<sup>33</sup> Spelman, E. “Woman as Body: Ancient and Contemporary Views”. In: *Feminist Studies*. 1982:8/1: 109-131, pp. 120, 127.

<sup>34</sup> Kon, Igor. *The Sexual Revolution in Russia*. New York 1995, 133, также 129, 135.

идентификация дочери со свиньей-матерью доказывает, что в свое испытание телесностью дочь привносит и собственное опыт жертвования собой ради утопических проектов советской модернизации. Идентификация с животным помогает дочери набраться сил в своей репрессированной женской телесности. Животный взгляд мобилизует фрагментацию ее идентитета: именно взгляд Васьки (193) заставляет героиню почувствовать человеческое смущение перед животным (телом) и направляет ее на путь самоанализа. Идентификация с хрюшей представляется и деконструкцией человеческого идентитета и ре-конструкцией нового самопонимания. Понимание себя как “Другого” предполагает фрагментацию идентитета, что ведет к новому женского самопониманию. Трансформация совершается в конце рассказа: “цельность” в понимании себя “всем телом” (202) как примирение с матерью и с сыном достигается признанием героини, что и она сама была жертвой, но и ее собственные “руки мои были в крови” (203) вследствие участия в убийстве, т.е. виктимизирующей культуре. Разные, и неприятные, “не-чистые” чувства вины и запаха, и положительные чувства эмпатии и попечения, чувства, нужные для того, чтобы мир был лучше, смешиваются в новом сознании женского наследия.

Новая самоидентификация дочери формируется в процессе многократной метаморфозы, который объединяет мать, дочь, сына и животное в физическое и эмоциональное единство. Героиня Василенко – как и многие другие дочери-героини современных писательниц – конструируется в пространстве, где границы открыты также и для женского субъекта, и постсоциалистическая героиня становится гибридом: дочь не только воспринимает боль свиньи Васьки (200), но **в ней** стучат три сердца: ее собственное, сердце сына (203) и сердце матери (203). Дочь осознаёт свое место в “природной” продолжительности и генеалогии рядом со своей матерью, она становится собственной матерью<sup>35</sup>. В метаморфозе дочь идентифицируется и с мамой, “большой голубой нескладной птицей” (203) и с виктимизированным животным: “(...) мамины - не по размеру - старые ботинки врезались мне кожу, в ботинках хлюпала навозная жижа; мамино ситцевое платье задралось и втянулось между ног. (...) От меня резко и неприятно пахло потом и свиным навозом”. (201). Потеряв самоконтроль, то есть “спокойствие” перед убийством, дочь приняла свое новое состояние «непорядка» как начало нового идентитета, который включит репрессированные чувства как имплицированную часть внутреннего “Другого”.

Как связана виктимизация с теми культурными концепциями, которые “женский-животный вопрос” делает предметом критики? Виктимизация животных - как кажется - коррелирует с негативным символическим статусом, предоставляемым женственностью. Для

---

<sup>35</sup> Как писала Елена Гошило вообще и структуре в русской женской литературе в частности, что “(...) the daughter, despite her too visible rebellion, actually replicates her mother.” Goscilo, H. *Dehexing Sex. Russian Womanhood During and After Glasnost*. Ann Arbor, 1996, p. 37.

Василенко репрессия женственности и телесности является очевидным знаком существования “человека” в той символической конструкции советской и постчернобыльской парадигмы, где функции<sup>36</sup> немых жертв одинаково предназначены женщинам, детям и животным. Инструментализация насилия в техногенном обществе соответствует ритуализированному насилию, например, “павловским” опытам на животных, делавшимися ради науки<sup>37</sup>.

Рассказы о виктимизированных животных открывают дискурсивное место для рефлексии и сопротивления: для Василенко это знаменует – по словам Кристины Парнелл – “(...) попытку жить в ’женском мире’”, что возможно для Василенко “только как выход из ’жизни, управляемой разумом’, а это означает возможность выхода из символического порядка”<sup>38</sup>. Женское тело несет в себе память о виктимизации, которая выражается в коммуникации между женщиной и животным, которые связаны друг с другом аналогичной позицией инаковости. Это тема присутствует и в романе “Дурочка”.

“Чем отличается человек от животного? Наличием разума. Значит, она животное”. Это цитата из романа-жития “Дурочка”. (17) “Она”, Ганна/Надька, не из этого бездушного мира разума и человеческого превосходства. Она принадлежит мистическому миру, где она наслаждается пением, как птица, и плаванием, как рыба-Русалка. Она наслаждается миром вне всяких иерархий; следовательно, она “чужая” для тех, кто обязан соблюдать чистые дихотомические правила научной парадигмы. Для этого “реального” мира, очень напоминающего советское общество, героиня становится немой фантазеркой.<sup>39</sup>

В духе западной феминистской экофилософии текст обращает критику против рационалистической парадигмы такого мышления, которое основано на инструментализме и утилитаризме. Текст писательницы, которая знает не только о чернобыльском ужасе, но испытала уже и ранние ядерные ужасы в 60-х годах<sup>40</sup>, не может не указывать на травматические опыты: память о ядерном страхе “номадизируется”, сливается с загадочным языком в утопиях о спасении, о выходе из дихотомического порядка. В своей ориентации на

<sup>36</sup> Этой функции свиньи как феминизированной жертвы и субъекта женской ре-идентификации не противостоит тот факт, что назначение свиней как домашних животных – быть зарезанными. Интересно, что и сам процесс рефлексирования над кризисной, и особенно над гендерной идентичностью, в пост-социалистической культуре артикулируется с помощью домашних животных. См.: Rosenholm, Arja. Zur Selbstcharakterisierung der russischen Maskulinität durch Tiermetapher: “*Osobennosti nacional’noj ohoty*”. In: *Mutter Wolga – Vater Rhein*. Hrs. Elisabeth Cheauré. (In print, November 2004).

<sup>37</sup> Например, об опытах Павлова на животных см.: Bryld, Mette. The Days of Dogs and Dolphins: Aesopian Metaphors of Soviet Science. In: *Soviet Civilization between Past and Present*. Ed. By M. Bryld and E. Kulavig. Odense UP 1998, 53-77

<sup>38</sup> Парнелл, Кристина. *Женственность как отличие*. Дискуссия об идентичности в произведениях Светланы Василенко. Парнелл, К. Голоса других. Женщины и меньшинства в постсоветской литературе. *FrauenLiteraturGeschichte*. Bd. 18, Verlag F.K. Göpfer – Fichtenwelde, 2004, 88.

<sup>39</sup> Немая “дурочка” родилась в маленьком военном городке, родители избавились от “позора”, положили ребенка в колыбель и пустили по реке. Воды отнесли ее вспять в 30-ые годы, заставили ее пережить и сталинские 30-ые годы и ядерный кризис 60-х годов.

<sup>40</sup> Hasofferet, Corinna. Interview. Svetlana Vasilevna Vasilenko from ONCE SHE WAS A CHILD. In: [http:// www.archipelago.org/vol6-1/hasofferet.htm](http://www.archipelago.org/vol6-1/hasofferet.htm) (23.6.2004).

“плавающие” идентичности и пространства<sup>41</sup> - как мы уже видели в анализе рассказа “Хрюша” - Василенко создает амбивалентность, которая разрушает идею о сущностном различии между человеком и природой. Именно это - критический подход к “разорванности”, дуализму между культурой и природой, является центральной категорией в западном экофеминистском дискурсе. Вал Плумвуд пишет: “Rationalism is the key to the connected oppressions of women and nature in the West. Deep ecology has failed to provide an adequate historical perspective or an adequate challenge to human/nature dualism. A relational account of self enables us to reject an instrumental view of nature and develop an alternative based on respect without denying that nature is distinct from the self. This shift of focus links feminist, environmentalist, and certain forms of socialist critiques. The critique of anthropocentrism is not sacrificed, as deep ecologists argue, but enriched”<sup>42</sup>. По ее словам: “A feminist account of the domination of nature presents an essential but difficult further frontier for feminist theory, all the more testing and controversial because the problematic of nature has been so closely interwoven with that of gender. Because ‘nature’ has been a very broad and shifting category and has encompassed many different sorts of colonisation, an adequate account of the domination of nature must draw widely on accounts of other forms of oppression, and has an important integrating role”<sup>43</sup>. На Западе одним из феминистских и экофилософских тезисов является тот, что (западная) культура основывается на дуализме между человеком и природой, из которого вытекают и другие дуализмы, образующие иерархические отношения между полами, классами и этническими чертами. Другой тезис касается конструкции западного человека как существа вне природы<sup>44</sup>.

Василенко обсуждает оба этих тезиса: она критикует технократический образ рационалистической концепции человека и обращается к дуализму между разумом и природой, который вырастает до вопроса о подчинении природы, животных и женщин. Василенко критикует концепции андро- и антропоцентрического разума, и при этом она привносит гендерную проблематику в русский натурфилософский и филологический дискурс, который до сих пор игнорирует гендер, несмотря на то, что последний - один из центральных инструментов в фактической и символической дискриминации природы<sup>45</sup>. Василенко

<sup>41</sup> Я согласна с тезисом Кристины Парнел, что в своей ориентации на “женский мир” Василенко предпочитает “плавающие” идентичности и пространства. См.: Parnell, 2003, 88.

<sup>42</sup> Plumwood, Val. *Nature, Self and Gender: Feminism, Environmental Philosophy, and the Critique of Rationalism. Hyapatia*. Vol. 6, no 1 (Spring 1991), 3. (3-27).

<sup>43</sup> Plumwood, Val. *Feminism and the Mastery of Nature*. London, Routledge, 1993, p. 1.

<sup>44</sup> Plumwood, 1993, p. 2.

<sup>45</sup> См. Смирнова, А.И. Актуальные проблемы изучения современной натурфилософской прозы. *Природа и человек в художественной литературе*. Ред. А.И. Смирнова. Изд. Волгоградского гос. Ун-та, Волгоград 2001, pp. 5-13; Смирнова, А.И. Природа и национальный образ мира в современной натурфилософской прозе. *Природа: материальное и духовное*. Ред. Колл. Гринфельдт, Т.Я. Институт русской литературы. Санкт-Петербург, 2002, pp. 18-21; also Гурленова, Л.В. Изучение темы природы в русской литературе (понятийно-терминологический аспект). *Природа и человек в художественной литературе*. Ред. А.И. Смирнова. Изд. Волгоградского гос. Ун-та, Волгоград 2001, pp.14-23.

обсуждает советскую картину мира, где природа является полем исключений и объектом контроля, направленным как на животных, так и на разные группы людей как, и на проявления человеческой жизни, которые считаются “природой” внутри собственной культуры. Силы расизма, как и сексизма основываются на том, что различия - половые или этнические - образуются по отношению к животному, и телесность, сконструированная полем инфериорности как меньшей формы человеческого, лишается полноценной разумности и культурности. В этом контексте определить что-то как “природное” означает ефинировать его в качестве пассивного, не-действующего и не-субъекта, существующего в качестве противовеса, фона или *terra nullius*, в качестве ресурса, который пуст, лишён собственного значения, и становится объектом разума.

Повесть “Дурочка” показывает существование разных дуализмов, которые питают разные иерархии. Если мы читаем повесть в рамках феминистской экофилософии, мы можем реконструировать положительную связь между женщиной и природой; повесть придаёт положительные значения тому, что было маргинализировано, находилось вне культуры и разума: речь идет о “разорванности” между людьми, внешними и внутренними аспектами идентичности. Отрицая разорванность, немая героиня Надька/Ганна/Ахтуба предстаёт как амбивалентная фигура. Она существует на той пространственной границе, где мужчина-солдат Бабеля отказывается в процессе психокультурного “закаливания” от своей внутренней инаковости. Героиня оказывается амбивалентным гибридом, человеком-животным; она плавает, как рыба, поет, как птица. Женский персонаж разрушает андро- и антропоцентрический дуализм и вместе с ним дуализм между телом и духом. Если, с одной стороны, “натурфилософская” критика Василенко может быть связана с западной экофилософской парадигмой, то, с другой стороны, ее письмо очень “русское”.

Русской её загадочная “Дурочка” становится благодаря мифопоэтике, в которой объединяются и архаическая атмосфера, и сюрреалистическая действительность, и традиции жанра жития чудотворца и святой дурочки, русской юродивой. Святые и профанные, мифические и рационалистические начала противостоят друг другу, и наконец, также появляется психограмма старой Руси и советской России, которая основана на насилии: на революциях, убийствах, изнасилованиях...

Символическая жертва-спасительница является русской концепцией, повторяющей мифическую концепцию о “чистой русской женственности” со своей характерной трансцендентальной телесностью.<sup>46</sup> “Дурочка” восходит к традиции, обнаруживающей мотивы православной иконы Богоматери, юродивой и Святой Софии. Дурочка представляет собой

---

<sup>46</sup> См. Nohéj, R. Wunschträume und Alpträume. Zur Thematisierung von Körperlichkeit und Sexualität in der postsowjetischen Frauenprosa. In: *Frauenbilder und Weiblichkeitsentwürfe in der russischen Frauenprosa*. Hrgs. Christina Parnell. Frankfurt am Main, Lange, 1996, 193-212.

символ возрождения и, таким образом, означает возможность спасения. Василенко критикует Советский Союз за его коммунистическое мировоззрение: над человеком стоит еще один сверхчеловек - коммунист: “Я не человек - я коммунист”, - кричит Тракторина, представительница коммунистического разума. Создаваемый научно-техническим мировоззрением “новый человек” действует вроде машины, без “души” - закаляется как сталь, отвергает свои чувства, ощущения, отрицает непредсказуемость и не верит в чудеса.

Критическая концепция “Дурочки” опирается на символический и метафизический дискурсы. Вместе с тем возникает вопрос о том, может ли концепция, основанная на религии и традиции, подчеркивающей трансцендентальное измерение телесности, сформулировать идею дуализма души и тела иначе, чем, как “коммунистический рационализм”, и положительно отнестись и к душе и к телу? Мне хочется поставить вопрос: если Василенко критикует коммунизм за его агрессивное неприятие телесности (особенно у женщин), то разве религиозно-мифическая символика также не уничтожает и не отрицает - в качестве жертвы - “природное” и профанное тело во имя духа и души? Как нам в таком случае понимать конец рассказа, где Надья/Ганна поднимается на небо, чтобы родить трансцендентальное солнце? Поймет ли национальный “мегатекст”<sup>47</sup> русской мифопоэтики концепцию Василенко таким образом, что она воспроизводит именно ту гендерную традицию “русской идеи”, в которой логика сюжета **предполагает женскую жертву**? Совсем не трудно присоединить “Дурочку” к линии русской культуры, представленной “великими” мужскими рассказчиками, как Ф. Достоевский и А. Тарковский, для которых женская жертва несет в себе философскую “идею” надежды и спасения от телесности вне разума и духа: в этой традиции женщины являются святыми в своей невинности, они дети-жертвы, изнасилованные жертвы и всегда - немые. Другими словами: предлагает ли нам “Дурочка” положительную идентичность постсоциалистического времени, которая все же предполагает устранение “Другости” из культуры и тем самым возвращает и женщин, и животных обратно на то же самое место, т.е. место культурного другого?<sup>48</sup>

В репрезентации героини - в особенности в “Дурочке” - преобладают и женская репрессированность, и тематика жертвенности. Вопрос о женской жертве вместе с феноменом святого виктимизированного юродства русской культуры тесно связан с идеей “вечной

---

<sup>47</sup> Михайл Эпштейн использует термин “мегатекст”, который намекает на “стабильный” склад метафор о природе, животных и т. д. “Такой мегатекст не есть условная конструкция, он реально существует, у него свой читатель - народ, в памяти которого хранится вся совокупность текстов, составляющих национальную поэзию. (...) На уровне мегатекста становятся заметными все те сходства и взаимозависимости, которые не осознаются автором, сочиняющим свой единичный текст, но принадлежит сознанию целого народа (...)”. Эпштейн, М. *Природа, мир, тайник вселенной...* Система пейзажных образов в русской поэзии. М.: “Высшая школа”, 1990, С. 4.

<sup>48</sup> Также и Парнелл ставит вопрос: “Разумеется, можно было бы возразить, что это творение только повторяет вечно ассоциирующееся с женским элементом рождение, любовь, переживание”. Парнелл 2003, С. 100.

женственности”: репрезентация “жертвы” осуществляется амбивалентно. С одной стороны, женская репрессированность, соответствующая позиции животных как виктимизированных жертв, бросает вызов антропо- и андроцентрическим структурам, с другой стороны, можно поставить вопрос о продолжающемся влиянии русского культурного “мегатекста” на женское самопонимание, влиянии, требующем от (русских) женщин саможертвования во имя наслаждения в исключительности<sup>49</sup> как символа “цельности”<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Аспект “жертвования во имя наслаждения в исключительности” поднимает и Жеребкина в своем анализе современной женской литературе; см.: Жеребкина 2003, 189.

<sup>50</sup> “Цельность” является одной из центральных концепций, согласно которой “русская” женственность была дефинирована в литературном дискурсе в 19-ом веке. Концепция построена на амбивалентности, включая в своей идеализации мизогинные элементы. Кажется, что русские женские авторы всегда должны были деконструировать концепцию.

## **ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО И КОНСТРУИРОВАНИЕ АВТОРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ АВТОРОВ-ЖЕНЩИН РУССКОГО РАННЕГО МОДЕРНИЗМА**

**(Зинаида Гиппиус и Нина Петровская)**

В известной статье «Конец Ренаты» В. Ходасевич утверждает, что из попытки «слить воедино жизнь и творчество (...) возникло великое заблуждение символизма, его смертный грех» (Ходасевич 1991, 10.) Доказательством этого для него является, в первую очередь, трагическая судьба Нины Петровской. Для многих исследователей до нынешнего дня изящно написанная статья Ходасевича стала не только источником истории русского символизма, но и образцом ее изложения. Тем самым Нина Петровская стала символом житнетворчества: ее образ функционирует как хронотоп русского символизма, так как он предлагает собой многогранный и занимательный сюжет, с помощью которого можно представлять разные аспекты феномена житнетворчества.

Миф о Петровской состоит из литературных и жизненных столкновений. Любовные отношения Петровской сначала с Андреем Белым, потом с Валерием Брюсовым рассматриваются не только как реальные, но и как разыгранные по правилам символистской эстетики. Тем самым в отношениях видят воплощение черт раннего (религиозного) и позднего (декадентского) символизма. Самым известным следствием любви является роман Брюсова «Огненный Ангел», который изображает любовную историю Петровской (Рената) и Белого (ангел Мадииел - граф Генрих фон Оттергейм). Брюсов сам олицетворен в Рупрехте, герое романа, от лица которого ведется повествование. События происходят в средневековой Германии, но материалом для фабулы служили личные признания Белого о его любовных отношениях с Петровской.<sup>1</sup> Для истории литературы интересным является не только сам роман, но и история и методы его написания, а также и возникшие там интертекстуальные связи. Кроме того, любовные интриги участников житнетворчества предлагают сенсационный материал, который выполняет функцию иллюстрации литературно-исторического повествования, как, например, попытка Петровской стрелять в Белого во время его лекции.

---

<sup>1</sup> Подробный анализ в ст. С.С.Гречишкин и А.В.Лавров: Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел». Wiener Slavistischer Almanach 1978. Band 1-2.

Центральной темой мифа о Петровской является любовь – важнейшая сила художника в творческом процессе.<sup>2</sup> Тем самым, жизнетворчество тесно связано с романтическим пониманием роли поэзии и поэта, творца, который пишет под влиянием божественного вдохновения. Важнейшим орудием труда романтического художника является его собственное сознание, расширение которого является предпосылкой развития творчества. Например,

For Briusov the artist's soul was the source of all art, and if that source was muddled or dried up, the artist was dead. (Creating life 1994, 133)

[Brjusov] strongly belived that experience of intense pasion was the sine qua non for an artist who would penetrate the soul's depths. (Ibid 134.)

По выражению Ходасевича (1991, 11), «любовь открыла для символиста или декадента кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоции». Вдохновение тесно связано с подчеркнутой ролью женственности – с музой, оживляющей дух художника. Тем самым любовь (или Эрос, как культурная категория) связывает жизнетворчество с понятиями пола и гендера. Жизнетворчеству свойственна типичная для культуры *fin de siècle* гендерная маркированность и мышление с помощью гендерных метафор.

Заметим, что жизнетворчество символистов – явление, которое намного старше и шире самого символизма. Известно его соотношение с немецким романтизмом и, например, Ш. Шахадат связывает понятие жизнетворчества с *"Foucaultschen Subjekt, das sich in seinem besonderen Sein zu modifizieren und aus seinem Leben ein Werk zu machen sucht"* (Binswanger 2002, 141). Миф о Петровской не исчерпывает все аспекты русского символистского жизнетворчества. Его можно рассматривать как разновидность эстетического быта и поведения в духе *Art Nouveau*. С этим связан идеал преобразования быта с помощью искусства, который, как известно, получил на русской почве широкий и утопический резонанс. В основе символистского жизнетворчества лежит глубокая убежденность в том, что искусство есть нечто большее, нежели только искусство, и может изменить жизнь. (Creating life 1994.) С эстетизмом поведения тесно связано также самоутверждение себя как поэта, подчеркивание своей уникальности и необыкновенности, непохожести на других. В этом подчеркивается возможность моделировать самого себя и, таким образом, идентичность теряет свою статичность.

---

<sup>2</sup> Напомним, что также в другом классическом примере жизнетворчества – в отношении А. Блока к своей невесте Л. Менделеевой – любовь занимает главное место.

Цель данной статьи – поднять вопрос об особом значении жизнетворчества для авторов-женщин, указывая на самые наглядные пункты конструирования авторства Нины Петровской (1884-1928) и Зинаиды Гиппиус (1869-1945). Жизнетворчество – явление многогранное вообще и особенно в биографии и творчестве этих двух авторов. Однако, в данной статье я ограничусь лишь рассмотрением жизнетворчества с точки зрения авторской идентичности и постараюсь найти ответ на вопрос: какие возможности и какие преграды эстетика и практика жизнетворчества предлагала для развития авторской идентичности и в чем заключается его специфичность для авторов-женщин? Жизнетворчество и моделирование авторского «Я» свойственны всем авторам независимо от их пола. Однако, это по-разному актуализируется у авторов-мужчин и авторов-женщин, так как и общественное положение женщин и культурное положение женственности отличается от мужчин/мужественности. (См., напр, Рябов 1999) Напомним также, что само явление жизнетворчества сильно гендерно маркировано.

Авторская идентичность понимается здесь как совокупность социальной и творческой сторон: во-первых, это - самопонимание автора и укрепление авторского «я» в литературном творчестве и, во-вторых, репрезентация избранного «Я» в публичном поведении. В процессе формирования авторской идентичности символистского автора именно жизнетворчество играет важную роль. Дело в том, что как в формировании авторской идентичности, так и в феномене жизнетворчества соединяются художественная и социальная стороны, как провозглашает лозунг «жизнь и поэзия – одно». В жизнетворчестве содержанием творчества становится личная жизнь автора – и(ли) автор строит свою собственную жизнь по модели художественного произведения. Т.н. «тексты жизни» и «тексты искусства» переплетаются и, тем самым, творчество закрепляет образ автора, его лирическое «Я». Человеческая жизнь воспринимается не как предсказуемая, а скорее как открытая для разных реализаций. Schamma Schahadat (2002, 63-93) говорит в этой связи о виртуальности символистского романа.

Можно утверждать, что салон – пространство между публичным и частным, общественным и литературным – отличная сцена для жизнетворческой игры. По гендерным признакам салон не являлся исключительно женским или исключительно мужским пространством – а, наоборот, в основе его функционирования было смешение полов-гендеров. О расцвете салонной культуры и ее значении для участия женщин в литературной жизни пишет Б. Хольмгрен:

... fin-de-siècle Russian society was generally reworking, revaluating, and reassigning long-established gender images and roles and that this grand experiment had a profound impact on women's functions and value in the salon (Holmgren 1996, 229-230).

Несмотря на разные жизненные пути, разные литературные карьеры и противоположные оценки в критике, между Гиппиус и Петровской изначально было много схожего: они были участниками символистского течения с самого начала, участвовали в символистских изданиях и обе имели салоны.<sup>3</sup> В этих совпадениях, однако, проявляются также их отличия.

Салонная деятельность Гиппиус принимала разные формы в разные периоды, но была всегда существенной частью ее жизни. В начале века вокруг Гиппиус и Мережковского организовалась группа представителей нового мышления в культуре. Затем движение расширилось и приобрело форму Религиозно-философских собраний. В 1910-е годы квартира Мережковских становится одним из центров петербургской культурной жизни – тогда существенным оказывается объединение вокруг Гиппиус небольшого, но значительного кружка молодых поэтов. (Русская литература рубежа веков кн.1. 2000, 862, 870). В эмиграции из литературных *soirées* в квартире Мережковских возникла литературное и философско-религиозное общество Зеленая лампа (Пахмусс 2002, 352). В мемуарах участие Гиппиус описывается как остроумное и провокационное.

В квартире Петровской и ее мужа Сергея Соколова-Кречетова (владельца издательства Гриф и редактора одноименного альманаха) на Знаменской в Москве также с 1902 года собирались литературные деятели. Среди самых известных можно назвать Бальмонта и Белого. Петровская была «блестящей хозяйкой модного литературного салона» (Гарэтто 1989, 13). Она сама, однако, воспринимала ситуацию довольно отрицательно:

Наша квартира (мы их потом часто меняли) мне всегда казалась гостиницей, где живу я случайно и проживу недолго, проходным литературным двором, или артистическим кабаре с вечно накрытым для очередных яств и питий столом. К услугам посетителей.  
(Петровская 1989, 44.)

Можно полагать, что Гиппиус активно перерабатывала «правила» салона и роль хозяйки. Она обустроила ситуацию так, что салон стал пространством самоутверждения. Зато Петровская скорее выполняла обязательные функции хозяйки салона, не стремясь к обновлению обстановки. Новаторство Гиппиус противопоставляется традиционности Петровской, позиция субъекта позиции объекта. Эти черты наглядны также в других сферах их жизни и их творчества, может быть, особенно с их отношениями с мужчинами.

---

<sup>3</sup>В этой связи, естественно, возникает вопрос о талантливости того или другого автора. Мы привыкли к такой мысли, что Гиппиус чуть ли не гениальна, а Петровская – незначительная фигура. Однако, ранние произведения обоих авторов, мало друг от друга отличаются. Мы не можем знать какова была бы карьера Петровской в благополучных условиях и могла ли она развиваться как автор.

В исследовательской литературе образ Петровской нарисован сквозь призму ее любовных отношений: она жена главного редактора Грифа, «подруга» Белого, любовница Брюсова, муза Бальмонта и т. д. Во всех этих отношениях Петровская оказывалась в традиционной роли женщины – музы или роковой женщины. Ее зависимость от любовников, в первую очередь от Брюсова, является генеральной темой ее жизнеописания (см., напр., Ходасевич, Гречишкин и Лавров)<sup>4</sup> А Гиппиус сохранила/приобрела и в жизни, и в истории литературы позицию субъекта. Во-первых, отношения Гиппиус с мужем, Д. Мережковским, были плодотворны для творчества обоих супругов. По собственному выражению Гиппиус (в книге «Дмитрий Мережковский»), их союз оказался благополучным, потому что

... разница наших натур была не такого рода, при каком они друг друга уничтожают, а, напротив, могут, и находят, между собою известную гармонию. (Гиппиус: Живые лица 1991, т.2, 185.)

Во-вторых, если брак с Мережковским был предпосылкой взаимного творчества, то «влюбленность» предлагала вдохновение. Гиппиус испытывала чувство «влюбленности» к гомосексуальным мужчинам, в первую очередь к третьей «составляющей» их брака, Д. Философову (См. Злобин 1980, 77-133). И, в-третьих, в отношениях к молодым поэтам Гиппиус была в роли руководителя, не типичной для женщин. Хорошо видно, как она во всех областях разрушает традиционный гендерный порядок и бунтует против гендерной модели женственности и мужественности эстетики символизма – хотя своих высказываниях одновременно, судя по ее высказываниям, эту модель воспринимает. (Presto 2002, 144)

Этот бунт прекрасно отражается в портрете Гиппиус, нарисованном Л. Бакстом. В портрете зафиксировано восприятие Гиппиус, как разрушителя пола: красивая женщина в мужской одежде, в неженственной позе, отражающей власть, самоуверенность и гордость. Бакст изображает ее как андрогина – идеальной формы духовного существования, по мнению Гиппиус<sup>5</sup>. Так как на большинстве фотографий Гиппиус одета в обычную женскую одежду своего времени, можно утверждать, что портрет Бакста изображает скорее восприятие ее творчества и житетворческой игры с собственным «Я». Безусловно современники воспринимали ее поведение как провокационное. Такое восприятие нашло выражение также в прозвище «декадентская мадонна». Можно полагать, что типичное и распространенное

---

<sup>4</sup> Исключением является статья Delaney Grossman, в которой рассматриваются философские основы житетворчества Петровской. (См. Creating Life.)

<sup>5</sup> В рамках данной статьи нет возможности касаться важной темы андрогинности Гиппиус. Об этом см. напр. Matich 1974 и 1979.

восприятие Гиппиус сквозь призму ее одежды и внешнего вида (неосознанно?) ассоциируется с перформативность ее «личности», которую можно менять, как одежду.

О вариациях и о моделировании литературной «личности» рассказывают также псевдонимы и разные формы рассказчика и лирического «Я». Псевдонимы Гиппиус, как известно, мужские (Антон Крайний, Лев Пуцин, Товарищ Герман...), также ее лирическое «Я» мужского рода, и прозаическое повествование часто ведется от мужского лица. Кроме того, свое имя она писала в форме З.Гиппиус – не раскрывая свой пол. По тематике ее поэзия оценивается как исключительно мужская, так как она философская, даже теоретическая по содержанию и избегает «типично женских» («дамских») тем. Таким образом, как писательский имидж – образ автора, так и поведение и наружность З. Гиппиус, как бы специально сделаны для отражения внутренних и(ли) внешних атак на возможности женщины в области творчества. Тем самым, поведение Гиппиус считалось бунтом против половых ролей в эстетическом климате русского символизма.

Петровская публиковала рассказы всегда под своим именем, а также почти всегда подписывала свои рецензии собственным именем. Несмотря на мужского перволичного повествователя, точка зрения в ее рассказах скорее женская. Чуть ли не единственной темой рассказов Петровской является трагические любовные отношения мужчины и женщины и весьма часто происшествия показывают несчастную судьбу женского персонажа. Ее рассказы часто автобиографичны, в них встречаем отсылки к событиям собственной жизни, (например, о лете на озере Сайма с Брюсовым). Однако, житнетворческого элемента в них нет, как его нет и в конструировании авторского «Я».

Житнетворчество Гиппиус было скорее в области литературного поведения, а не в самих текстах. Известно, что она считала свои стихотворения глубоко личными, называла их молитвами или дневником. По мнению Злобина, по стихам можно реконструировать ее настоящую автобиографию. Однако, далее по мнению Злобина, может идти только тот, кто имеет ключ. (Zlobin 1980, 26.) Так или иначе, в стихах нельзя найти житнетворческого элемента, так как все личное получило форму общего. Также личная жизнь Гиппиус не стала наглядным материалом искусства, например, в форме ключевого романа. Зато, подобно Петровской, Гиппиус моделировала свою собственную жизнь по образцу литературного произведения.

Как известно, Петровская повторила судьбу Ренаты из романа Брюсова «Огненный ангел». За превращением жизни Петровской в искусство Брюсова последовало превращение искусства Брюсова обратно в жизнь Петровской: после выхода романа Петровская старалась строить свою жизнь по образцу персонижа, действия «Огненного ангела». Об этом она писала Брюсову, утверждая, что «В глубине моего сердца я та Рената, что рыдала о тебе в Кельнском соборе...», и подписывая письмо – «Рената». В 1910-е годы Петровская перешла в католичество, приняв имя Ренаты. (Брюсов и Петровская 2004, 325-326, Гречишкин и Лавров 1978 ч.2, 83-84.) Заметим, что Рената – не авторское «Я», а литературный персонаж.

Как показывает исследование О. Матич (1994), Гиппиус строила свою жизнь по моделям литературы 1860-х годов, особенно по роману «Что делать» Ник. Чернышевского. Важными для нее были не только «новые люди», но и новый тип союза между мужчиной и женщиной, и особенно главная героиня романа Вера Павловна. Как утверждает Эндрю (Andrew 1988, 165), Вера Павловна представляет собой редкий тип героини в русской литературе в том смысле, что она изображена как «личность» не статичная, а развивающаяся, а также с богатой внутренней жизнью и с политической идеологией. Это весьма интересно в свете отрицательных высказываний Гиппиус о женском движении (Ebert 1992). На самом деле это подтверждает мнение К. Келли о том, что женщины символизма/модернизма были больше феминистками, чем женщины, которые участвовали в женском движении (Kelly 1994, 153). Образец для Гиппиус – женщина с идеологией и волей, в то время, как в Ренате олицетворены архетипичные женские черты, такие, как хаос, иррациональность и потусторонние силы (ведьма).

Указав на особенности жизнетворчества Гиппиус и Петровской в салонной деятельности, в отношениях к мужчинам, в практике псевдонимов и авторского «Я» и, в конце концов, в жизнестроении по модели художественной литературы, можно сделать следующие выводы:

На первый взгляд, внимание обращается на традиционность vs. новизну выбранных этими двумя писательницами ролей. Главным обстоятельством, отличающим двух рассматриваемых авторов, является их отношение к гендерному порядку. Гиппиус нельзя вписать в готовые категории мужественного и женственного. Зато роль Петровской имела всегда какое-то отношение к половой полярности и к идее комплементарности полов. В жизнетворческой судьбе Петровской воплотилась символистская гендерная модель (вдохновляющая женственность и *femme fatale*), в то время как Гиппиус оперировала другими идеями символистской эстетики – идеалом андрогинности творца. Именно поэтому у Гиппиус

жизнетворчество была средством конструирования авторской идентичности, а у Петровской оно оказалось препятствием на литературном пути, по крайней мере в России и в среде символистов.

Далее, если Петровская играла роль (или несколько ролей) в согласии символистской эстетикой, то Гиппиус сама перерабатывала эстетические концепции. Она скорее выбирала себе маски, чем играла роли. Под этими масками, я полагаю, ее творчество освобождалось от того, что ожидали от пишущих женщин. Другими словами, Гиппиус приняла эстетику символизма, включая и ее положения о женственности, но при этом она вырабатывала для себя альтернативные идентичности. Зато Петровская была пассивной в выборе ролей. Она скорее была актрисой, которая исполняет готовые роли.

Легко увидеть, что Петровская – переименованная в Ренату - стала необходимой декорацией исторического повествования. Гиппиус имела также все основания для того, чтобы стать символом житнетворчества, но это как бы ускользает от внимания мемуаристов и исследователей из-за устойчивых гендерных форм мышления. Житнетворчество Петровской вполне исполняет ожидания о символистском идеале женственности, роли женщины, а также соответствует традиции изображения явления в форме женщины (как, например, философия, история...). Осознанная цель житнетворчества Гиппиус, наоборот, в том, чтобы оторваться от этих категорий. Учитывая эти тенденции в восприятии и создании истории литературы, пассивность и восприимчивость Петровской необходимо подвергнуть пересмотру<sup>6</sup>. Можно полагать, например, что авторы мемуаров и литературной истории, переувеличивают зависимость Петровской от Брюсова, утверждая, что он был якобы единственным содержанием ее жизни в эмиграции. Но так можно сказать, только если не учитывать ее творчество. Важным в этом отношении является рассказ Петровской «Смерть Артура Линдау» – явный заговор против идей житнетворчества. Хотя к аутентичным источникам литературных, не говоря уже о личных, идентичностей Гиппиус или Петровской нет доступа, подробный анализ места обоих авторов в истории литературы – важное дело будущего.

В данный момент можно утверждать, что примеры Гиппиус и Петровской подтверждают, что в самой эстетике символизма заключены факторы, которые играли большую роль в жизни женских авторов, независимо от того, каково было их отношение к женскому делу в смысле социального движения. Так как эстетика житнетворчества ставит под вопрос границы субъекта/автора, текста и окружения, стало возможным также пересекать эти границы. В случае автора-женщины основополагающим оказывается отношение к гендерному порядку. Из

---

<sup>6</sup> Первой попыткой подобного рассмотрения является сатья Joan Delaney Grossmann in *Creating Life*, 1994.

истории мы видим, что в тех случаях, где жизнетворческая игра автора была в согласии с традиционными ролями мужчины и женщины (в том смысле как они воспринимаются в эстетико-художественном контексте), это было препятствием на пути женщины в литературу. Зато во всех случаях, когда жизнетворчество воплотилось в форме игры и ставило под вопрос традиционные гендерные модели, оно тем самым сильно поддерживало формирование авторской идентичности и открывало возможности для более широкого творческого пространства. В этих случаях жизнетворчество была как бы примеркой новой одежды или апробацией новой ролевой игры, которая предлагала выход от узкого понимания авторства и гендерных ролей творческого процесса. С точки зрения конструирования авторской идентичности, положительное влияние жизнетворчества можно обнаружить у П. Соловьевой. В случае Л. Д. Зиновьевой-Аннибал ее развитие как самостоятельной писательницы началось с того, что она сначала иронически отозвалась на символистскую эстетику и жизнетворчество в повести «Тридцать три уroda» и затем освободилась от него, как свидетельствует повесть «Трагический зверинец». Отрицательно жизнетворческая практика влияла на творчество Л. Вилькиной, Надежды Львовой и Черубины де Габриак. Можно спорить о том, в какой степени Мирра Лохвицкая относится к символизму. Однако, она тоже пересекала границы гендерных моделей, которые не разрешают женщине творческой индивидуальности. Но если Гиппиус и Соловьева пользовались мужскими и андрогинными масками, то Лохвицкая преодолевала пределы с другой стороны – со стороны сверхженственности. Утрированная женственность стала для нее маской, защищающей от критики.

В статье *The Silver Age: highpoint for women?* Розенталь находит несколько различных причин для появления множества авторов-женщин в русской литературе. Во-первых, среди общественно-политических причин можно указать на формирование женского движения, улучшение возможности женщин в получении образования и работы, а также изменение семейной структуры. Во-вторых, не менее важными были изменения в области искусства и философии – повышение статуса искусства вообще и переход от детерминизма к индивидуализму. Особенно важным условием была переоценка ценностей, проповедником которой являлся, в первую очередь, Ф. Ницше. (Rosenthal 1992). К числу причин можно отнести и явление жизнетворчества в русском символизме, особенно при его «гендерных основаниях».

Хотя рассматриваемый период ограничен – я говорю лишь о первом десятилетии XX века – творческие биографии авторов-женщин имели немалое значение как примеры для начинающих свою литературную карьеру женщин. Положительные – с точки зрения

литературы – судьбы нескольких авторов-женщин русского символизма служили важными примерами и моделями для многих из волны женской литературы 10-х годов прошлого столетия.

Таким образом, можно сказать, что феномен житнетворчества (особенно для женщин) был не таким уж отрицательным, как полагает В.Ходасевич. Скорее житнетворчество было двойственным явлением. В этой двойственности понятие гендера является ключевым, для раскрытия влияния феномена на развитие авторской идентичности писательниц и поэтесс периода символизма. Этого понятия у Ходасевича не хватало, потому он и не мог полностью оценить значение житнетворчества.

## Гендерные отношения в кавказских произведениях Л.Н. Толстого

Характеризуя употребление понятия “гендер” в российских исследованиях как двусмысленное, потому что оно выражает одновременно и то, *что* исследуется и то, *как* это делается, т.е. и предмет, и метод, автор доклада “Гендер” в российских исследованиях, или о преграде как подмене” Г.А. Бранд предлагает развести эти значения. При этом предпочтение отдается последнему: гендер – важный *методологический ключ*, позволяющий открывать новые перспективы видения как бытия человека, так и любого явления общества и культуры.

Из-за двусмысленности термина возникает двойственность восприятия обозначенной в предварительной программе Международного семинара проблемы – гендер нации и национальный гендер. Действительно, как понимать “гендер по-русски”: как особенности гендерных исследований в России или как специфику гендерных отношений людей, принадлежащих русской нации? Думается, имеет место как первое, так и второе, причем последнее действительно обладает особенностями, в то время как первое стремится быть всеобщим.

В докладе Н.А. Блохиной “Об исторической ограниченности гендера” отмечается, что в западном обществе термины “пол” и “гендер” используются и как синонимы, и как противоположности, что чёткого различия пола и гендера не существует, поэтому необходимо изучать взаимодействие биологического и культурного в формировании гендерной идентичности<sup>1</sup>. Та же мысль завершает статью Джудит Лорбер, которая признает, что пол как социальная конструкция и пол как биологическая категория взаимозаменяемы и составляют дихотомическое единство<sup>2</sup>. Переплетение гендерной, расовой и классовой принадлежности<sup>3</sup>, актуальное для Америки, требует некоторой корректировки применительно к Югу России. Более подходящим для этих условий является соотношение гендерной, этнической (национальной) и субэтнической принадлежности.

Патриархальное общество, которое часто характеризуется как основанное на культе силы, господстве мужчины над женщиной, человека над природой, одной нации над другой, как разрушающее личность<sup>4</sup>, также имеет специфические субэтнические особенности в среде казаков. Необходимо учитывать и такие категории, как гендерные стереотипы и гендерные роли, а также процессы гендерной социализации и гендерный дисплей.

---

<sup>1</sup> Под идентичностью понимается “осознание себя как представителя данного пола”, “осознание своей принадлежности к полу в социальном контексте” (Джудит Лорбер). См.: *Феминизм и гендерные исследования: Хрестоматия* / Под ред. В.И. Успенской. Тверь, 1999. С.19.

<sup>2</sup> Лорбер Д. Пол как социальная категория // *Феминизм и гендерные исследования*. С.21.

<sup>3</sup> Там же. С. 20.

<sup>4</sup> Калабихина И. Методология гендерного анализа / *Феминизм и гендерные исследования*. С. 25.

Материалом для изучения внутрисоциальных, классовых, межнациональных, добрых и семейных отношений, отраженных литературе второй половины XIX века, послужили кавказские произведения Л.Н. Толстого. Реальные события, чувства, пережитые начинающим писателем на Кавказе, легли в основу рассказов и повестей, написанных или задуманных им в период с 1851 по 1854 годы. Кавказские мотивы сопровождали Толстого на протяжении всей его жизни и звучали в ранних военных рассказах и в “Кавказском пленнике” (1872), в повести “Казачество” (1852–1862) и в “Хаджи-Мурате” (1896–1904).

Проблема национального характера, национального своеобразия личности и народа в изображении этого великого художника слова – одна из важнейших, и если в монументальных произведениях она в центре внимания исследователей, то в небольших по объему повестях и рассказах обозначенная выше тема часто ускользает из поля зрения читателя и критика. Особенный интерес в исследовании творчества Толстого вызывает тема “Русские на Кавказе”. Для постижения “русскости” гендерных отношений необходимо, на наш взгляд, рассмотреть социально-психологические типы людей в художественном пространстве, созданном писателем; их мировосприятие и взаимоотношения, выявить общее и особенное в поведении казаков (в сравнении с гендерными стереотипами) и взгляд автора на изображаемый мир.

Внетекстовые структуры, т.е. представления писателя о реальной действительности, можно восстановить благодаря его дневникам, воспоминаниям очевидцев, современников и т.д. Приведенные Л. Семеновым воспоминания командира 77-го пехотного Тенгинского полка В.М. Щелкачева, который в первой половине 50-х годов, будучи пехотным юнкером, у одного из знакомых офицеров застал братьев Толстых, подтверждают слова самого Толстого: “Я стараюсь заводить как можно меньше знакомых..., и я уверен, что про меня говорят, что я *гордец и чудаков...*”. Правда, Л. Толстой объясняет это разницей в воспитании, в чувствах, во взглядах с офицерами-кавказцами, а не гордостью, Щелкачев же прямо говорит: “Он гордый был: другие пьют, гуляют, а он сидит один; книжку читает”<sup>5</sup>.

В этом случае социальный стереотип поведения кавказского офицера не совпадает с нравственными установками молодого волонтера и не принимается им, что вызывает непонимание окружающих и, соответственно, отрицательную оценку его поведения. Таким Толстой был в офицерской среде, но с казаками и горцами отношения складывались по-другому: достаточно вспомнить имена друзей-кунаков писателя – Епифана Сехина, Садо Мисербиева, Балты Исаева. Это объясняется преобладанием других представлений о мужественности и мужском идеале “настоящего джигита”, отраженного впоследствии в повести “Казачество”.

---

<sup>5</sup> Семенов Л. Лев Толстой и Кавказ// Кавказ и Лев Толстой: Сборник / Под ред. Л.П. Семенова. Владикавказ, 1928. С. 4–5.

Уже в первом кавказском рассказе (“Набег”) молодой писатель определил проблему национального характера, сопоставляя истинную и показную храбрость, эскизно обрисовал взаимоотношение русских и горцев, отмечая в первую очередь особенности их поведения. Центральный герой этого и последующих рассказов – русский народ: солдаты, офицеры, казаки; их отличительное качество – истинная храбрость. Пожалуй, нет ни одной литературно-критической работы, в которой не отмечалось бы это качество, наиболее ярко выраженное в образах капитана Хлопова (“Набег”) и капитана Тросенко (“Рубка леса”). Толстой исследует это мужское качество в контексте мировой культуры.

Исследователями замечено сходство определения храбрости, которое дает Хлопов (“...храбрый тот, кто ведет себя как следует”), с определением Платона, и это сравнение не в пользу греческого философа. Л.И. Емельянов, показывая сочетание в образе Хлопова храбрости и простоты, обращает внимание на то, что у Толстого в описании поведения капитана в бою слова “простота” и “истина” поставлены рядом. Критик расценивает это как признак подлинного нравственного величия, “тот самый признак, который имел в виду еще Аристотель, сказавший: “Простота есть красота истины”<sup>6</sup>. Толстой в ходе художественного повествования доказывает, что правильное понимание храбрости, подкрепленное соответствующим поведением в бою, есть истинная храбрость.

Автора интересует не только понимание храбрости и ее проявление, но и своеобразие русской храбрости. Оставаясь в минуту опасности таким же, как всегда, человеком, спокойно занятым своим делом, Хлопов, по мнению автора, не сказал бы великого слова, боясь тем самым испортить великое дело. Отмечая, что это и есть “особенная и высокая черта русской храбрости”, автор в форме риторического вопроса говорит о проблеме нелепого подражания всему французскому среди молодежи: “французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству” между молодыми воинами вызывают боль в русском сердце автора<sup>7</sup>.

В рассказе “Рубка леса” автор продолжает развивать мысли и идеи русского характера, воплощенного преимущественно в образах русских солдат. Толстой замечает, что “дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом”. Автор подчеркивает: “В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность,

---

<sup>6</sup> Емельянов Л.И. Герои Толстого в историко-литературной концепции Аполлона Григорьева// Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. - Л.: Наука, 1979. С. 166. См также: Виноградов Б.С. Кавказ в творчестве Л.Н. Толстого. Грозный, 1959. С.58 и др. работы.

<sup>7</sup> Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1928–1958. Т.3. 1932. С. 37. Далее ссылки на это собрание даются в тексте, в круглых скобках, с указанием тома и страницы.

простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера” (3, 70–71).

Определяя типы солдат, Толстой отмечает, что чаще всего встречается тип покорного – “тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кроткостью, набожностью, терпением и преданностью воле божьей”. Характеризуя этот тип в его разновидностях, писатель выделяет такие качества, как хладнокровие, презрение ко всем превратностям судьбы; поэтическую склонность и чувствительность, и вместе с тем “ограниченность умственных способностей”, соединенную “с бесцельным трудолюбием и усердием”.

Среди “начальствующих” он особо отмечает “тип весьма благородный, энергетический, преимущественно военный, не исключаяющий высоких поэтических порывов”, примером которого в рассказе является ефрейтор Антонов. Не менее интересен тип отчаянного забавника, воплощенного в образе Чикина, которому свойственны “непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль” (3, 43–44).

Перечисленные типы характеров можно рассматривать как социально-психологические варианты проявления “мужского”, солдатского (крестьянского), национального. Яркий пример гендерного дисплея как проявления “мужского” поведения, обусловленного гендерным статусом, присутствует в авторском рассказе об Антонове (“Рубка леса”). “Выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому” проявлялось у героя в те редкие минуты, когда он запивал. Определена и цель драк и буянства – “не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства”, представителем которого он себя чувствовал (3, 46–47).

В военных рассказах специфика русского характера показана преимущественно в образах русских солдат, а казаки лишь изредка привлекают внимание автора. В “Набеге” они были показаны как часть массы (драгуны, казаки, пехотинцы), донские казаки – при неудачном дележе добычи (гл. IX) и только один раз Толстой заметил: “Казачьи конные цепи рассыпались вдоль опушек” (гл. VIII). Во втором рассказе перечисляются военные действия казаков, пехоты, артиллерии. Иными словами, на первое место выдвигаются воинский статус, объединяющих всех русских.

Не обойдена вниманием Толстого-художника и проблема взаимоотношения русских и горцев. Для Хлопова, как и для остальных, горцы прежде всего “неприятель”, собирательное “он”. В диалоге между плененным стариком-татаринем и поручиком Розенкранцем во время пребывания русских в ауле на вопрос: “Разве ты не боишься русских?” пленник отвечает: “Что мне русские сделают? Я старик” (3, 35). В этой реплике – и гордое достоинство, и усвоенный с

детства горский этикет уважения к старшим по возрасту, который подразумевается и у русских, как общечеловеческое качество.

Отношение русских к горцам по-разному проявляется в зависимости от характера и социального статуса персонажа. Так, например, Розенкранц, которому принадлежит “героическое пленение” старика-татарина, ранее совершал и другие подвиги: он часто ходил с двумя-тремя мирными татарами в горы, чтобы “подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет...”. (3, 22). О том, насколько заразительным было желание показать свое удалство таким способом, много лет спустя вспоминал и сам Толстой: “Я помню, на Кавказе считалось особенным молодчеством ездить ночью на дороги и там убивать встречных немирных татар. И эта опасность, риск совершенно закрывали собою для идущих на них весь ужас такого дела. Я помню, что я даже колебался, не отправиться ли мне. Так затемнено во мне было сознание”<sup>8</sup>.

Однако Розенкранц в то же время был самый добрый и кроткий человек: семь недель кормил и лечил подстреленного им же самим в одной из ночных вылазок чеченца, а потом отпустил его с подарками и т.д. Все беды “храброго поручика” происходили оттого, что он хотел казаться не таким, каким был на самом деле, т.е. был эпигоном-романтиком, пытающимся натянуть на себя “маску” романтического типа<sup>9</sup>. Таким образом, влияние общественного мнения и литературно-романтических произведений в сочетании с природными задатками формировало у поручика неустойчивость и противоречивость гендерного поведения.

Структура гендерных отношений в последующих произведениях Л. Толстого становится более сложной и определяется различием социальной роли и статуса персонажей, их половозрастными, национальными, этническими и субэтническими особенностями. Повесть “Казачья” наиболее насыщена различными типами отношений: между казаками и представителями власти (урядником, хорунжим), казаками и солдатами, горцами, дворянами, старыми и молодыми казаками и казачками.

В кавказской повести Толстой вновь обращается к теме войны и мира, потому что стычки с горцами – неотъемлемая часть жизни казаков. Однако в центре внимания уже не коллективные действия, как в военных рассказах, а индивидуальные: Лукашка убивает чеченца, его тело выкупают горцы; брат убитого мстит казаку; Ерошка рассказывает о своих взаимоотношениях с горцами – куначестве, воровстве лошадей и т.д. Оценка события

---

<sup>8</sup> Эту цитату приводит Л.П. Семенов, ссылаясь на книгу А.Б. Гольденвейзера “Вблизи Толстого”. -М., 1922, 1,184. – Семенов Л.П. Лев Толстой и Кавказ. – С.8.

<sup>9</sup> Об этом – Штейнгольд А.М. Ранние произведения Толстого и литературно-критическая мысль 1850-х годов// Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. С.149; Емельянов Л.И. Герои Толстого в историко-литературной концепции Аполлона Григорьева. С.167.

неоднозначна: это и радость Лукашки от меткого выстрела, собственной ловкости, удалства, и непонимание этой радости Олениным, и сожаление в словах Ерошки (*Джигита убил*), и слова самого героя о чеченце (*Тоже человек был!*), и ответ одного из казаков: “Да попался бы ему, спуска бы не дал” (6, 35, 38).

Описывая особенности кавказской жизни, Толстой отметил главные черты этнического характера казаков – *любовь к свободе, праздности, грабежу и войне*. Отношение к труду своеобразно: *труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине*. Однако все имущество, хозяйство, дом держится на женщине, и казак чувствует ее *превосходство*.

Развитое самосознание и чувство собственного достоинства определяет отношение терцев к тем, кто казаками не является. Русский мужик, как и переселенец-малоросс (*шаповал*), для казака “есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо”. Он уважает врага-горца, тем более чеченца-кунака; щеголяет знанием “татарского” языка. У горцев добывается оружие, лучшие лошади покупаются и воруются у них же. Вместе с тем, “перероднившись” с горцами, усвоив их одежду, обычаи, образ жизни и нравы, казаки сохранили русский язык и старую веру (6, 15).

Очерковые зарисовки “этнографической” главы находят неоднократное подтверждение в развитии сюжета повести. Так, например, в гл. XXI показаны отношения между сотником, из *новых казачьих офицеров*, и казаками, которые на приветствие не ответили, как армейские (“здравия желаем, ваше благородие”), и только кое-кто просто поклонился, некоторые встали и вытянулись. Присутствующему при этом Оленину показалось, что казаки играли в солдат, но формальность скоро перешла в *простые отношения*. Отмеченная Толстым свобода отношений между военачальниками и подчиненными объяснялась рядом причин: военизированным бытом казачества, прежней выборностью и ежегодной сменяемостью атаманов, сотников и т.д., а также родственными отношениями командиров и рядовых казаков.

В этой же сцене подкрепляется примером декларированное ранее (гл. IV) умение, которым щеголяет молодец казак: сотник, который “был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком” (6, 81). Так же свободно владеют чеченским языком Лукашка; Ерошка вставляет в свою речь “татарские” слова: *кошкильды, алла рази бо сун* и др.

Специфика речи, выраженная в диалектных словах и особой речевой интонации, сочетается с особенностями быта. Так, в авторском примечании поясняется, что “*помолить* на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья вообще” (6, 49). В тексте повести одна из девушек просит “моего ангела *помолить*” (6, 96), т.е. приглашает на именины; казаки с кордона помолить (выпить) пришли и Лукашку уже помолили (поздравили

за вином); в станице собираются *помолить* праздник (6, 132). Казаки, прежде чем отправиться на серьезное дело, на выезде из станицы, “спешившись, стояли кружком и, наливая чихирю из привезенного бочонка в деревянную чапуру, подносили друг другу и *молили* свою поездку” (6, 141). Это подтверждает многообразие функций вина и справедливость замечания автора: “Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество” (6, 16).

Молитва сопровождает казака не только за графином с чихирем, но и на кордоне, в *секрете*. Увидев плывущего абрека и прицелившись, Лука, “по казачьей, с детства усвоенной привычке проговорив: “Отцу и Сыну”, – пожал шишечку спуска” (6, 33). В более полной форме он повторяет это выражение в рассказе казакам (*Отцу и Сыну и Святому Духу*). И в обыденном разговоре часто упоминают бога; вместо общепринятого “спасибо” почти всегда говорят: *спаси (тебя) Христос*. Однако с Олениным и Егушевым Лукашка разговаривает иначе: *благодарствуй, спаси тебя бог, спасибо*. Встречаются и общерусские выражения: *слава тебе, господи; бог с тобой* и т.п.

Широко распространенное у русских двоеверие присутствует и в казачьей среде. Так, например, Ерошка знает, как найти разрыв-траву при помощи черепахи (*ведь она черт, черепаха-то*). Он учит Лукашку заговору, который надо читать перед тем, как на коня садиться, тогда не убьют (6, 63). Старый казак примечает палку, что “дурно лежит”, поперек дороги, и учит Оленина, как надо поступить (6, 72). Верит в приметы и Лукашка: когда под ним “не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь”, то казаки оглянулись и торопливо отвернулись, а Лука нахмурился и несколько раз огрел плетью своего кабардинца (6, 142).

Старообрядческий уклад жизни проявляется в особом отношении к *мирским*, у которых *скобленое рыло* и которые *табачищем дом загадят* (6, 42). Особенности быта казаков замечает не только автор: “солдатики ...острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские” (6,39); не русскими (хуже татар) считает жителей станицы слуга Оленина Ванюша. Его смешат полтинники на шее Марьяны (*припойки*) и ее одежда.

Многие дореволюционные исследователи отмечали отличие казачек от русского национального стереотипа, которое проявлялось во всем, начиная с внешности. В повести показана особая роль гребенички, которая проявлялась, помимо домашнего труда, хозяйственных дел, ухода за виноградниками и т.д., в решении серьезных семейных вопросов. Так, в разговоре бабуки Улиты с матерью Марьяны, которая собирается прислать осенью сватов, звучит следующее: “Что Ильяс! – гордо говорит хорунжиха, – со мной говорить надо”

(6, 21). Независимо ведет себя с молодыми казаками Марьяна: “Известно, я девка, а ты меня слушай. ...Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься” (6, 54).

Отказ Оленину (“Разве господа на мамуках женятся?”) перекликается с балладным сюжетом песни гребенских казаков “Как в Червленном жила-была вдовушка”. В песне отражен гендерный стереотип поведения, предписывающий определенных характер отношений между казачкой и заезжим офицером: “Я казачка, я простая для тебя. Честь велика дорогая для меня”.

В станице соблюдались возрастные границы (отдельный хоровод девочек-подростков) и половозрастные: подруга Марьяны, отдохавшей на винограднике под арбой, выгоняет ее младшего брата со словами: “Разве казакам место с девками?” (6, 112). Отношения между молодым казаком Лукашкой и его матерью определяются тем же: он скрывает от матери ночную кражу коней, она не желает, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела.

Описывая праздничные наряды казачек, Ерошка восхищается ими: *каждая баба как княгиня была*, девки – *королевны*. Вызывает особый интерес его рассказ о том, как в старину гуляли: “Придут, бывало, казаки или верхом сядут, скажут: пойдем хороводы разбивать, и поедут, а девки дубье возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют. Прорвет стену, подхватит какую любит и увезет” (6, 129).

Приуроченность к масленице дает основание видеть в описанных действиях сохранившуюся только на Тереке обрядовую игру “брать город”. В отличие от игры “Взятие снежного городка”, которая имела место в кругу обрядовых действий на границе зимы и весны, среди уральского и отчасти гребенского казачества, этот игровой сценарий не был связан со снегом. Более того, военизированный характер игры наполнялся другим, гендерным смыслом, потому что приоритетными становились отношения между молодыми казаками и девушками.

“Город” представляли девушки с прутьями в руках (обычно ореховыми, которые специально накануне срезались в лесу). Они стояли на длинной скамье, перегородившей улицу. Задача мужчин, которые были верхом на конях – “взять город”, т.е. поцеловать девушку, которая приглянулась, несмотря на ее сопротивление. Девушки нещадно били казаков прутьями, а те только просили: “Нас бейте, только конев не бейте!”. Игра сопровождалась песней: “Не сумел сокол ворону поймать, хорошую целовати, Пригожую миловати! Бейте конюхов, бейте! Не жалеите! Бейте хорошенько!”<sup>10</sup>

У казаков сохранилось уважительное отношение к старикам: на празднике, проходя мимо них, женщины и девушки приостанавливались и опускали головы, молодые казаки

---

<sup>10</sup> Текст записан автором от 102-летней Е.М. Ивановой в 1965 году; вариантов в сборниках не встречалось. В дореволюционной литературе есть описания этой игры в двух других станицах. См.: Бутова Е. Станица Бороздинская// СМОМПК. Вып. VII. Тифлис, 1889; Ткачев Г.А. Станица Червленая. Владикавказ, 1912.

почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою” (6, 127). Отношение стариков к молодому поколению *величаво-равнодушное*, у дяди Ерошки – презрительное, и только племянник Лука для него является исключением. Старый казак делится своим опытом, приобретенным в ночных набегах и стычках с горцами, и знаниями.

Этническая картина была бы неполной гендерного идеала – авторских представлений о настоящем казаке, которого отличает большая физическая и нравственная сила, воинственная и несколько гордая осанка, развитое самосознание и высокая самооценка: “он казак и знает себе цену не ниже настоящей” (6, 23). Одежда сидит на нем с “особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборвано, небрежно: одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу” (6, 24). Поэтому в Лукашке с первого взгляда можно узнать джигита, зато в Оленине, одетом по-черкесски, всякий узнал бы *русского, а не джигита* (6, 40). Оружие у казака всегда прилажено так, чтоб не звенело и не брэнчало, ибо брэнчащее оружие для него – “величайший срам” (6, 141).

Настоящий казак отличается не только внешним видом, но и поведением. Епишка рассказывает о своей молодости, когда он *по всему полку гремел*, настоящий джигит был: пьяница, вор (табуны в горах отбивал), песенник; со всеми кунак<sup>11</sup>. Лукашка привозит Оленину *пешкеш* (подарок) – кинжал, который он достал за рекой (т.е. на чеченской стороне), и тут же рассказывает о законах куначества. Все это складывается в гендерный идеал кавказского казака, которому многие пытались подражать.

Мотив подделки под казака, “джигита” занимал Толстого уже в военных рассказах, кавказских и севастопольских. Достаточно вспомнить поручика Розенкранца, одного из *удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову* (“Набег”), или адъютанта Калугина с его особенной, *guasi-казацкой посадкой* и других, ему подобных, адъютантов, подражавшим вестовым казакам (“Севастополь в мае”). В “Казаках” автор показывает еще один вид “фальчи” в образе хорунжего, который хотел казаться *благородным*, но под напущенным “уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка” (6, 68). “Фальчь” образованности проявляется у русских

---

<sup>11</sup> Межэтнический институт куначества был чрезвычайно распространен у горбегенцев. Это отразилось, в частности, в одной из червленских песен. Девушка призывает подруг не любить никого (*ни армяне, ни купцов, ни офицеров-подлецов*), кроме гребенских казачков: “Гребенские казачки на все войско молодцы, На все войско молодцы, Всем чеченцам куначки”. См.: Малявкин Г. Станица Червленая, Кизлярского отдела Терской обл.//Этнографическое обозрение. 1891. Кн. 10, № 3. С. 63.

лекарей, которые “только резать и умеют”; им противопоставлены настоящие *дохтура*, которые живут в горах и *травы знают*<sup>12</sup>.

Необходимо отметить, что воплощение гендерного идеала происходит по-разному, в зависимости от возраста (дядя Ерощка и молодой казак Лукашка), пола, социального положения. Категория возраста связана с различием исторических условий и состоянием традиции, которая также подвержена изменениям, как и сам этнический или национальный стереотип поведения. Изменяющееся время влечет за собой трансформацию социального статуса казака.

Имеет значение и механизм социального конструирования гендерных категорий, ситуативные идентичности. “Социальное создание гендера”<sup>13</sup>. для одних осуществляется с детства и достигает достаточно высокого уровня, как, например, у казаков, а для других попытка приобщиться к гендерному идеалу иной социальной группы оказывается обреченной на неудачу, как это происходит с дворянином Олениным. Мир казаков остается для Оленина чужим, как и он сам – *нелюбимым*, непонятным для казаков.

Таким образом, Л.Н. Толстой в кавказских произведениях отразил особенности русского характера, исследуя характеры солдат, вместе с которыми ему пришлось воевать. Основное качество воинов – русская храбрость, специфику которой писатель показал в сравнении с храбростью французов и горцев.

Приведенный материал подтверждает своеобразие гендерных отношений у гребенских казаков (субэтнической группы русских), которое определяется различием социальной роли и статуса, половозрастными, национальными, этническими и субэтническими особенностями.

В повести “Казаки” представлены различные гендерные типы отношений: между казаками и представителями власти (урядником, хорунжим), казаками и солдатами, горцами, дворянами, старыми и молодыми казаками и казачками.

Взаимоотношения казаков между собой и горцами представляют собой сложные переплетения, расположенные на разных уровнях и обусловленные совокупностью межэтнических, социальных, половозрастных и других причин. Они осложняются институтами куначества и кровной мести, разницей социального статуса и многообразием социальных ролей, сходством и различием религий и традиций, особенностями быта и мировоззрения.

---

<sup>12</sup> Кстати, многочисленные случаи, когда русские доктора отказывались лечить, а горцы выхаживали безнадежных, имели место не только на страницах литературных произведений, но и в реальной жизни.

<sup>13</sup> См.: Уэст К., Зиммерманн Д. Создание гендера // Феминизм и гендерные исследования. С. 35.